

[Polaris]



БОМБА ПРОФЕССОРА ШТУРМВЕЛЬТА

Фантастика Серебряного века

Том VII

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCLXVII



Salamandra P.V.V.

БОМБА ПРОФЕССОРА ШТУРМВЕЛЬТА

Фантастика Серебряного века
Том VII

Подготовка текстов, составление
и комментарии
М. ФОМЕНКО и А. ШЕРМАНА

Salamandra P.V.V.

Бомба профессора Штурмвельта: Фантастика Серебряного века. Том VII. Подг. текстов, сост. и комм. М. Фоменко и А. Шермана. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2018. — 340 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCLXVII).

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается *terra incognita* — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее известных авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении.

Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел. Фантастическая литература эпохи представлена в ней во всей своей многогранности: здесь и редкие фантастические, мистические и оккультные рассказы и новеллы, и образцы «строгой» научной фантастики, хоррора, готики, сказок и легенд. Читатель найдет в антологии и раритетные произведения знаменитых писателей, и труды практически неведомых, но оттого не менее интересных литераторов. Значительная часть произведений переиздается впервые. Книга дополнена оригинальными иллюстрациями ведущих книжных графиков эпохи и снабжена подробными комментариями.

© Authors, estate, 2018

© M. Fomenko, A. Sherman, состав, коммент., 2018

© Salamandra P.V.V., оформление, 2018



БОМБА ПРОФЕССОРА



ШТУРМВЕЛЪТА

Яков Окунев

ЖИТЕЛИ НЕБЕС

Фантастический рассказ



Около пятнадцати лет тому назад, профессор Сомов поселился подле своей обсерватории на вершине мрачного Мансельке и совершенно отрешился от людей. Он был гордостью и славой России, пред ним благоговели, его труды по астрономии были переведены на все языки, и не было уголка в цивилизованном мире, где не знали бы имени русского астронома и математика Василия Андреевича Сомова.

И вдруг в самом зените своей славы профессор оставил кафедру и, запершись в своем кабинете, куда ему подавали завтрак и обед, лет пять упорно и настойчиво производил какие-то чрезвычайно сложные вычисления, которые составили целый том никому не понятных цифр, формул, таблиц и затейливых геометрических чертежей.

После этого профессор уехал в Германию и поселился близ Берлина, подле лучшего в мире завода Гейслера, изготовлявшего оптические стекла. Там под личным наблюдением профессора и на основании его вычислений отлили и отшлифовали три огромные линзы, которые с большой осторожностью перевезли в Россию.

Но этим приготовления профессора не ограничились. Истратив половину своего состояния, чтобы приготовить на другом заводе, близ Претигау, странный прибор, состоявший из целого ряда вогнутых и выпуклых зеркал и из каких-то туго натянутых по различным направлениям тончайших алюминиевых нитей, до того чувствительных, что они дрожали и звенели, отражая дыхание человека, находящегося в нескольких метрах от прибора, профессор принялся за самую главную часть своего аппарата. Это была темная камера, в которой стоял ряд банок с химическими реактивами. Камера эта была соединена двумя изолированными проволоками с рефрактором и с отражающим прибором из зер-

кал, и называлась она индуктором.

Почти всю вторую половину своего состояния профессор истратил на постройку обсерватории и небольшого домика, примыкавшего к ней. Он поселился здесь вместе с шестнадцатилетней дочерью Асей, которая беспредельно верила в дело своего отца и считала для себя величайшим счастьем то уединение, на которое она обрекла себя, почти ребенка, полного жизни, радости, тихих мечтаний и какого-то сладкого, томительного ожидания, свойственного всем девушкам ее возраста.

В течение пятнадцати лет Ася помогала отцу. Не разгибая спины, по несколько часов в день она записывала под его диктовку запутанные формулы. Она уже забыла о людях, разучилась тосковать по шумной, веселой Москве, где она выросла; не знала, живы ли ее подруги и студент Курнатович, ученик ее отца. Первое и последнее письмо Курнатовича, полученное Асей еще в Москве, теперь пожелтевшее и выцветшее, лежало в левом ящике ее стола. Может быть, он писал и потом к ней; может быть, снова искал встречи с нею, как тогда, пятнадцать лет тому назад... В первые годы, когда они поселились здесь, профессор бросал в камин всю корреспонденцию нераспечатанной, а потом... потом им перестали писать, их забыли, как забывают обо всем, о великом и малом.

Даже на голом, каменистом Мансельке бывает весна. Даже там, сквозь гранит и гнейс, победно пробивается трава, курчавится зеленый кустарник, синеет и смеется чистое небо, а в воздухе шныряют, щебечут и поют птицы, словно пьяные, словно ошалелые от тепла и острого запаха земли.

Но в комнатах профессора не было весны. Мягкие ковры скрадывали стук каблуков; зеленые шторы не пропускали яркого сияния солнца; двери не стучали, не хлопали, не скрипели, а неслышно открывались и закрывались на своих петлях. Профессору нужен был покой, мертвая тишина, потому что малейшее сотрясение вносило путаницу в его наблюдения, колебля чуткие струны его прибора.

То, что произошло 23-го мая в одиннадцатом часу вечера, казалось бы фантастическим сном, если бы не было так

реально, осязательно, ощутимо. В начале одиннадцатого в комнате Аси раздался энергичный, нетерпеливый звонок из обсерватории. Никогда профессор не звонил так, и встревоженная Ася бросилась по витой лестнице вверх к отцу. Она застала профессора в необыкновенном возбуждении. С растрепанными седыми волосами, с горящими глазами, он бегал по круглой комнате обсерватории, то хватаясь руками за рефрактор, то размахивая ими в воздухе, то бросаясь к своему прибору и заглядывая в него.

— Это поразительно, это поразительно, — бормотал он.

Он не сразу заметил Асю и обернулся к ней только тогда, когда она, положив свою руку ему на плечо, спросила:

— Что такое? Отчего ты такой странный?

Он сразу успокоился.

— Запиши, Ася: 23-го мая 19... года, 10 часов и 17 минут. Это — исторический момент, Ася, это — величайшее открытие.

Он усадил ее на стул против рефрактора и несколькими движениями рычагов направил телескоп на Марс.

— Вот, смотри, — сказал он.

То, что она увидела, она наблюдала сотни раз и раньше, и это не объясняло ей возбуждения и торжественного тона, с каким профессор приказал ей записать дату. Она увидела большой диск серебристо-пепельного цвета со сверкающими белыми пятнами на полюсах, разрезанный геометрически правильными, а местами параллельными темными линиями. Некоторые ученые считали эти линии искусственными каналами марсиан.

Но что это? Почему эти «каналы» так странно дрожат, трепещут, то сближаясь, то удаляясь друг от друга? Сначала темные, почти черные, они загорались фиолетовым, потом темно-синим, затем пурпурным и, наконец, багровым пламенем с золотистыми отблесками по краям. Очевидно, это были не каналы, а что-то другое, но Ася не знала, что это, и, обернувшись к отцу, вопросительно посмотрела на него.

— Ты видела?

Она кивнула головой.

— Они горят и движутся. Это не каналы, и все мы были до сих пор круглыми невеждами. Я знаю, что это.

Ася хотела спросить у отца объяснения этого явления, но он не дал ей говорить. Он взял два шнура с чашечками у концов, соединенные с его прибором, и приложил чашечки к вискам Аси. Они присосались, как пиявки. Такой же прибор он одел на себя.

— Смотри, не отрываясь, на каналы. Старайся ни о чем не думать,—сказал он дочери.

Она не расслышала его последних слов и впала в странное забытие. Это не был ни обморок, ни сон, а какое-то другое невыразимое состояние тела и духа, которое не имеет еще названия на земном языке. Она испытывала необыкновенный подъем сил; она ощущала каждое биение своего сердца, переливание своей крови по венам, тончайшее трепетание нервов, вибрацию мозговой коры. В ушах ее звенели миллионы звуков, шумов, шепотов, шелестов. Вместе с тем, стерлась грань между звуковыми и зрительными ощущениями. Казалось, что звуки эти тянулись фиолетовыми и багровыми лучами с каналов Марса в телескоп, оттуда в прибор профессора и, преломившись в десятках зеркал, проникали в ее мозг, вызывая яркие очертания образов. Потом она почувствовала, что в ее сознание вторгаются чьи-то чужие мысли, но не в виде слов, какими она привыкла думать, а в виде образов, понятий, ощущений, переживаний. Ум мгновенно переводил эти ее ощущения на человеческую речь, и Ася улавливала связную, понятную фразу.

— Зачем вы разъединили цепь? — услышала Ася голос, говоривший в ее мозгу, но отражавший ее ощущения, вызванные сверканием каналов Марса. — Наконец-то вы додумались до того, что мы знаем уже несколько тысяч лет. Разве трудно было понять, что всякое явление, лежащее вне нас, представляет собой конкретную, движущуюся мысль, а наши мысли являются лишь отражениями, подобными отражениям в зеркале? Разве вы не знали, что звук и свет — явления одного порядка? Мы уже давно сообщаемся без помощи звуков и слов, а при посредстве отражения вибрации тончайших флюидов, заполняющих собой все миро-

вое пространство. Ваше изобретение — только первая буква азбуки того, что знаем мы, марсиане. Мы знаем все! Мы связали весь мир явлений в непрерывную логическую цепь, каждый атом, каждая молекула рассказывает нам о довременном и грядущем. Для нас нет тайн.

— Какие они по внешности, эти марсиане? — подумала Ася.

И сейчас же ощутила ответ:

— У нас нет внешности. Вы, существа трех измерений, рабы форм и внешности. У нас нет измерений. Мы давно уже перестали верить сказкам о длине, ширине, глубине. Мы победили материю, и теперь мы нематериальные существа. Нас нельзя ни видеть, ни осязать, ни слышать, нас можно только познавать духом, и мы давно уже сносимся друг с другом, и каждый в отдельности с внешним миром, посредством комплекса психологических ощущений.

— Есть ли у вас смерть? — мысленно спросила Ася.

— Глупый вопрос вы ставите, земной житель. Что такое смерть? Разрушение материи и освобождение энергии, заключенной в ней. Мы — свободная энергия, которая действует вечно, перевоплощаясь то в движение, то в идею, то в ощущение. Как же можем мы болеть, страдать, умирать? Когда разрушится наша планета, она перевоплотится в новый вид энергии, а вместе с нею перевоплотимся и мы. Смерти нет, житель земли. Твое невежество нашептало тебе безобразную сказку о смерти.

— Но когда вы перевоплощаетесь, вы ведь утрачиваете свое прежнее я, обрывается ведь нить, связывающая новое бытие с прежним. Это и есть смерть, — возразила Ася. — Любите ли вы, бесплотные жители Марса? Знаете ли вы, что такое восторг, упоение, блаженство и красота?

— Дикие вопросы! Скажите, все ли такие невежды, как вы, на вашей земле? Разве энергия, переходя из одного состояния в другое, теряет хотя бы одну миллионную долю заключенной в ней силы? Как лавина, катящаяся с гор, мы, живя, накапливаем энергию, ничего не теряя, все приобретаем, и когда наступит момент перевоплощения, мы сохраним в новом комплексе движений, которые вы называете

жизнью, каждый трепет, каждое содрогание. Наше я живет вечно в бессмертии движения. Нам не нужно ни любви, ни восторгов. Мы давно забыли об этих первобытных ощущениях. На что они нам? У нас нет ни пола, ни возраста, ни влечений, обусловленных устарелым понятием о времени. У нас нет любви и страстей, проявляющихся только там, где живут в рабстве у форм, в неволе у материи. Мы свободны и вольны. Нам покорна вселенная, нами поработочены междупланетные бездны, потому что движения бесчисленных планет по своим орбитам — это эхо нашего существования. Мы всеильны, вездесущи, бесконечны и безначальны.

— Но были ли вы когда-либо иными, материальными существами? — спросила Ася.

— Да, да, много вашего земного времени тому назад, — странно и, как показалось Асе, с легким оттенком грусти прозвучал ответ. — Семь тысяч лет прошло с тех пор, когда я жил в мире звуков и форм... Ее звали Майя... Майя — это звучит красиво, как лепет земного ребенка, как отзвук земной радости. Она была похожа на свежую розу, которая цветет еще в ваших садах. На Марсе была тогда весна, и я любил Майю. Ах, это было странное и наивное чувство. Потом у нас явился великий гений. Он пришел из снеговых стран, и звали его Тиаматис. Он открыл нам тайну вечности, беспредельности, бессмертия и освободил нас от власти форм, времени и чисел. А я был тогда глуп... очень глуп. Я не хотел бессмертия. Я не хотел расставаться с миром форм, цветов и звуков ради Майи... ради Майи...

Цепь между Асей и Марсом внезапно разомкнулась. Вскходило солнце, и при блеске его лучей потускнело сияние каналов Марса. Ася сняла с висков чашечки и, не глядя на отца, шатаясь, как пьяная, пошла к себе.

Она растворила окно. Заколебалась и раздвинулась багровая завеса облаков на востоке, и торжественно выкатилось на небо яркое солнце. И вспомнила Ася студента Курнатовича, его пожелтевшее письмо в левом ящике стола; вспомнила о том, что ей недавно минул тридцать один год и что у глаз ее появились лучистые морщинки. Она опустила голову на руки и едва слышно прошептала:

— Ради Майи, ради Майи...
А потом тихо заплакала.

Ефим Зозуля

ДОМ ДОКТОРА КАТАПУЛЬТЫ

Глава первая

Когда Курца вызывали по телефону и сообщали, что барин, Алексей Иванович, хочет его видеть, Курц щурил свои зеленые, узкие, пройдошливые глаза и бормотал не без удовольствия:

— Опять, должно быть, вляпался в какую-нибудь историю.

Лет пять тому назад Курц служил у Алексея Ивановича в качестве обыкновенно лакея. Как лакей, он никуда не годился, и его прогнали.

Но зато его ум, изворотливость и особое умение находить выход из самых запутанных и печальных положений часто заставляли молодого, легкомысленного богача вспоминать прогнанного лакея и звать его специально для совета, разумеется, за хорошее вознаграждение.

А в запутанные и нелепые положения молодой богач попадал часто и бывал в таких случаях совершенно одинок и беспомощен.

Он бродил по своему роскошному кабинету, лежал на турецком диване, тер ладонью лоб, но, в конце концов, приказывал звонить Курцу.

Курц незамедлительно приходил — чистенький, розовый, аккуратный. Алексей Иванович рассказывал, в чем дело, а Курц, помигав узкими своими глазами, давал совет и всегда дельный и подходящий.

«Что сегодня у него за история, однако, — думал Курц, — опять, должно быть, какая-нибудь дурацкая дуэль!»

И Курц, хитро подмигнув самому себе, пробормотал:

— Все равно, что бы ни случилось с ним, я его сведу с Катапультой, пусть поспит с годик, это ему пойдет впрок...

Последние слова Курца нуждаются в объяснении.

Бросив лакейство, Курц стал маркером, затем занял должность эконома в каком-то клубе. В клубе он завел большие знакомства, вечно что-то кому-то устраивал, получал деньги и в результате поставил у себя в комнате письменный стол с телефоном и стал похож на делового человека.

К нему обращались со всякими делами разнообразнейшие люди, и почти каждому Курц в чем-либо помогал.

Недавно Курцу рассказали, что в столицу приехал ученый, фамилии которого никто не знал и который называл себя доктором Катапультой.

Этот Катапульта начал весьма странную и необыкновенную деятельность.

Он уверял, что обладает особым чудесным умением усыплять людей на какое угодно время, то есть искусственно прививать летаргию на год, полгода и, вообще, на сколько угодно.

Было у него множество агентов, распространявших слухи про Катапульту, и успех у него был такой, что Катапульта вынужден был отказываться от клиентов, если они были недостаточно богаты... Курц с Катапультой познакомился, и ученый лично просил его рекомендовать богатых клиентов.

Что с ними делал Катапульта, неизвестно было никому, но достоверно было установлено, что доверившиеся ему люди, польстившиеся на возможность отдохнуть от жизни, уйти хоть на время от ее тягот, возвращались от Катапульты после условленного срока, правда, исхудавшими и усталыми, но вполне здоровыми и на вопросы, где они были и что с ними происходило, либо говорили, что спали и ничего не помнят, либо утрюмо отмалчивались.

Затем, кроме всего этого, Курц узнал, что за каждого богатого человека, сведенного с Катапультой, посредник получал огромное вознаграждение.

Последнее обстоятельство и щекотало, главным образом, жадное воображение Курца.

«Надо будет пристроить голубчика, — цинично думал он об Алексее Ивановиче, — деньги будут хорошие и отдохну от него, а то надоел он мне больно со своими вечными неприятными историями...»

Глава вторая

Курц застал бывшего барина в удрученнейшем состоянии.

Богач, молодой человек с впалой грудью и наивно выпученными, удивленными глазами, лежал на диване и плакал, как дитя.

— В чем дело? Что случилось? — спокойно, как врач, спросил Курц.

— Я не вынесу этого! Я... я... умру! — схватился за голову Алексей Иванович. — Милый Курц, помоги! Ты же умница и всегда мне помогаешь!

— Что ж случилось?

— Моя невеста, Лида, бросила меня и вышла замуж за Кострицкого... Ах...

И покинутый жених залился горькими слезами...

— Что делать?! Что делать! — причитывал он. — Думаю вызвать Кострицкого на дуэль, но она не вернется ко мне, я знаю, она не вернется, если даже я убью его...

— Это нехорошо, — сказал Курц, сделав вид, что глубоко огорчен происшедшим, — это не годится...

— Что же? Что же другое?! Говори скорее, Курц. Ты ведь все знаешь. Говори! Живо!

Богач требовал от Курца умных советов, как требуют от лакея обыкновенных комнатных услуг: он был уверен, что Курц даже и в такой тяжелой истории найдет простой и хороший выход.

Курц, однако, молчал.

Но молчал не печально-сочувственно, а как-то с улыбкой.

Это сильно заинтересовало Алексея Ивановича.

— Что таксе, Курц? Говори скорее!

— Знаете что, — начал Курц, — мой совет вот какой: идите к Катапульте.

— Что?! — изумился Алексей Иванович. — К кому?!

— К Катапульте.

— А кто он такой? Что это еще за Катапульта такая?

Курц рассказал об ученом все, что знал. Рассказал увлекательно, прикрашивая и преувеличивая, и добавил, что все, спавшие по воле чудадея, исцелялись от мучивших недугов.

— А ревность — недуг самый страшный! — закончил Курц. — Его ничем не исцелишь! Нужно много времени, чтобы чувство остыло, а тут — минута, и год пролетел! Известно — сон!

Молодой экзальтированный богач сильно заинтересовался этим неслыханным предложением.

Он долго расспрашивал Курда о подробностях, задумывался, опять расспрашивал и, наконец, решился.

— Хорошо! Молодец, Курц! Ты всегда найдешь выход! Спасибо, милый!

Чем больше думал Алексей Иванович о летаргии, тем больше этот исход казался самым блестящим, неожиданным и интересным...

Глава третья

На следующий день Алексей Иванович в сопровождении Курца явился к Катапульте.

Это было очень нелегко.

Катапульта был окружен такой многочисленной массой всяких секретарей, агентов, служащих и охранителей, что добиться приема у него можно было только при особых стараниях, знакомствах и настойчивости.

Такое оберегание со стороны Катапульты было вполне понятно: мало ли кто хочет проникнуть к нему под видом клиента?

Его деятельность была нелегальна; власти не могли ведь допускать усыпления людей. Если это такое разрешить, все начнут творить пакости, а потом отсыпаться...

Наконец, Алексей Иванович и Курц увидели Катапульту.

Это был свирепого вида человек с большим лбом и черной копной спутанных волос на голове. Особенно характер

свирепости этому придавал шрам, тянувшийся непосредственно от левого глаза через переносицу до правой скулы.

Но в то же время и что-то добродушное было в лице Катапульта, а глаза смотрели приветливо, внимательно и умно.

Катапульта сидел за огромным столом, заставленным какими-то странными сосудами и заваленным книгами.

На вошедших он сначала не обратил никакого внимания, потом хмуро ответил на приветствие и сказал:

— Напрасно пришли, господа. Я ничего не могу для вас сделать.

Лицо Алексея Ивановича выразило досадливое нетерпение.

Он разочарованно посмотрел на Курца.

— Доктор, пожалуйста, в виде исключения сделайте. Ради Бога, не откажите!

— Не могу, — повторил Катапульта.

— Ну, я прошу вас! Очень прошу! Не откажите, — не отставал Курц.

Катапульта отошел к узкому занавешенному окну и задумался.

— Как ты думаешь, Курц, он согласится? — тихо спросил Алексей Иванович.

— Да, вероятно. Подождем.

Минут через пять Катапульта обернулся и сказал:

— А что у вас такое? Что случилось?

Алексей Иванович рассказал ему откровенно о постигшем его горе и муках ревности.

— Так, — мрачно произнес Катапульта, — хорошо. На сколько же времени вы хотите погрузиться в летаргию?

— На полгода, доктор.

— Сердце у вас здоровое? Дайте-ка я вас выслушаю... Да, ничего. Вы выдержите. Теперь условия. Вы должны подписать условия, что обязуетесь до конца жизни никому не говорить о моем способе прививки летаргии.

— Отлично, доктор! Пожалуйста! Я подпишу!

Катапульта подошел к квадратному железному ящику, стоявшему в углу комнаты под драпировкой, и достал из

него лист бумаги, разграфленный и расписанный так, что его только оставалось дополнить, чтобы контракт был готов. Алексей Иванович подписал все условия, в том числе и о гонораре в 25 тысяч, который обязался внести вперед.

— Приходите завтра в шесть часов утра, — сказал Катапульта, — причем, домашним вы заявите, что уезжаете на полгода. Соберите все нужные вещи и без провожатых уезжайте как будто бы на вокзал, а на самом деле ко мне.

Глава четвертая

Лакей и две прислуги метались по комнатам, как бешеные, собирая вещи барина.

Барин нервничал и торопился.

Тускло горело электричество, а в окна смотрело темно-серое ноябрьское утро.

В половине шестого Алексей Иванович был уже на улице и мчался на прокатном автомобиле к Катапульте.

Его встретил у ворот человек в кожаной куртке и сказал, что Катапульта велел подождать в автомобиле.

Алексей Иванович остался ждать. Сердце у него билось сильно и порывисто.

Минут через десять из дома вышел Катапульта, сонный и мрачный, в длинной до пят шубе. За ним вышло шесть человек в таких же кожаных куртках, как и первый, встретивший Алексея Ивановича.

— Мы не поместимся в этом автомобиле. Выходите.

Алексей Иванович покорно вышел.

Из-за угла показался другой автомобиль, очень просторный, принадлежавший Катапульте.

Все уселись и поехали.

На какой-то кривой и мрачной улочке, очевидно, пригородной, Катапульта обратился к Алексею Ивановичу с просьбой завязать себе глаза.

Алексей Иванович не удивился: это условие значилось в контракте.

Он послушно завязал себе глаза платком.

Минут через пятнадцать автомобиль остановился.

Сердце у Алексея Ивановича билось с необычайной быстротой.

— Доктор, куда вы меня везете? — малодушно спрашивал он, чувствуя вокруг себя семерых парней в кожаных куртках, которые, тоже по условию, конвоировали его и должны были бы доставить его в усыпальницу насильно, если бы он по дороге раздумал или смалодушествовал.

— Куда я вас везу? — переспросил Катапульта, — в усыпальницу.

Катапульта был любезен и словоохотлив.

Но в речах его не было ничего навязчивого, он только отвечал на вопросы.

Но отвечал обстоятельно.

— Мы там скоро будем? — беспокоился Алексей Иванович.

Он уже струсил и много дал бы за то, чтобы вернуться домой и забыть про всю эту странную историю, конец которой был темен и жутковат.

— Мы приехали.

Действительно, Алексею Ивановичу помогли подыматься по лестнице.

Поднимались долго.

Наконец, послышался голос Катапульты:

— Снимите повязку.

Алексей Иванович с облегчением снял повязку и увидел чистый, просторный коридор и ряд дверей, как в больнице или тюрьме.

Один из сопровождавших его парней надел ему на уши металлические закупорки, и Алексей Иванович точно оглох.

— Так надо, — сказал Катапульта.

Алексею Ивановичу показалось, что до того момента, как ему на уши надели закупорки, он слышал крики, но ничего не сказал относительно этого.

Его ввели в небольшую комнату, роскошно обставленную, с прекрасной кроватью.

В комнату вошли только двое конвоиров.

Они быстро раздели Алексея Ивановича, повели в теплую ванную, вымыли, привели опять в комнату, велели чего-то выпить, что тут же приготовил Катапульта, и уложили его.

Не прошло и двух минут, как Алексей Иванович заснул.

Глава пятая

Алексей Иванович проснулся от легкой головной боли и чувства голода.

Он открыл глаза, протер их и оглянулся.

Он находился в комнате, обитой красным сукном и слабо освещенной двумя электрическими лампочками.

Окна не было.

Кроме кровати, на которой он лежал, в комнате находились большой книжный шкаф, письменный стол, гимнастические приборы и всякие необходимые мелочи.

Комната была обставлена лучше, чем в самых заботливых гостиницах.

Над кроватью виднелась кнопка звонка.

Ничего не соображая, Алексей Иванович позвонил.

Через минуту отворилась дверь, и в комнату вошел человек в красном же, как и обивка комнаты, странном одеянии и черной маске.

— Что вам угодно? — спросил он, и по голосу чувствовалось, что это человек, несомненно, интеллигентный.

— Что мне угодно? — в глубоком недоумении и страхе повторил Алексей Иванович. — Послушайте, тут творится что-то неладное. Куда я попал? Что это такое? К чему эта маска на вашем лице? Что со мной происходит?

— Ничего с вами не происходит, сударь. Вы спите. Это сон. Сейчас прилетят черные птицы и выключат вам глаза. Но если вы ляжете и не будете волноваться, птицы принесут вам радость.

Алексей Иванович был вполне здоровым человеком и слишком ясно сознавал, что он бодрствует, а не спит, и тут происходит что-то неладное.

К тому же бархатный голосок этого типа в маске, типичный голос среднего заурядного интеллигента, раздражал его.

— Послушайте, вы, — сердито крикнул Алексей Иванович, — что вы на меня туману напускаете! Какие птицы?! В чем дело? И какой, к черту, сон! Я не сплю, как и вы, и пожалуйста, не считайте меня идиотом.

— Что же вам угодно? — повторил свой вопрос человек в маске. — Не угодно ли умыться и позавтракать?

— Это можно, конечно. Но вы мне все-таки объясните, в чем тут дело?

— Я ничего вам не могу объяснить. Вы спите. Мое дело — являться, когда вы звоните, и помогать вашим снам. Вот, например, сейчас вам снится, что вы голодны — я и накормлю вас.

— Нет! Вы мне скажите, где я и что со мной! — подскочил к нему Алексей Иванович.

Прислужник в маске не отстранился и спокойно сказал:

— Советую вам быть спокойным, а то вам начнут сниться кошмары...

— Какие кошмары?

— Вам будет сниться, что вас бьют, вяжут и так далее...

Алексей Иванович похолодел и замолчал.

Минут через пятнадцать ему принесли завтрак, на который нельзя было пожаловаться.

Алексей Иванович поел и прилег.

Головная боль прошла.

В семь часов ему принесли обед.

Прислужник являлся по первому звонку и исполнял быстро и хорошо все требования Алексея Ивановича, за исключением ответа на вопрос — что все это значит...

— Вы спите, и вам все снится... — упрямо бормотал он, и Алексею Ивановичу даже чудилась насмешка в его однообразных, заученных словах.

Незаметно прошел день, затем другой и третий.

Алексей Иванович похудел от злобы и ужаса.

За три дня он слышал не раз отчаянные крики, раздававшиеся в других комнатах.

— Что это такое? — спрашивал он у прислужника в маске.

— Это плохие сны, — отвечал тот.

— Что?!

— Это им снятся плохие сны. Им снится, что их бьют, потому что они беспокойны... Вот вам плохие сны не снятся, потому что пока вы ведете себя приличию, спите ровно...

Алексей Иванович с еле сдерживаемой злобой посмотрел на лукавые губы, видневшиеся из-под маски, и тяжело вздохнул.

Ясно было: он попал в вертеп, но какой-то странный, небывалый.

Прошло еще несколько дней.

Из комнаты его никуда не выпускали, даже на прогулку, но комната хорошо проветривалась.

Гигиенические условия были вообще прекрасны. Стол тоже. Обращение тоже.

Не было только свободы, и надоедала дикая ложь: человека убеждали, что он спит, когда он великолепно знал, что бодрствует.

— Где Катапульта? — начал спрашивать на третьей неделе заточения Алексей Иванович. — Где этот мерзавец?

— Не говорите так, — спокойно, но внушительно отвечал прислужник в маске, — если вы будете ругаться, вам начнет сниться, что вас бьют... Эти сны бывают неприятны...

— Я хочу его видеть!

— Вы его увидите, когда проснетесь, через пять месяцев и одну неделю. Катапульта, великий усыпитель, не говорит со спящими.

Глава шестая

Шестой месяц был на исходе.

Многое пережил Алексей Иванович в заточении.

Правда, его не били и не наказывали, ему не «снились плохие сны», потому что он не скандалил; его хорошо кормили, позволяли читать, писать и даже играть на пианино, которое поставили в его комнате, но все-таки от возмущения он едва не лишился рассудка.

— Когда же придет Катапульта?— спросил он.

— Завтра, — ответил прислужник. — Послезавтра вы проснетесь, то есть Катапульта воскресит вас.

Назавтра ему в пищу вложили что-то снотворное, и Алексей Иванович спал так крепко, что не слышал, как его увезли из дома, в котором он провел шесть месяцев, в какую-то дачную незнакомую местность.

Когда он проснулся, около него сидел Катапульта и говорил:

— Поздравляю вас! Вы воскресли!.

Алексей Иванович не сдержался и крикнул:

— Ступайте к черту! Вы авантюрист и мерзавец!

— Почему? — спокойно и ласково возразил Катапульта.

— Вы меня оскорбляете, и я мог бы ответить на оскорбление, но я этого никогда не делаю. Я вас выслушаю и отвечу. В чем дело?

— В чем дело?! И вы еще спрашиваете — в чем дело?! Вы авантюрист, а не ученый! Где ваше умение прививать летаргию?! Ничего вы не умеете! Вы обманщик! Вы просто продержали меня в заточении шесть месяцев!

— Верно, — спокойно сказал Катапульта, — но я все-таки излечил вас от ревности. Чувство ревности я вытравил у вас привитым чувством возмущения и жажды свободы, а разве такая прививка не лучше всякой летаргии?

Катапульта рассмеялся и добавил:

— У меня большая клиентура. Многие дураки верят в эту дурацкую летаргию и многих я колпачу. Но все-таки очень немногие сердятся на меня. Я всех кормлю очень хорошо, по возможности не наказываю, если они ведут себя прилично и, в конце концов, приношу пользу... Ко мне приходят большей частью люди разочарованные, а уходят от меня с жаждой свободы и любовью к жизни.. И стоит это всего 25 тысяч... Это правда дешево... Ну-с, многоуважае-

мый, вы свободны, идите и помните ваше обязательство: до конца жизни не говорить о моем способе прививки летаргии...

Алексей Иванович с радостью вернулся домой.

На вопросы друзей он врал сначала, что был за границей, потом — так как Катапульта входил в моду — он говорил, что находился в летаргическом сне, а потом вообще стал забывать об этой истории.

Но Курца для советов он больше уже не вызывал.

Ефим Зозуля

ЖИВОЙ АРХИВ



Секретарь известного ученого Лебедева, студент Кимров, как всегда, явился на службу ровно в десять часов утра.

Во всех лабораториях царил странный и необычайный для этих лабораторий беспорядок. Положение и вид разбросанных по всем направлениям трубочек, колб, склянок и различных препаратов говорили о большой, нервной и творческой работе ученого.

Кимров, благоговевший перед острым и глубоким умом своего шефа, сразу почувствовал, что в нем родилась новая удивительная комбинация, которой безропотно подчинилась вся эта путаница из различных предметов, которые умеют быть такими враждебными и непокорными, когда применение их неудачно, и которые становятся необыкновенно послушными, лишь только человеческий гений сумеет найти тайну власти над ними.

На этот раз Кимров почувствовал, что здесь какая-то тайна была обнаружена и... тайна огромная, важная... Ибо слишком уж странно было соединение различнейших механизмов в одно общее и как будто бы единое целое.

Этот новый аппарат, содержащий и световые пластинки, и особые какие-то рупоры, и особые, невиданные даже им, Кимровым, электромагнитные сетки, — говорил о чем-то особенном и несомненном...

Разбросанные вокруг аппараты и всякий хлам, лежавший с самым побежденным видом, сразу выдавал муки ученого, и Кимров поспешил в кабинет, чтобы увидеть своего шефа и услышать его глуховатый голос, каким ученый обыч-

но делился своими творческими радостями.

Кимров тихо приоткрыл дверь кабинета.

Ученый лежал на широком кожаном диване.

Он стал. Спал в халате и в очках... Очевидно, он заснул только под утро, изнуренный бессонной ночью и напряженным трудом.

Весь огромный письменный стол был покрыт разбросанными листами диаграмм, карт, чертежей, математических вычислений... На полу валялись десятки раскрытых толстых томов.

Кимров посмотрел на лицо ученого. Оно было совершенно покойно. Довольная, даже счастливая улыбка змеилась в углах его тонких бледных губ...

Взволнованный и крайне заинтересованный, Кимров вышел из кабинета, не спеша отправился в свою комнату и стал ждать, когда проснется ученый.

Ученый проснулся в одиннадцать. Рассеянный, возбужденный и радостный, он бросился в тот угол, где стоял диодовый аппарат. На несколько минут, пока руки его нервно ощупывали приложенные друг к другу хрупкие части механизма, лицо его выражало беспокойство, но потом опять засветилось радостью и самодовольной гордостью победителя.

— Что это такое? — решил, наконец, полюбопытствовать Кимров.

Ученый, никогда не скрывавший от секретаря свои изобретения, принялся радостно объяснять:

— Вы знаете, милый друг, над чем я бессильно бьюсь уж пятый год...

Кимров даже рот раскрыл от изумления:

— Так неужели же это?..

— Да.

— О, нет, не может быть! — невольно вырвалось у него.

Около пяти лет тому назад ученый прочел в иностранных газетах заметку о том, что какой-то изобретатель пытался изобрести аппарат, при помощи которого можно было бы в любом помещении вновь воспроизводить все, что в этом помещении было сказано хотя бы много лет тому назад.

Основанием для этой попытки послужила теория того же изобретателя, которая доказывала, что каждый звук человеческой речи особым образом запечатлевается на окружающей обстановке, на стенах и потолке. Там звуки накапливаются и укладываются слоями, и их можно снова превратить в живую речь.

Опыт иностранного ученого не был доведен до конца: изобретатель сошел с ума от переутомления и вскоре умер.

Но идея этого изобретения не оставляла в покое Лебедева. Безуспешно проработав два года, он все же не разочаровался в правильности гениального замысла своего далекого коллеги и, отдохнув год, вновь принялся за осуществление его мечты.

После полутора лет неустанного труда, когда уже последние надежды были потеряны, — это внезапно удалось ему! Путем случайного соединения двух совершенно разнородных механизмов получилось то, чего ученый так долго и тщетно добивался.

Аппарат был совершенно готов.

— Когда же вы будете его демонстрировать? — сгорая от нетерпения, спросил Кимров.

Ученый, блаженно улыбаясь, ответил:

— А хотя бы сейчас. Погодите, я только уложу аппарат в ящик, и мы отправимся. А впрочем, можно и здесь. Хотите послушать все, что говорилось в этом помещении?

У Кимрова учащенно забилося сердце:

— Конечно... хочу...

Ученый с живостью, которая удивляла и не могла не удивить Кимрова, стал выбрасывать из лаборатории лишние, по его мнению, предметы, все время блаженно улыбаясь. Затем установил в центре помещения аппарат, завел в

нем какие-то колесики и улегся на диване, пригласив знаком Кимрова внимательно слушать.

В лаборатории было тихо. Лишь размеренное, немного жуткое жужжание механизма слегка рассеивало тишину и напрягало внимание до крайних пределов.

Когда прошло пять минут, ученый приподнялся и, продолжая блаженно улыбаться, насторожился, затем соскочил с дивана, подбежал к Кимрову, взял его под руку и, блестя глазами, зашептал:

— Слышите, слышите?.. Какие странные, грубые голоса... Это голоса плотников, работавших здесь... Вы слышите, о чем они говорили? Вот, вот, слушайте... слушайте... Они говорят о...

Кимров ничего не слышал, кроме жужжания аппарата и слов самого ученого.

Из небольшого рупора, прикрепленного к центру аппарата, действительно несся какой-то хрип, но это ни в коем случае не было человеческой речью.

— Послушайте, послушайте... Они говорят о чьей-то свадьбе.... Вы слышите? О свадьбе...

Кимрову стало жутко. Ему показалось, что его шеф сошел с ума, как и его иностранный предшественник.

Глаза ученого блестели уже явно нездоровым блеском, руки судорожно сжимали локоть Кимрова, и Кимров не знал, что сделать, на что решиться.

— Я ничего не слышу! Оставьте меня! — не выдержал он наконец. — Ваш чудесный аппарат — плод вашего больного воображения! Вы ничего не изобрели! Вы больны! У вас бред! Оставьте меня!

Тоненькие губы ученого еще более сжались. Блаженная улыбка исчезла. Лицо ученого выразило обиду, утомление, злость.

— Итак, вы, значит, разочаровались во мне? — огорченно спросил он. — Зачем же я тогда посвящал вас во все свои тайны, зачем относился к вам с таким неограниченным доверием?

И, не дожидаясь ответа, ученый опять блаженно улыбнулся, указал пальцем на рупор, продолжавший издавать

неясный хрип, и восторженно зашептал:

— Слышите, слышите?.. А вот любовное объяснение... слова, правда, сейчас менее ясны, но это потому, что мешает штукатурка... Видите ли, когда этот дом только строился — в нем, как раз в этом месте, укрылась, вероятно, от дождя влюбленная парочка... Их слова запечатлелись на балках и срубах... А какие прекрасные слова... Как хорошо было, вероятно, этой парочке, укрывшейся в строящемся здании, где так хорошо пахло свежим деревом и тем особым запахом, которым пахнут новые дома.

Кимров хотел опять сказать, что он ничего не слышит, но ему стало жаль старика... К тому же сказать это мешал тот легкий страх, который вместе с уважением привык чувствовать в отношении своего шефа Кимров. Объяснить себе это чувство Кимров и не пытался, но оно было ему давно знакомо. В глазах ученого по временам появлялось что-то жуткое. Кроме того, Кимрову хорошо было известно отношение ученого к тем, кто пытался усомниться в гениальности его изобретений. Необычайное, неслыханно богатое воображение старика становилось чудовищно изобретательным в неутомимом придумывании способов мести.

И Кимров ужаснулся, придя в себя и вспомнив, что он сказал старику.

«Зачем я сказал ему, что он сумасшедший? — с глубоким огорчением подумал Кимров. — Ведь теперь не будет пределов его тонкой, беспощадной, изобретательной мести. Что мне делать?»

Он посмотрел на сухую фигуру старика, который продолжал прислушиваться к жужжанию аппарата, и подумал, что нужно, пока не поздно, поправить как-нибудь дело.

— Вы слышите, — продолжал старик в упоении, — вы слышите?.. Потом здесь жил француз-ботаник... Вы слышите, как он беседовал с детьми? К нему часто прибегали дети... Они просили цветов... Я слышу их звонкие, чистые голоса... Ах, какие это были милые дети... А вот, в том углу... да... вероятно, в том углу... потому что оттуда идут звуки... в том углу умирала женщина...

— Да... да... теперь я слышу, — соврал Кимров, стараясь хоть как-нибудь выйти из затруднительного положения...
— Да, да... Я слышу... Вообще, ваше изобретение гениально. Я только вначале не мог сразу уловить, среди жужжания, человеческой речи, но теперь я улавливаю совершенно отчетливо...

— Нет, милый друг, — прервал вдруг Кимрова ученый, — я вам не верю. Вы лжете!

Кимров замолчал.

— Вы лжете, — продолжал старик, — вы все время лжете и выведываете у меня мои тайны для того, чтобы предать меня.

— Как предать? Кому? Для чего? — в испуге спросил Кимров.

Он хорошо знал странности своего шефа, знал изумительную силу, яркость и неожиданность его ума, но знал также холодную звериную настойчивость его характера. И все это было достаточным поводом для беспокойства и даже испуга.

— Для чего мне вас предавать? — повторил он.

— Хорош вопрос! — криво усмехнулся ученый. — Я всегда к вам хорошо относился, но если уж вы пошли со мною на откровенность, то позвольте и мне быть откровенным. За изобретения, как вам известно, молодой человек, платят. И платят хорошо. И, к сожалению, платят не только изобретателям, но и лицам, сумевшим вовремя воспользоваться чужим трудом и чужим гением... Да, да, молодой человек, не притворяйтесь смущенным и не пытайтесь меня переубедить.

Кимров, крайне удрученный столь неожиданным поворотом в отношениях к шефу, неподвижно стоял, хмуро глядя перед собой в одну точку.

Аппарат, между тем, продолжал жужжать, и ученый, все более и более волнуясь, вслушивался в слышную ему одному речь давно живых далеких людей.

Его глаза то потухали, то вспыхивали, и Кимрову с каждой минутой становилось все более и более неприятно оставаться наедине со стариком. Но в то же время он чувст-

вовал, как то, что обычно притягивало его к старику, теперь притягивает с новой силой. Это была его старая влюбленность в яркое беспокойство ума ученого, в его яркое и безудержное воображение. Глядя на крайнюю нервную напряженность, с какой вслушивался старик в хрип аппарата, он понял, что если этот человек и с ума сошел, то все же по-своему, рассыпая и тут прекрасные цветы богатейшего своего воображения...

И действительно, то, что говорил, волнуясь, ученый — было прекрасно.

Прислушиваясь к жужжанию аппарата, он повторял слова, давно умерших людей, живших далекой, теперь казавшейся такой трогательной жизнью...

И Кимров, который, помимо воли, все внимательнее и внимательнее прислушивался к бреду своего больного шефа, видел, точно живых, этих далеких мертвецов...

Перед ним проносились быстрые, звенящие и радостные слова их молодости, их далекие праздники, их далекие будни — каким все это казалось теперь необыкновенным. Какой странный, особенный аромат окружал все эти воскресшие слова покойников, их воскресший смех, заботы, радости, огорчения...

Кимров, забыв о происшедшем, был весь поглощен вниманием и, глядя на движущиеся тонкие губы старика и его блестящие возбужденные глаза — сам незаметно для себя приобщался к тому, что силой своего гения или умопомешательства воскрешал старик. И Кимрову начинало казаться, что он не только безучастный свидетель давно прошедшей жизни, но непосредственный ее участник...

— ...А вот послушайте, что потом тут произошло, — продолжал нашептывать старик, делая руками странные движения и подаваясь вперед растрепанной седой головой на тонкой старческой шее, — послушайте... Затем тут произошло нечто ужасное, ох, какое ужасное... Я не могу сейчас точно сказать, когда это произошло, — двадцать или тридцать лет назад, — но тут была катастрофа... Какие-то ужасные крики, мольбы о спасении, рыдания... Что могло про-

изойти? Умирал ли кто? Нападали ли разбойники? Был ли пожар?

...Размеренно жужжал аппарат. В его жужжании было что-то таинственное, настойчивое и жуткое, и частые перебои казались перебоями большого, вечного железного сердца...

Когда Кимров, усталый, разбитый, хотел уйти — к нему бросился ученый, схватил за руку и остановил:

— Погодите.

Он провел ладонью по лбу, точно желая освободиться от вызванных аппаратом призраков, и сказал:

— Как же мне быть с вами? Вы единственный человек, посвященный, увы, в мою тайну, и теперь вы, несомненно, меня выдадите. Меня начнут осаждать сотни и тысячи практиков, у меня отберут мое изобретение и станут им пользоваться черт знает для чего... Сыскные отделения начнут при помощи моего аппарата выслеживать преступников, мужья будут восстанавливать уличающие картины измены их жен... фи, какая мерзость... Неужели для этого стоило так трудиться? Неужели для этого стоило тратить столько сил?

— Что же вам от меня надо? — грубо прервал его Кимров, взволнованный и крайне утомленный всем происшедшим.

— Дайте мне слово, что все виденное и слышанное вами останется между нами навеки.

— Хорошо. Обещаю вам.

Странная тревога мучила Кимрова. Его состояние было совершенно необъяснимо. Он никак не мог думать, что изобретение шефа так сильно заставит его волноваться. Да и изобретение ли это? Ведь, он, Кимров, ничего не слышал. Слышал только старик.

Но если даже допустить, что старик с ума сошел, то отчего все-таки столько волнующего есть в его сумасшест-

вии? И отчего это сумасшествие вызывает сомнение?

Дома Кимров тоже не мог успокоиться. Мерещились то плотники, говорившие много лет тому назад о чьей-то свадьбе, то влюбленная парочка, то ботаник, даривший детям цветы, то крики и рыдания, имевшие место все в той же квартире...

Ночью Кимрову уже казалось, что обо всем этом он узнал не со слов старика, а что он сам слышал. Он ясно вспоминал голоса давно умерших людей, их смех, их рыдания.

Наутро его вновь неудержимо потянуло к ученому.

Когда Кимров пришел к нему — ученый сидел на корточках перед своим аппаратом и плакал. Крупные слезы катились по его морщинистым сухим щекам.

Кимров опять, как вчера, перестал владеть собой. С тех пор, как шеф посвятил его в это изобретение и, в особенности, продемонстрировал перед ним впервые аппарат — все спуталось в их отношениях. Неизвестно, отчего — откровенность перемежалась с ложью, благоговение с дерзостью и грубостью, а главное, все было пропитано странным раздражением и непонятной тревогой.

— Что с вами? — спросил Кимров.

— Ах, не спрашивайте! — отмахнулся старик.

— Нет, вы непременно расскажете мне, — почти крикнул Кимров, приближаясь к ученому. — Вы должны мне рассказать.

— Тут произошло нечто ужасное. Вчерашние рыдания и крики — ничто в сравнении с этим.

— Но что же произошло?

— Особенного — ничего. Умирал ребенок. Маленький ребенок. Это было всего восемнадцать лет назад. От него остались только его стоны... жалобные беспомощные стоны... Вот, послушайте...

Кимров нагнулся к аппарату и прислушался. Действительно, сквозь жужжанье аппарата можно было расслышать слабые, приглушенные и необыкновенно жалобные стоны... Они вызывали бесконечную жалость, и слезы старика были понятны.

— Однако, бросим эту квартиру, — воскликнул Кимров, чувствуя вчерашнюю жуть и такое же, как вчера, необъяснимое раздражение.

— Хорошо! — к его удивлению, живо согласился старик.

Он как-то особенно торопливо встал и начал укладывать аппарат в приготовленный ящик.

Через двадцать минут они были на улице. Ящик на крепком ремне висел на плече ученого.

Клиров, идя рядом с шефом, чувствовал неопределенную жуть. В ушах его еще стояли стоны умирающего ребенка.

«Отчего это так волнует меня?» — мелькало по временам в голове Кимрова.

Но он вскоре перестал отдавать себе отчет в том, что происходит.

— Куда мы пойдем? — спросил старик.

— Не знаю. Куда хотите.

— Ну, вот, зайдем в эту гостиницу.

Через полчаса в одном из номеров уже раздавалось жужжанье аппарата и перед ним, нагнувшись, стояли ученый и Кимров.

— Вы слышите? — говорил ученый.

— Да... да... — шептал Кимров.

— Вы слышите?.. Тут жило бесконечное множество людей... Лет тридцать тому назад скандалил какой-то жилец. Послушайте, какими странными словами он ругался... Затем здесь пели... Мужской голос... Тут же беседовали о литературе... Затем происходили оргии... дети... плясали... вы слышите?..

В голове у Кимрова стоял туман. Тысячи голосов перебивали друг друга, слышались смех, свист, шаги, звон посуды, пение, поцелуи, ругань...

Он невольно оглядывался, и его охватило необъяснимое волнение при мысли, что все это происходило в одной комнатке, которая казалась теперь такой пустой и невинной...

— Пойдемте, — сразу утомившись, попросил Кимров.

Старик за последние два дня резко изменился. Он сде-

лался необыкновенно ласковым и покорным.

— Пойдемте, — согласился он.

Они вышли. Молча прошли несколько улиц. Оба чувствовали возбуждение, к которому не успели еще привыкнуть со вчерашнего дня.

Кимров искоса поглядывал на ящик, в котором находился аппарат. Он чувствовал, что с каждой минутой этот ящик приобретает все большую и большую власть над ним, Кимровым, от которой он никогда не будет в силах отделаться.

Он все еще никак не мог разобраться, действительно ли он слышал то, что внушал ему старик, или ему только почудилось; с ума ли сошел старик или, действительно, сделал великое изобретение.

— А хотите пройти во дворец? — спросил старик. — Сегодня открыт вход.

— Пойдемте.

И во дворце то же самое. В одной из зал старик незаметно открыл крышку ящика, и Кимрову сквозь жужжание и возбужденный шепот старика почудились голоса умерших царей, их смех, их слова, речи, приказы... Целые сцены восстанавливал старик. Отчетливо вставала давно ушедшая жизнь, и в этом были столько прекрасного, но в то же время и страшного, что Кимров не мог выдержать и вышел на улицу...

— Вы слышали?.. Вы слышали? — блестя круглыми безумными глазами и тяжело дыша, поспевал за ним старик.

Но Кимров уже совершенно не мог овладеть собой. Он чувствовал, что теперь никогда не сможет оставить старика с его чудесным ящиком.

Говорят, что люди, сторожащие архивы, постепенно становятся рабами былой жизни, запечатленной в бумагах. Такова власть прошлого.

Какой же чудовищной властью должен был обладать этот *живой архив*?

Старик сразу превратился в его раба, и Кимров чувствовал, что и ему не уйти от этого.

Прошедшая жизнь миллионами живых голосов втягивала его в свой вечный клубок и, желая освободиться, не зная, как победить туман в голове и неопределенную, но мучительную жуть, — Кимров неожиданно для себя набросился на старика, вырвал у него ящик, в сумасшедшем порыве разбил его камнем и, не помня себя, с безумными криками побежал по улице...

В доме для умалишенных старика отделили от студента. Сделали это потому, что старик при виде своего бывшего секретаря плакал и кричал, что он погубил какое-то великое изобретение, и требовал для него смертной казни, а студент, страдавший не меланхолией, как старик, а буйным умопомешательством, смеялся и, потирая руки, злорадно уверял, что он разбил какой-то живой архив, мешавший наступлению новой жизни....

Николай Федоров

ВЕЧЕР В 2217 ГОДУ

Был четвертый час. Матовые чечевицы засияли на улицах, борясь с разноцветными огнями бесчисленных окон, а вверху еще умирал яркий зимний день, и его лучи золотили и румянили покрытые морозными цветами стекла городской крыши. Казалось, там, над головами, в темной паутине алюминиевой сети, загорались миллионы драгоценных камней, то горячих, как рубин, то ярких и острых, как изумруды, то тусклых и ленивых, как аметисты...

Многие из стоящих на самодвижке подымали глаза вверх, и тогда листья пальм и магнолий, росших вдоль Невского, казались черными, как куски черного бархата в море умирающего блеска.

Искры света в стеклах затрепетали и заискрились. Заунывный звон отбил три жалобных и нежных удара. Шумя, опустился над углом Литейного воздушник, и через две минуты вниз по лестницам и из подземных машин потекла пестрая толпа приезжих, наполняя вплотную самодвижки. Нижние части домов не были видны, и казалось, что под ними плыла густая и темная река, и, как шум реки, звучали тысячи голосов, наполняя все пространство улицы и подымаясь мягкими взмахами под самую крышу и замирая там в темных извивах алюминиевой сети и тускнеющем блеске последних лучей зари...

Еще молодая, но уже утратившая юную свежесть девушка, стоявшая на второй площадке самодвижки, закусилась белыми ровными зубами нижнюю губку, сдвинула тонкие и густые брови и задумалась. Какая-то дымка легла на ее лицо и затуманила ее синие глаза. Она не заметила, как пересекла Литейный, Троицкую, парк на Фонтанке, не заметила, как кругом нее все повернули головы к свежему бюллетеню, загоревшемуся красными буквами над толпой, и заговорили об извержении в Гренландии, которое все разрасталось, несмотря на напряженную борьбу с ним.

— Ужасно, как человечество еще слабо, — проговорил высокий плечистый юноша около девушки.

— Но это извержение, положительно, выходит из ряда вон.

— Что-то вообще творится неладное кругом, — проворчал плотно сложенный тысяцкий, закуривая длинную папиросу. И красноватый свет огнива выделил его крупный нос с горбинкой, сжатые губы и выпуклые глаза.

— Вы думаете? — спросила его женщина с повязкой врача.

— Что ж тут думать? Надо прислушаться, и вы услышите гул приближающегося извержения, только не такого, как в Гренландии, а пострашнее.

И словно в ответ на эти слова, сказанные тяжелым и уверенным, как пророчество, голосом, все смолкли, и где-то там, в глубине земли, под их ногами, что-то загудело и, как могучий вздох огромной груди, медленно проплыло и затихло...

— Это грузовик, — сказала женщина, как бы спеша подыскать объяснение.

— Не все так просто объясняется, — бросил тысяцкий и перешел на площадку, чтобы подняться на поперечную самодвижку.

Девушка достигла уже Екатерининской улицы и тут только заметила, что давно миновала свой поворот; но ей не хотелось возвращаться. Какая-то сеть опутывала ее тело и душу, цепкая тяжелая сеть, сжимавшаяся, как кольца удава, все туже и туже.

II

Девушка сошла с самодвижки и повернула к собору.

Она любила этот «старый уголок». Ей казалось, что здесь живут тени прошлого, былого, ушедшего невозвратно. Она любила эти маленькие кустики, эти цветнички, восстановленные по старинным рисункам такими, какими они были сотни лет назад, усыпанные песком дорожки, газетный киоск на углу с объявлениями, напечатанными неуклюжи-

ми старинными буквами, маленький фонтан, наивно выбрасывавший свои тонкие струйки, с нежным плеском падавшие обратно в круглый бассейн. Только высоко над головой, нарушая иллюзию, висела освещенная снизу серовато-белая крыша.

Сегодня здесь было мало народу. Сидел какой-то высокий старик с длинной черной бородой и два мальчика — один особенно обратил на себя ее внимание: худощавый, хрупкий, с огромными голубыми глазами и длинными прядями белокурых волос. Он, наверное, воображал себя каким-нибудь старинным борцом за правду, студентом или революционером и с таинственным видом поглядывал на маленькую записную книжку в красном переплете. На вид ему можно было дать не больше пятнадцати лет. Девушка невольно улыбнулась, глядя на него.

Потом она закрыла глаза и откинулась на неудобную, твердую спинку скамейки. Отдаленный говор людей на самодвижке смутно доносился до нее, сливаясь с плеском фонтана. Ей чудилось, что кругом нее стоит огромная толпа притихших людей. Они собрались здесь, робкие и измученные, с бьющимся сердцем и тревогой в душе, чтобы поднять в первый раз красное знамя свободы. Она слышит голоса, надорванные, звенящие слезами, видит наивные, полные веры, горящие одушевлением лица.

И никто, проходя мимо и взглянув на девушку, на ее полное здоровое лицо, на ее положенные вместе руки, на ее казавшиеся мускулистыми и крепкими даже под одеждой закинутае одна на другую красивые ноги, на ее упругий стройный стан, не подумал бы, что она вся ушла в прошлое, в туманную, таинственную даль.

Потом девушка представила себе, как густыми и тягучими волнами льются звуки большого колокола, опускаясь с высоты на темную и холодную землю, и ей казалось, что стоит ей обернуться, и она увидит красноватое пламя восковых свечей, густой дым кадил, женщин в темных длинных платьях с наклоненными головами, тяжелые фигуры мужчин в кожаных сапогах, в грубых толстых костюмах и белых крахмальных воротничках. Кончается служба, выли-

ваясь потоком из дверей храма, они расходятся по темным, тускло освещенным электрическими и газовыми фонарями улицам; и каждый идет в свой дом, в свой дом, в свой дом...

Девушка мысленно повторила несколько раз эти два так странно звучащих слова, и ей стало еще грустнее, чем было весь день, и от глубокого вздоха грудь ее поднялась неровно и порывисто и мягкая материя недовольно зашуршала.

III

Только вчера она добилась очереди у Карпова.

Она была вообще странная девушка. То, что нравилось другим и увлекало их, то, что всем казалось просто, естественно и приятно, ее отталкивало, вызывало в ее красивой головке целый вихрь, целую бурю странных и неясных ей дум, вызывало щемящую боль в душе... Как расхохотались бы, весело, от всей души расхохотались бы те юноши и девушки, с которыми она встречалась ежедневно, если бы она вздумала передать им свои ощущения! Большинство совсем не поняло бы ее, и она, конечно, услышала бы со всех сторон один и тот же совет:

— Пойди к доктору...

Ей хотелось семьи, старинной семьи, замкнутой, как круг, тесно и неразрывно связанной, любящей семьи, семьи, о которой теперь читают только в исторических романах.

И она приглядывалась к тем сытым, крупным юношам с крепкими мускулами и смелыми глазами, которых она встречала на работе, на улицах, в театрах, на собраниях, на пикниках, на прогулках, и уныло твердила:

— Не то, не то, не то...

И ее словно оскорбляла, словно наносила ей глубокую рану та легкость, с которой эти юноши переходили от девушки к девушке, с какой они меняли свои привязанности.

Как старинному скупцу, ей хотелось взять и спрятать того, кого она полюбила бы, от всех взять его для себя одной, хотелось, чтобы он любил ее одну, всю жизнь любил бы только ее одну... И так шли годы.

Подруги смеялись над нею:

— У тебя каменное сердце...

Отвергнутые ею юноши считали ее глупой и не совсем нормальной и понемногу перестали ею вовсе заниматься.

Однажды — это было весной, когда в раскрытые части крыши врывается прохладный, душистый ветер и деревья ласково шелестели своими блестящими листьями, — она была в университете на защите диссертации молодым, но уже успевшим приобрести массу поклонников и поклонниц ученым Карповым.

Темой диссертации он выбрал: «Институт семьи в дореформенной Европе».

Диссертация была написана великолепным языком, и, помимо блестящей научной эрудиции, автор обнаружил в ней еще и большой художественный талант и ярко до осязаемости нарисовал эту старинную замкнутую ячейку — семью, из которой, как пчелиный сот, слагалось тогдашнее государство.

И когда, удостоенный звания доктора истории, он, подняв голову, увенчанную темной шапкой каштановых волос, сходил с эстрады, раздался дружный, долго не смолкающий взрыв рукоплесканий, от которого зазвенел металлический переплет стен и потолка. Женщины и девушки забросали Карпова букетами свежих душистых ландышей.

Аглае — девушку звали Аглаей — шел тогда уже двадцать шестой год, и раза два суровая и сухая тысяцкая Краг говорила, оглядывая стройную фигуру Аглаи:

— Вы уклоняетесь от службы обществу...

Эту Краг многие не любили за ее прямолинейность и строгость, за ее фанатическую преданность ее божеству — обществу.

Молодые девушки, легкомысленные и ленивые, говорили, что она метит в председательницы округа.

Еще накануне защиты диссертации Карповым Круг установила Аглаю после смены и сказала, глядя на нее прямо и открыто, словно стеклянным взглядом:

— Если у вас нет пока увлечений, вы должны по крайней мере записаться... Если вы берете у общества все, что вам нужно, то вы и должны дать ему все, что можете. Уклоняться нечестно и непорядочно.

— Я подумаю, — сказала Аглая.

— Не о чем думать. Это и так ясно. Это какая-то новая болезнь теперь. Раньше, когда я была молода, девушки так много не думали. Кажется, правы те, кто предполагает издать специальный принудительный закон.

И вот, сходя со ступенек университета, охваченная волною прохладного весеннего ветра, от которого у нее расширились тонкие нервные ноздри и грудь дышала широко и свободно, Аглая решилась...

На другой же день она отправилась в дом, где жил Карпов.

Ей трудно было приступить к делу, и она вся так и запылала, спросив у заведующего домом:

— Что, Карпов записи принимает?

Заведующий невольно улыбнулся и ответил:

— Да, принимает, по средам от двух до трех.

До следующей среды оставалось четыре дня, и Аглая провела их как в лихорадке, и сотни раз решала не идти вовсе, и снова перерешала. За пять минут до того, как ей выйти из своей комнаты, она не знала еще наверное, пойдет ли.

Но она пошла.

В комнате, светлой, но заставленной цветами, сидело уже больше двадцати женщин и девушек, и каждую минуту прибывали все новые. Некоторые, видимо, были смущены и сидели, опустив глаза и сложив руки; другие разговаривали вполголоса. Комната наполнялась, и казалось, что в ней не хватит места, чтобы принять всех желающих записаться у восходящего светила. А они все шли и шли, и каждую минуту подъемная машина выпускала их на площадку по одной, по две и по три.

Около половины третьего вышел в мягком домашнем костюме и в мягких туфлях Карпов. Женщины уже избаловали его, но сегодняшним наплывом он был, по-видимому, все-таки смущен и остановился в замешательстве.

Было больше пятидесяти кандидаток. Остановившись посреди комнаты, Карпов сделал общий поклон и обвел глазами лица и фигуры. Совсем некрасивых не было. Как всегда, у каждой на плече был пришит ее рабочий номер. И, вынув маленькую с золотым обрезом книжечку и крошечный карандаш, Карпов отметил несколько номеров, еще раз обводя взглядом всех кандидаток, и, сделав снова общий поклон, скрылся в ту же дверь, через которую вошел.

Аглае не хотелось ни с кем говорить, и, сгорая со стыда, она вскочила на первую площадку самодвижки и, не довольствуясь ее быстротой, пошла, лавируя в толпе и возбуждая удивленные взгляды, в свою квартиру.

И когда через несколько дней Краг снова спросила ее: — Все еще не записались? — она со злостью и нервной дрожью в голосе ответила:

— Записалась, записалась, оставьте меня в покое, умоляю вас.

IV

Вчера утром ее известили, что вечером ее очередь у Карпова. Она ждала этого, но ей казалось, что это будет еще очень и очень не скоро, и понемногу она совершенно успокоилась. Известие подействовало на нее, как толчок электрического тока. Ей казалось, что у нее внезапно отнялись руки и ноги, и в голове все закружилось с бешеной быстротой. И когда она вечером мылась и одевалась, руки ее ходили и вся она дрожала мелкой дрожью.

Едва слышно она постучалась в дверь комнаты Карпова. Он был дома и лениво ответил:

— Входите.

Был двенадцатый час, час, когда ей было назначено к нему прийти...

V

И теперь, когда она вспомнила мгновение за мгновением весь этот вечер, всю эту ночь, ей хотелось закрыть себе лицо руками и зарыдать громко, в голос, так, чтобы тряслось и прыгало все тело...

Заунывный звон электрического колокола опустился из-под крыши, и, приставая, прошумел воздушник. Гул толпы на самодвижке замирал, толпа редела.

Аглае казалось, что вчера вечером она потеряла что-то самое дорогое, лучшее в жизни, потеряла невосвратно.

Она подняла глаза, словно ища темного ночного неба и тихих звезд, но там, над головой, все так же холодно и равнодушно висела серовато-белая крыша. И Аглае казалось, что она давит ее мозг, давит ее мысли.

Аглая перевела глаза на улицу, на красные буквы бюллетеня, то меркнувшие, то загорававшиеся вновь, принося вести со всех концов земли:

«Падение воздушника около Мадрида. Одиннадцать жертв».

«Выборы в токийском округе. Выбран Камегава большинством в 389 голосов».

«Извержение в Гренландии продолжается. Мобилизованы четыре дружины».

Аглая читала сообщения, и смысл этих красных, словно налитых кровью слов ускользал от нее. Она перевела взгляд направо. Там сверкали холодные зеленые буквы вечерней программы:

«Зал первый. Лекция Любавиной о строении земной коры».

«Зал второй. Ароматический концерт».

«Зал третий. Лекция Карпова».

Это имя ударило Аглаю как молотком, и она, вскочив, хотела идти.

Но куда идти?

Ей хотелось сегодня быть подальше от людей, этих самодовольных, смеющихся, веселых и однообразных, как манекены, людей. Еще страшнее было ей идти в свою комнату, чистую, светлую и всю наполненную одиночеством. Страшнее всего было ей оставаться наедине с собою.

Она решила идти к Любе, своей новой подруге, с которой она близко сошлась за последние два месяца. На Невском было пустынно. Во многих окнах уже не было огней, и блестящие, холодные фасады домов словно застыли, залитые ровным белым светом. Полоски самодвижек без конца бежали в ту и другую сторону вдоль домов. Только немногие фигуры стояли и сидели на самодвижках, изредка перебрасываясь словами, гулко отдававшимися на пустынной улице.

Аглая села в кресло самодвижки и закрыла снова глаза.

VI

На этот раз она не пропустила и остановилась у дома номер девять. Она вошла в подъезд и нажала на справочной доске кнопку номер двадцать семь. И в ответ тотчас появилась светлая надпись: «Дома. Кто?»

Аглая ответила и снова блеснули буквы: «Иди».

Аглая стала на подъемную машину, поднялась на восьмой этаж, сделала несколько шагов по коридору и постучалась в комнату номер двадцать семь.

— Войди, — ответила Люба.

— Ты одна? — спросила Аглая, с трудом различая предметы в освещенной одним только обогревателем комнате.

— Одна, — ответила Люба, поднимаясь к ней навстречу с кушетки.

Разноцветные матовые стекла обогревателя бросали пестрые бледные пятна на стены и пол. Занавесь на окне была

не спущена, и сквозь узорчатые стекла лился слабый уличный свет, едва намечая раму.

— Можно закрыть окно? — спросила Аглая, кладя палец на черную кнопку.

— Конечно, — ответила Люба.

Аглая нажала кнопку, и тяжелая занавесь опустилась и закрыла окно, смотревшее холодно и пусто, как глаз мертвеца.

— Так лучше, — сказала Аглая, — улица меня сегодня раздражает.

— А я лежала и мечтала, — сказала Люба, когда Аглая сняла верхнюю кофточку и перчатки.

— О чем?

— Так... Сама не знаю. Сегодня ароматический концерт с программой из моих любимых номеров: «Майская ночь» Вязникова, «Буря» Уолеса, «Ромео и Джульетта» Полетти. Но мне не хочется уходить из своей комнаты. А славная эта «Майская ночь»... Ты помнишь? Вначале тонко-тонко проносится сырой и нежный запах свежих полей; потом нарастает густой и теплый аромат фиалок, и запах зеленых крепких листьев, и лесной гниловатый пряный запах. Так и кажется, что идешь, взявшись за руку, с любимым человеком по густому-густому лесу; а потом нежной и легкой тканью рассыпается аромат ландышей — острый и свежий аромат, аромат, от которого шире и вольнее дышится. В этом месте я готова кричать от восторга. Розы, царственные, пышные розы. Разгорается заря, сверкают капли росы. Чудо что такое! А «Ромео и Джульетта»... Что-то таинственное и жуткое в этих пронзительных кружащихся запахах вначале, потом они нарастают, становятся все глубже, все печальнее. Так и чувствуешь, что опускаешься в глубокий, едва освещенный склеп... А «Буря»? Ты любишь «Бурю»? Какие взрывы тяжелых, падающих, как градины, запахов, сменяющихся быстро, бегущих и сталкивающихся! Восторг!..

Люба закинула руки за голову и мечтательно смотрела на разноцветные стекла согревателя.

— Отчего ты не пойдешь? — спросила Аглая, со страхом ожидая ответа подружки, точно от этого зависела вся ее судьба.

— Не хочется. Лень... И последнее время все неприятности у меня, — ответила Люба и замолчала, упорно смотря на цветные стекла.

VII

— Какие у тебя неприятности? — спросила Аглая, чтобы не молчать.

— Ах, все то же. Опять сорвалось. Какая я несчастная, какая я несчастная, Аглая!

— Да в чем же дело?

— Я была на этой неделе у Айхенвальда, у Курбатова, у Эйзена — везде отказ, везде. У Эйзена, впрочем, удалось, но не раньше, чем через полтора года. И он музыкант, а я не особенно люблю музыкантов, я вовсе не хочу, чтобы мой ребенок был музыкантом. Отчего я такая некрасивая, противная? Отчего у меня такой длинный нос? Я уверена, что каждый из них прежде всего смотрит на мой нос и пугается...

— Люба, ты вовсе не такая некрасивая, как воображаешь.

— Э, полно, не утешай меня, я сама знаю.

Снова наступило молчание, и вдалеке жалобно прозвучал электрический колокол: раз, два, три...

— Он меня выводит из себя сегодня, этот колокол, — сказала Люба, затыкая своими длинными пальцами на мгновение уши.

— А я была вчера вечером у Карпова, — едва слышно промолвила Аглая.

— Была? — живо воскликнула Люба, порывисто оборачиваясь к ней. — Ну что? Как? Какая ты счастливица, Аглая. Расскажи мне все, все. Слышишь? Все...

— Мне тяжело, ничего я не буду рассказывать. На душе у меня так гадко, так гадко.

— Но отчего же? Ах, как бы я хотела быть на твоем месте! Не красней, Карпов такой красавец, такая прелесть...

VIII

Резко и отрывисто звякнул телефон, и луч белого света прорезал комнату.

— Кто это? — с досадой спросила Аглая, оборачиваясь на звонок.

— Витинский, — сказала Люба, взглядевшись в светлую дощечку.

Люба встала и пошла к телефону.

— Что вам, Павел? Прийти ко мне?

— Зови, зови его, пожалуйста, — вмешалась Аглая, торопясь предупредить подругу.

— Терпеть я не могу этого реформатора, — шепнула Люба, отворачиваясь от телефона.

— Пожалуйста, — повторила Аглая, просительно складывая руки.

— Ну, ладно уж...

И, обернувшись снова к телефону, Люба сказала:

— Приходите. Тут и ваша поклонница, Аглая.

И Люба замкнула телефон.

— Ну зачем ты это сболтнула? — недовольно спросила Аглая.

— А разве неправда? Только он не в моем вкусе, и я не знаю, чем он тебе нравится. Беспокойный какой-то.

— Вот это самое беспокойство мне в нем и нравится.

— Не понимаю.

Разговор не клеился. Подруги сидели молча, и каждая думала о своем.

— Который час? — спросила, наконец, Аглая. — Я еще ничего с обеда сегодня не ела, и ничего не хочется.

Люба закинула назад руку и надавила маленькую кнопку. Над обогревателем сверкнули цифры часов.

— Половина восьмого, — сказала Люба.

— Спасибо, — шепнула Аглая и снова замолчала.

— Тебя перевели? — спросила после долгой паузы Люба.

— Да.

- На какое?
- На макаронное. Это все-таки веселее, чем сортировать и отправлять пакеты.
- А мне мои перчатки надоели хуже, хуже... Ну я прямо слова подыскать не могу.
- Хуже горькой редьки?
- Вот именно.

IX

Послышался стук в дверь.

— Войдите, — сказала Люба.

Вошел высокий, хорошо развитый и крепко сложенный юноша.

— Это вы, Павел? — спросила, не оборачиваясь, Люба.

— Да, я. Почему у вас нет света? — промолвил Павел, здороваясь с молодыми девушками.

— Так. Нервы не в порядке.

— А... Впрочем, теперь не мудрено расстроиться нервам.

— Ужасно, — прошептала Люба.

Она заговорила оживленно, волнуясь и жестикулируя:

— Нашлись пророки! Столетиями, тысячелетиями стояло человечество, мучилось, корчилося в крови и слезах. Наконец его муки были разрешены, оно дошло до решения вековых вопросов. Нет больше несчастных, обездоленных, забытых. Все имеют доступ к свету, теплу, все сыты, все могут учиться.

— И все рабы, — тихо бросил Павел.

— Неправда, — горячо подхватила Люба, — неправда: рабов теперь нет. Мы все равны и свободны. Нет рабов, потому что нет господ.

— Есть один страшный господин.

— Кто?

— Толпа. Это ваше ужасное «большинство».

— Э, оставьте. Старые сказки. Они меня раздражают. Я не могу слышать их равнодушно.

И Люба замолчала, сжимая нервно руки.

— Они меня влекут к себе, как в глубокий омут, как в пропасть, — сказала Аглая.

— Кто? — спросила Люба.

— Те, кого ты иронически называешь пророками.

Люба ничего не ответила, скривив презрительно губы.

— Будем чай пить? — спросила она потом, встряхивая головой, словно отбрасывая неприятные мысли о беспокойных людях.

— Будем, — согласились в один голос Павел и Аглая и взглянули друг на друга, как бы поверяя один другому общую тайну.

Х

Люба сняла с полочки три стакана, молоко, печенье, хлеб и масло и, нажав пружину, захлопнула дверцу.

— Теперь света бы не мешало, — сказал Павел, беря свой стакан, — неловко как-то в темноте.

Люба молча повернула рукоятку, и мягкий голубоватый свет полился с потолка.

— Я теперь читаю старинные книги. Каждый вечер несколько часов посвящаю чтению, — заговорил снова Павел, отхлебнув несколько глотков и откидываясь на спинку кресла.

— Ну и что же? — отрывисто спросила Люба, раздражение которой еще не остыло.

— Я завидую, — ответил медленно Павел. — Завидую тем несчастным, голодным и холодным «мужикам». Как просто и свободно они жили, выбирая по своей воле труд или безделье.

— Главное, свободно умирали с голоду, — бросила Люба.

— Да, и свободно умирали с голоду.

— Умереть с голоду вы и теперь можете совершенно свободно.

— Да. Вот умереть мне можно совершенно свободно в любую минуту, а жить так, как я хочу, мне не позволяют.

— Как же вы хотите жить?

— Тоже совершенно свободно, независимо.

Павел говорил громко и возбужденно, все лицо его горело одушевлением, и глаза, красивые серые глаза блестели под белым, слегка откинутым назад лбом.

Аглая не сводила с него взгляда и жадно ловила его слова.

— Так, так, — наконец сказала она, — это мои мысли.

— Да замолчите вы, несносные, — вскричала Люба, — вы еще о религии заговорите!

Она презрительно усмехнулась.

— О, как бы я хотел верить, — сказал, подхватывая ее слова, Павел, — чисто, наивно и горячо верить, так, как описывается в старинных книгах. Но меня обокрали. Когда я был еще ребенком, мою душу отравили скептицизмом. Она мертва и безжизненна. Как я завидую старому семейному быту, как бы мне хотелось иметь мать и отца. Не граждан за номерами, которые числятся моими отцом и матерью по государственным спискам (да и то, насчет отца я не уверен), а настоящих, живых мать и отца, которые воспитали бы меня и вложили бы в меня живую душу.

— Вы и против общественного воспитания детей?

— Да, против. Я не боюсь говорить об этом, как ни дико это кажется и как ни идет это вразрез с положениями господи науки и ходячей морали.

— Замолчите, мне тошно слушать вас. Я вам не верю, вы напускаете на себя.

— О нет, я говорю вполне искренне. Дружная старинная семья, как в ней, должно быть, хорошо было! Как радостно прыгали дети, встречая входящего отца! Как они прижимались доверчиво и ласково к своей матери!

— У вас голова забита старыми бреднями. Вам нужно бросить читать и взять отпуск.

— Конечно, это лучшее средство, — сказал Павел насмешливо. — Нет, не то, — продолжал он. — Раз проснулись эти чувства в душе, их ничем не заглушишь.

— Вы знаете, в Африке около Нового Берлина образовалось, говорят, общество, решившее добиваться от верховного африканского совета легализации семьи на старинный лад, — сказала Аглая.

— Да, слышал. И глубоко им сочувствую. И если я когда-нибудь сойду с девушкой, — прибавил Павел значительно, — я сойду с ней только с тем, чтобы никогда не разлучаться. И если она уйдет все-таки от меня, я ее убью. И себя убью.

— Вы совсем сумасшедший, — сказала Люба, — не хотите еще чаю?

— Нет, не хочу... Свободные люди. А наша служба в Армии Труда, неизбежная, обязательная, как рок? А обязательные занятия?! Вы что теперь делаете?

— Я в перчаточном, — ответила Люба.

— Ну вот. И очень вам это нравится?

— Это необходимо. И потом, ведь это отнимает у нас только четыре часа в сутки, а в остальное время мы делаем, что хотим.

— А я ни минуты, ни мгновения не хочу подчиняться, ни минуты не хочу заниматься моей проклятой полировкой стекол.

— Просите перевести вас.

— Куда? Рубить гвозди? Месить тесто? Я ничего, ни одного движения не хочу делать по принуждению.

— Ну к чему вы все это болтаете? — спросила его Люба. — Ведь вы не переделаете всего общества. И если большинство с вами не согласно, вам остается только подчиниться.

— Большинство, большинство. Проклятое, бессмысленное большинство, камень, давящий всякое свободное движение.

XI

Павел вскочил и нервно заходил по комнате.

— Меня лишили, мне не дали веры. Не знаю, каким чудом есть еще верующие люди, и как бы я хотел этого чуда для себя! Меня обокрали, взамен мне не дали ничего, не дали никакого оружия против страшного, против чудовищного врага — смерти.

— Какого же оружия вы хотите? Его никогда не было. Разве в старых сказках.

— Вера была оружием. Твердая, горячая вера, с которой не страшна была самая темная ночь.

— Наука дает нам больше, чем вера. Она реально, не в мечтах только и бреднях, а на самом деле, в действительности продолжила вдвое человеческую жизнь. Она избавила человека от болезней. Чего же вам еще? Мне кажется, этих реальных благ больше чем достаточно, чтобы вознаградить за призрачные блага, дававшиеся верой.

— А смерть?

— А верующие не умирали?

— Умирали, но верили, что воскреснут.

Павел прошелся несколько раз по комнате.

— Свобода, — снова заговорил он, — а я ни одной вещи, ни одного угла не могу назвать своим. Нет ни одного угла, где бы я мог безусловно и совершенно самостоятельно распоряжаться.

— Вы все любите ссылаться на старину. Вспомните древних христиан. Я недавно еще читала о них целую книгу. У них ведь все было общее.

— Да, да. Все общее. Но только по любви, а не по необходимости. Я с восторгом бы имел все общее со всеми, если бы это было по любви, по братству.

Он замолчал, пощипывая свою начавшую курчавиться бородку.

— Когда я прохожу, — начал он снова, — по Марсову полю, под его роскошными пальмами, магнолиями и олеандрами, среди пестрых цветов, у меня руки сжимаются судорогой, и кажется, я так и передушил бы этих спокойных, холодных и бездушных, как машины, людей. Какой насмешкой, каким жалким убожеством кажутся мне пышные речи, произносимые на торжествах. Мне всегда так и хочется

бросить в ответ на шаблонно громкие слова о благоденствии человечества одно только слово: «слепцы». Человечество убито. Его нет больше. Оно только и было ценно, только и имело право жить за свою душу, за светлые порывы этой души, за светлые слезы любви... А теперь... теперь...

Павел задышался. И Аглая не сводила с него своего пристального взгляда и думала: «Так, так, это мои мысли, мои».

ХП

— Идемте вместе, — сказал Павел, когда Аглая начала собираться, — можно?

— Конечно, можно. Я буду очень рада.

Они спустились и вышли на улицу. Самодвижки уже были остановлены, и одинокие шаги редких прохожих гулко отдавались на пустой улице.

— Должно быть, ясная лунная ночь, — сказала Аглая, поднимая лицо вверх.

— Да, вероятно. Крыша не только освещена снизу, но и просвечивает лунным светом.

— Пойдемте наверх, на станцию воздушника. Я люблю смотреть, как они улетают и тонут в небе. Особенно красиво это в лунную ночь, тогда они походят на серебристых птиц.

— Пойдемте.

Они пошли рядом по направлению к Литейному, то падая в тень узорчатых листьев пальм, то обливаемые молочным сиянием. Красными огнями вспыхивали то там, то здесь бюллетени.

Молча поднялись Аглая и Павел по лестнице.

— Товарищ, дайте одеться, — сказал Павел, дотрагиваясь до дремавшего дежурного, заведующего теплой одеждой.

— Куда так поздно? — спросил тот от нечего делать и выдал по одному комплекту одежды.

— На какой склад отметить? — спросил он снова.

— Мы ненадолго, только погулять на платформе, — ска-

зал Павел.

— А-а, — протянул заведующий и снова сел в свое теплое и удобное кресло.

Павел и Аглая вышли на платформу. Воздушник был готов к отправлению и висел, подрагивая корпусом.

Полный месяц стоял на самой середине безоблачного голубого неба. Нежные и тонкие лучи его лились на крышу, простиравшуюся до самого горизонта. От высоких труб и выступов падали голубоватые тени. Запорошенная мелким неубранным снегом крыша сверкала и искрилась. Как привидения, подымались в небо станции воздушников. Иногда воздушник с острым шипом проносился и падал у станции, и жалобные звонки электрических колоколов бежали над крышей.

Раздались два громких неожиданных удара за спиной Павла и Аглаи. Они оба вздрогнули.

— Готово? — спросил отправитель.

— Готово, — ответил проводник.

— Отдай! — крикнул отправитель.

И, зазвенев в стальных полосах, воздушник скользнул и плавно поднялся вверх.

— Ну, смотрите, смотрите. Разве не похоже на сказочную, волшебную птицу? — спросила Аглая. — Смотрите, как блестит он.

— Да, да, — шептал Павел, взяв теплую руку Аглаи и сжимая ее своей рукой.

И у Аглаи сердце замерло неожиданно от предчувствия какого-то еще небывалого счастья.

Отправитель ушел к себе, Аглая и Павел остались одни на платформе, залитые яркими лучами месяца.

— Тебе не холодно? — спросил Павел, наклоняя лицо свое к Аглае.

Она не удивилась этому неожиданному «ты» и, вся замирая, с забывшимся вдруг сердцем, едва слышно ответила:

— Нет.

— Аглая, дорогая, я люблю, люблю тебя, Аглая, — зашептал вдруг, как в горячке, Павел. — Люблю давно, люблю, как безумный, и хочу, чтобы ты была моей женой: не

отдавалась бы только мне на миг, на день, на неделю. Не мимолетной любви прошу у тебя, а на всю жизнь, до самой смерти. Если ты можешь дать такую любовь и если принимаешь мою, скажи мне «да».

У Аглаи кружилась голова. Мысли путались. И вдруг она отклонилась и вырвала свою руку из горячих рук Павла.

— Я недостойна тебя, — сказала она.

— Ты? Ты? Прекрасная, чистая душой и телом, ты недостойна меня? — зашептал Павел, бросая слова одно за другим.

— Да. Я была вчера у Карпова... по записи.

Павел отступил от нее, горестно смотря на ее побледневшее лицо и словно не веря.

— Да, да. Я сказала правду. Иди, уходи. Оставь, пожалуйста, меня одну, любимый мой.

Она закончила шепотом.

— Позволь...

— Умоляю тебя, иди и оставь меня одну.

Павел покорно пошел прочь, волоча обессиленные ноги, и скоро исчез в дверях спуска.

Аглая стояла, стиснув руки и наклонив голову, и крупные слезы одна за другой сбегали по ее щекам, обжигая их и застывая на ее груди крупинками льда.

Зазвонил колокол. Огромная тень воздушника мелькнула справа, и раньше, чем он успел опуститься, Аглая бросилась с платформы, закрыв глаза, под его тяжелое блестящее тело.

Павел долго бродил по пустынным улицам. В третьем часу, переходя Морскую, он машинально взглянул на бюллетень. Красные буквы запрыгали у него в глазах.

В бюллетене стояло: «На воздушной станции № 3 гражданка № 4372221 бросилась под воздушник и поднята без признаков жизни. Причины неизвестны».

Анна Доганович

ОЖИВШАЯ ПЛОТЬ

(Фантасмагория)

В одной из столичных клиник умирал молодой художник. Его прекрасное одухотворенное лицо с высоким лбом, обрамленным черными коротко остриженными волосами, горело от возбуждения. Выразительные серые глаза с тоской устремились в окно, в которое ярко светило весеннее солнце.

Только что выслушавшие больного профессора тихо совещались между собой. Один из них был высокий и седой, другой — небольшой, тучный и с лысиной. Оба они любили талантливого художника и стремились помочь ему не только по одной профессиональной обязанности.

Будучи друзьями в жизни, профессора и в клинике работали вместе, никогда не разлучаясь. Они были настоящими фанатиками науки, посвятивши ей всю свою жизнь. Зато они обогатили медицину ценными открытиями и имена их заслуженно пользовались широкой известностью.

Больной перевел на них взор, в котором вместе с отчаянием светилась и трепетная надежда.

— Спасите меня! — как стон, вырвалась у него мольба. — Ведь я еще так мало сделал!.. А у меня столько планов, столько неоконченных работ!

Он говорил правду: вся его мастерская была уставлена начатыми полотнами. Пламенная фантазия художника создавала дивные образы, которые затем он воплощал красками в своих шедеврах. Несмотря на молодость, он обладал сильным обобщающим умом, почему и его картины были всегда полны серьезного значения, выражая глубокие мысли. Каждое его новое произведение приветствовалось критикой и привлекало к себе общее внимание. Иногда с художником не соглашались, оспаривали его, но все признавали за ним исключительную оригинальность и самобытность. Успех молодого художника создал подражателей. Его манеру письма уже нарицательно называли его именем. Слава его казалась обеспеченной. И вдруг рухнули все надежды на будущее, казавшееся таким светлым и заманчи-

вым. Художник тяжело заболел какой-то странной болезнью, не только не поддававшейся излечению, но даже и диагнозу. Профессора тщетно ломали головы и неизменно ошибались в своих определениях. Долго пролечившись дома, художник, наконец, лег в клинику.

Время шло, а болезнь не поддавалась лечению. Художник тосковал от невозможности воплощать мучившие его образы, которые как бы требовали себе плоти и крови... Сознание своего бессилия мучило его более, нежели сам недуг.

Вопль его истерзанной души сильно тронул и взволновал профессоров. На их лицах выразилось живейшее сострадание.

— Не волнуйтесь, успокойтесь! — мягко и ласково произнес седой старик. — У вас организм молодой, справится...

Он утешал пациента чисто с материнской нежностью.

— Ах, я так хочу жить! — воскликнул художник. — Я не сказал еще самого главного!..

— Мужайтесь, мой молодой друг, — ободряюще произнес лысый профессор, — верьте в могущество медицины... А мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы поднять вас!

Седой ученый вздохнул и прибавил в раздумье, отвечая на свою мысль: «Я вполне понимаю вас: очень обидно умереть, не дойдя до пристани!»

Collega сочувственно кивнул головой. В эту минуту оба они думали о своих недоконченных трудах. В тесной общности интересов товарищи так сжились между собой, что стали понимать друг друга даже с полуслова. Нередко они и думали об одном и том же.

— Как тяжело!.. — простонал больной...

Ему подали подушку с кислородом. Больной оживился, но ненадолго. Деятельность сердца быстро падала и вскоре он опять заметался по постели.

— Душит!.. Давит!.. — вскричал он, разрывая ворот сорочки.

С ним началась агония.

Опечаленные профессора ушли к себе в лабораторию, поручив его фельдшеру.

Агония была продолжительна. Вдруг художник широко открыл глаза, как бы испугавшись чего-то, губы его беззвучно пошевелились... Затем он откинулся на подушку, веки его сомкнулись, а грудь всколыхнулась от вздоха, последнего вздоха в жизни...

Когда профессоров снова позвали к пациенту, то у того уже были кончены все расчеты с жизнью.

— *Finis*, — тихо произнес седой ученый, не ощутив более пульса в похолодевшей руке.

Лысый ученый послушал сердце, еще недавно столь чуткое к красоте и так беззаветно любившее чистое искусство.

— Да, умер, — согласился профессор с товарищем.

Сострадание на лицах ученых уступило место деловому выражению. Они жалели больного человека, а теперь ведь перед ними находился лишь труп — простой клинический материал.

— Можно и за работу, — озабоченно произнес седой старик, — я пойду, все подготовлю.

Лысый ученый распорядился, чтобы сторожа перенесли мертвеца в лабораторию и сам всю дорогу суетился возле носилок.

II

Обнаженный труп положили на длинный стол вблизи большой динамоэлектрической машины.

Отпустив сторожей, лысый ученый запер за ними дверь.

Затем на голову мертвеца надели проволочный колпак, а вместо простыни покрыли тело металлической сеткой, после чего то и другое соединили с электрическими проводами. Пустив сначала слабый ток, ученые принялись наблюдать за его действием. Записывая данные опыта в особые книжки, профессора то увеличивали, то уменьшали силу тока. В то же время они вдвухали в нос трупа какие-то пары, клали в рот особые кристаллы, обтирали лицо жидкостью резкого аромата и вообще производили множество са-

мых разнообразных манипуляций. Оба работали молча, сосредоточенно и уверенно, с полным знанием своего дела. От времени до времени они подходили к другому столу и заглядывали в развернутые тетради, страницы которых были испещрены химическими формулами и какими-то сложными вычислениями. Ученые давно уже работали над вопросом оживления только что умерших людей и теоретически уже подошли к нему. Но им еще никак не удавалось его практическое разрешение.

Много лет подряд они тщательно бились над опытами, внося в теорию разные поправки, измышляя новые комбинации. Практика неумолимо создавала неожиданные затруднения... Друзья не унывали и неугомонно работали над перестройкой созданной теории, пока новое препятствие не опрокидывало и ее... Так шло время... Но упорство ученых не ослабевало. Давно уже в их руках бились и трепетали вырезанные и промытые сердца, положенные на дощечки... Давно уже поднимались и ходили трупы... Но это делалось последними автоматически, пока не иссякала сообщенная им электрическая энергия, наподобие завода у игрушек... Все это было только началом... Оно далеко не удовлетворяло ученых, которые заглядывали в сокровенное будущее. Залог успеха они видели в применении электричества в связи с другими элементами. Эти, известные лишь им сочетания, раздвигали горизонты возможностей до бесконечности.

Седые профессора мечтали иногда, как самые зеленые юноши. Они строили воздушные замки и в грезах полновластно уже царили в них. В этих случаях они испытывали неземное счастье. Лишенные домашнего очага, они вели жизнь аскетов. Ничего не добиваясь лично для себя, они неустанно трудились для пользы и счастья человечества. Оба товарища были редкие идеалисты в век торжества грубого материализма.

В этот раз ученые так увлеклись опытом, что совершенно забыли о времени, пище и отдыхе. Время летело для них, как на крыльях. Только по окутавшей их темноте они догадались о наступлении вечера. Отвернув электричество, они

снова забыли о времени. Когда вставшее солнце начало мешать электрическому свету, они поняли, что наступил другой день. Несмотря на усиленную и лихорадочную деятельность, профессора не чувствовали усталости. Только лица их сделались мертвенно-бледны да на лбу проступил пот от сильного напряжения. Зато выражение их не поддавалось описанию: от высокого внутреннего подъема они расцвели какой-то особенной духовной красотой, причем глаза горели чисто юношеским огнем.

Надежда, столько раз мерцавшая им лишь болотным огнем, вдруг посулила им действительный успех.

III

— Открывает глаза! — захлебывающимся шепотом сообщил лысый ученый товарищу.

Тот бросил реторту с какой-то смесью и подбежал взглянуть на труп. Вдруг заглушенный крик вырвался из его груди:

— Вздохнул!.. Вздохнул!..

Удалившийся было другой ученый в один прыжок очутился снова возле стола.

Слегка поднявшаяся рука мертвеца пошевелила металлический покров. Сердца профессоров усиленно забились в груди. Старики предупредительно сняли сетку и поставили ее к стене. Когда они вернулись к столу, то лежавший уже шевелил ногами, словно бы они у него затекли.

Светлая и могущественная радость поднялась со дна души ученых и разлилась по всему их существу... Еще бы: ведь это оживал не вчерашний мертвец, а в мертвую форму воплощались их собственные мысли, мечты и желания, владевшие ими много лет. Над осуществлением их проведено столько бессонных ночей, потрачено невероятное количество жизненной энергии!.. Вернее — отдана вся жизнь... И вот это новое существо, призываемое к жизни — награда им за все!.. В одну минуту забыты все жертвы и жизнь по-

казалась ученым восхитительной поэмой, полной глубокого смысла!.. Ключ к мировой тайне найден... Открыт философский камень, над которым тщетно бились алхимики!.. С этой минуты наука по произволу будет распоряжаться жизнью!.. И это их первое дитя сердца, рожденное ими в долголетних муках страдания, они — отцы его!

А новое существо, которому ученые еще не придумали имя, взмахнуло руками. Обступив стол, согнув слегка колени, профессора сложили руки как бы в молитвенном экстазе и впились жадными взорами в лицо «возрождавшейся материи».. Они видели и не верили еще своим глазам.

Вдруг из горла Нового Человека вырвался какой-то неопределенный и резкий звук... Существо разом поднялось и село на своем ложе. Потягиваясь, оно принялось страшно зевать.

Сон сбылся наяву! Воплотилась самая смелая мечта дерзкого ума... Отныне человек будет не только царем на земле, но и неограниченным владыкой жизни!

Профессора не могли вместить в себе охватившего их безумного восторга и вдруг запрыгали на месте, словно дети, испуская дикие крики радости. Затем они бросились в объятия друг другу, проливая слезы от счастья.

На минуту оба как бы лишились рассудка.

Новый же Человек не обращал на них ни малейшего внимания.

IV

Перестав зевать, оживший вдруг весь съежился и, задрожав от холода, обхватил себя руками.

Когда профессора пришли наконец в себя и поняли, что существо озябло, они принялись спешно одевать его. Существо не выказывало сопротивления. Очевидно, ему было приятно согреться в суконном костюме, приготовленном для него заранее. И лишь когда профессора несколько неумело застегивали ему подтяжки, то Новый Человек, сде-

лав гримасу, издал неопределенный звук недовольства.

— Мы вас не будем беспокоить долго, — ласково сказал лысый ученый, суетясь возле своего детища и натягивая на него теплый пиджак.

Предупредительность профессоров была так велика, что они не забыли даже положить в карман пиджака чистый носовой платок.

Профессора снарядили ожившего как куклу и не могли налюбоваться на него, до того он казался им милым и симпатичным. Они с восторгом заключили бы его в свои объятия, сгорая жаждой расцеловать его, но боялись потревожить, не зная, как это отзовется на нем, и восхищение только лилось из их глаз, которые сияли у обоих друзей, как звезды.

— Садитесь, пожалуйста! — необыкновенно любезно предложили они Новому Человеку.

Но он стоял, как истукан, с неподвижно устремленным перед собой, как бы ничего не видящим взором, и не слышал или не понимал речей своих отцов.

От прежней интеллигентности в его лице не осталось и следа. Физиономия его сделалась глупой и неприятной. Бесконечно милой она могла казаться только влюбленному взору товарищей-профессоров.

Странное дело: Новый Человек имел весь облик красавца-художника, умершего накануне. И в то же время все лицо его изменилось до полной неузнаваемости. Из него совершенно исчезли выражения мысли, одухотворенности, тонкой нежности и изящества. Их сменили тупость, как бы сомнамбулический автоматизм и животная грубость в выдавшейся вперед нижней челюсти.

— Должно быть — он глух, — тихо заметил седой.

— Или не понимает еще человеческой речи, как существо первобытное, — извиняющим тоном отозвался добряк лысый. — Как это поучительно видеть пред собой первобытного человека!.. Но он будет быстро прогрессировать в современных условиях!

Существо начало разевать рот, показывая, что у него там все пересохло.

— Он хочет пить! — догадался лысый и поспешил налить стакан воды.

Новый Человек выпил ее залпом.

Седой подвинул ему кресло, слегка толкнув им ожившего. Колени последнего подогнулись и он непроизвольно упал на сиденье.

Немного погодя существо страшно зачавкало челюстями.

Ученые всполошились.

— Он хочет есть! Как мы не догадались!

— Я побегу распорядиться! — крикнул на ходу лысый, исчезая за дверью.

Через несколько минут он уже вернулся со сторожем, который нес прибор и судок с кушаньем.

Все это было тотчас же размещено на небольшом столе, придвинутом к Новому Человеку.

Пристально приглядевшись к последнему, сторож произнес:

— Оживел-таки!.. вишь, какой стал!

Сторож покачал головой с видом соболезнования.

Профессора не стали посвящать его в свою тайну и отпустили его.

Вкусный пар пищи раздражил обоняние Нового Человека, который накинудся на нее, как голодный зверь. Он низко склонился над тарелкой и схватил котлету прямо зубами, по-собачьи, лишь придерживая ее руками.

Седой хотел обратить его внимание на вилку и нож, но тот зарычал на него, словно боясь, чтобы у него не отняли пищу. Затем он вылакал из тарелки суп и руками же стал набивать рот пшенной кашей. Он весь вымазался едой, имея самый отвратительный вид.

При всей своей благосклонности, профессора брезгливо отстранились от него.

— Он жрет, — сделал седой лаконическое определение.

— Да, ест как животное, — согласился с ним коллега.

Покончив с кушаньями, Новый Человек принялся отдельно за черный и белый хлеб, который он засовывал в рот огромными кусками и ел давясь, отчего на глазах даже

проступили слезы.

Пищи было принесено в изобилии; ее могло хватить на пятерых, но Новый Человек поглотил ее всю один. Уничтожив все, он громко икнул и тогда откинулся на спинку кресла. Желудок его заметно оттопырился, а дыхание стеснилось в груди. Он принялся зевать во весь рот.

— Ах, как мы оплошали, — воскликнул лысый ученый, — не поставили здесь кровати!

Но Новый Человек уже сполз с кресла и растянулся навзничь на полу.

Профессора поспешили отодвинуть от него стол с посудой и кресло, чтобы спящий не ушибся.

Вскоре лабораторию огласил храп, такой сильный, какого не раздавалось в ней еще никогда. Гортанные рулады с носовым присвистом напомнили собой музыку диких. Дыхание с шумом вырывалось из груди сквозь шлепавшие губы. Весь этот вихрь звуков словно летал и кружился под сводами, находя сочувственные отзвуки в тонких колбочках и другой стеклянной лабораторной посуде.

Профессора не могли воздержаться от улыбки.

— Ну и дрыхнет же он! — заметил лысый.

— Целый оркестр!.. — отозвался другой.

Обоих душил смех.

Чтобы не разбудить Нового Человека, они удалились в смежную комнату, из которой могли наблюдать за спавшим и ясно слышать необыкновенную какофонию.

V

Профессора успели привести себя в надлежащий порядок и даже пообедать, после чего храп в лаборатории вдруг прекратился.

Седой заглянул в дверь и увидел, что Новый Человек поднимался с пола.

Профессора вошли в лабораторию.

Существо зевало и потягивалось. Затем оно принялось ходить по комнате, неловко за все задевая.

Ученые забегали вперед, отстраняя все с его пути.

— Надо выпустить его для прогулки в коридор, — сказал седой и отворил дверь, куда Новый Человек и вышел.

Но ученые не рассчитали, что их «живая машина» двинется именно в прямом направлении, к выходу из клиники.

— Вы не туда пошли! — закричали они со страхом, бросаясь вдогонку и желая остановить его у двери, которую загородил собою также и швейцар.

Но существо вдруг выразило самое решительное сопротивление: вытянув вперед голову, оно оскалило зубы и защелкало челюстями с озлобленным рычанием. Короткие черные волосы, как шерсть, ошетинились на голове.

Лицо приняло характерное звериное выражение.

— Он нас перекусает! — в ужасе воскликнул лысый.

— Сбесился, должно быть! — поддержал швейцар.

И все невольно отпрянули в стороны.

Новый Человек беспрепятственно вышел на улицу и автоматически зашагал по тротуару, толкая прохожих.

Все сторонились от него, как от безумного.

Когда к профессорам вернулось самообладание, то они сказали:

— Неужели он уйдет от наших наблюдений? Вдруг мы совсем лишимся его!

— Скатертью дорога этому идолу! — вставил швейцар.

Но ученые не разделяли его мнения. Они решили устроить за ним погоню, прихватив с собой и швейцара. Последнему это очень не понравилось. Но делать было нечего... Он неохотно последовал за профессорами.

Новый Человек был уже далеко. Он шел крупной, равномерной походкой, размахивая руками и не оглядываясь по сторонам.

Казалось, что солнце вызвало эту «живую машину» на уличный простор и, своей теплотой, привело ее в действие. Эта живая плоть как нельзя более напоминала собой известную статую Родена — стремительно идущего человека без головы и без рук. У существа была голова лишь номиналь-

но, а руки соответствовали щупальцам. Но там и тут осуществлялась одна общая идея — стихийного поступательного движения плоти.

Без пальто и тапок профессора и швейцар гнались за беглецом, стараясь не терять его из вида.

Навстречу существу шел здоровенный мужик со своей молодой женой. Зазевавшись, женщина нечаянно столкнулась лицом к лицу с существом, которое тотчас же заключило ее в объятия. Почувствовав в руках трепетавшее живое тело, Новый Человек запечатлел поцелуй на щеке бабы. Все это произошло в одно мгновение.

Баба с криком стала вырываться от него:

— Аль ошалел! Пусти, сатана!

Но руки сдавили ее еще крепче, как железные клещи.

Одной женщине было бы не справиться с этим чудовищем, — но ее выручил муж. Он ударил кулаком в бок Нового Человека с такой силой, что тот не устоял на ногах. Отлетев в сторону, он ударился головой о карниз дома и упал.

Освободившаяся женщина продолжала путь с мужем, озираясь на лежавшего и награждая его бранью:

— У, чудище! Испугал до смерти!

Этот случай очень сократил расстояние между беглецом и его погоней. Приблизившиеся профессора и сторож общими усилиями помогли ему подняться.

Очнувшись, Новый Человек издал короткий вой и принялся растирать себе бок.

Ученые с ласковой настойчивостью убеждали его вернуться в клинику.

Но когда боль у того прошла, он обнаружил намерение продолжать свой путь.

На лицах профессоров выразилось отчаяние. Добровольно они не хотели выпустить из рук своей жертвы, которая была в то же время и их деспотом. О, они предъявят на него свои права, наконец, силой возьмут его себе!

И, уцепившись за его руки, они решительно преградили ему дорогу.

Но в нем опять ясно пробудился зверь. Он заскрежетал зубами и двинул плечами.

Его противники решились не уступать в борьбе.

Издав яростное рычание, оживший с такой силой взмахнул руками, что преследователи, как мухи, разлетелись в разные стороны. Преодолев препятствие, существо пустилось в дальнейшее путешествие, как ни в чем не бывало.

По счастью, седой ученый со сторожем отделались одним испугом: сторож упал на узел мягкой рухляди, который женщина только что сняла с извозчика; седой профессор упал на сторожа. Зато лысый ученый чувствительно пострадал, стукнувшись головой о фонарный столб. Он лишился сознания, а из раны на лбу его проступила кровь.

Поднявшись на ноги, седой профессор со сторожем устремились на помощь к лысому ученому, привели его в чувство и наложили из платка повязку на голову. После этого седой усадил на извозчика своего colleg'у и отправил его домой со сторожем, которому велел немедленно призвать к раненому знакомого хирурга.

Сам же седой ученый, стгорая от нетерпения, опять пустился в погоню за Новым Человеком.

— Убьет вас этот оборотень! — предупреждаяще крикнул ему вослед сторож.

Но ученый не мог оставить на произвол судьбы детища своего сердца. Старик бежал, словно кем-то подгоняемый... Лицо его покрылось каплями пота. Он задыхался и готов был упасть от изнеможения, когда вдруг увидел невдалеке знакомую фигуру без шапки. Это придало силы ученому. Он видел, как Новый Человек дошел до перекрестка, где пролегал трамвайный путь, и стал пересекать улицу. Мчавшийся сбоку электрический вагон стал подавать тревожные звонки в предупреждение странного пешехода.

Видевший опасность ученый летел как на крыльях, махая кондуктору рукой и криком стараясь остановить вагон. Не обращая на последний внимания, Новый Человек перед самым приближением вагона, вступил на рельсовый путь. Кондуктор в ту же секунду повернул ручку тормоза. Но было уже поздно. Катастрофа совершилась: чугунное чу-

довище налетело на Нового Человека. Раздался оглушительный рев и ожившая было плоть перестала существовать. Добежавший до места катастрофы седой ученый без чувств упал возле трупа Нового Человека.

VI

На другой день оба профессора в урочное время явились в клиническую лабораторию. От пережитых мук и волнений их нельзя было узнать. Взоры их погасли, движения сделались вялыми, спины согнулись и оба словно постарели разом на десять лет.

Они молча и холодно пожали друг другу руки и опустились в кресла, тяжело дыша от какой-то нравственной усталости. Они устали друг на друга угрюмые взоры. Брови их были сурово сдвинуты, образовав на лбу глубокие морщины. Мрачные думы шевелились в умах товарищей. В них шла своего рода переоценка ценностей... Словно происходило какое-то глухое брожение в самых сокровенных недрах души, подготавливавших роковое извержение... И оно произошло самым неожиданным образом. Движимые одной и той же мыслью, профессора вдруг, как от электрического удара, сорвались со своих мест; словно по уговору они бросились к столам, трясущимися от волнения руками вытаскивали из ящичков заветные тетради, испещренные химическими формулами и таинственными вычислениями и — разорвали их в клочки...

Совершив эту казнь над своей мыслью, они, потирая руки с чувством удовлетворения, обменялись взглядами, в которых выразилось сознание исполненного долга.

Николай Морозов

ЭРЫ ЖИЗНИ

(Полуфантазия)

Это было в одну из мрачных январских ночей 1864 г., когда Петропавловская крепость была переполнена политическими узниками. Сильная выюга бушевала над окованной снежным покровом равниной и наносила порывистым ветром целые сугробы снега на серые угрюмые бастионы и на почти спрятавшийся под их покровом островок Алексеевского рavelина, эту таинственную могилу, где бесследно исчезали жертвы политических гонений и абсолютизма.

В одной из небольших одиночных комнат низенького треугольного здания внутри этого островка тускло горела лампочка на деревянном столике и освещала своим желтоватым светом серые стены, покрытые внизу белыми узорами плесени, простую черную кровать и темный профиль заключенного, все лицо которого было в тени.

Он встал с трудом с постели и, шатаясь на опухших от цинги ногах, как бы проволочился несколько раз по комнате, прислушиваясь к вою ветра за деревянной рамой окна и к шуршанию снега, бьющегося порывами в матовые стекла рамы, на которые падал снаружи слабый мерцающий свет отдаленного фонаря и отражалась клетчатая тень железной наружной решетки. Страшная колючая боль в ногах, уже несколько месяцев сопровождавшая каждое его движение, заставила его сейчас же в изнеможении сесть на место. Но вдруг он снова поднялся, как бы под влиянием электрического тока, и выражение энергии отразилось на его исхудалом лице.

— Нет, назло врагам, я не умру, я не должен умереть, — лихорадочно шептал он самому себе. — Во что бы то ни стало я должен жить и для этого должен ходить, потому что в моем теперешнем положении отсутствие движения — смерть. Я уже стою одной ногой в могиле, но силой воли я заставлю свое тело победить всякую болезнь. Я буду еще жить, и все, что я теперь знаю, еще увидит свет, и знание истины сделает людей счастливее.

Он снова встал с постели и снова, шатаясь, начал ходить взад и вперед, несмотря на то, что в его глазах темнело после каждого нового перехода через комнату, и он должен

был постоянно хвататься от слабости то за край стола, то за стены комнаты; он ходил и ходил, хотя после нескольких минут движения все-таки почти без чувств, в страшных мучениях валился на свою постель.

Что же заставляло его так страстно стремиться к жизни в этом унылом месте неволи, в этом заброшенном и безнадёжном положении? Что такое он знал?

Он знал очень многое, чего не знало большинство его современников; он знал, что свет науки и сила истинного знания медленно, но верно разгоняет уродливые фантомы и дикие призраки невежества и суеверия, еще наполняющие головы людей и заслоняющие от их глаз весь чудный бесконечный мир. Он знал, что порыв могучей жизни низвергнет насилие и произвол и на месте этого жилища неволи будет некогда воздвигнута статуя свободы. Но не это волновало его теперь. Другое, особенное знание было у него. Чудно и странно было это знание, не то первое откровение грядущей истины, не то первые симптомы начинающегося сумасшествия. Оно только что в эту ночь пришло к нему, в его напряженный и экзальтированный мозг, когда выюга бушевала вокруг его жилища и порывы ветра наносили сугробы снега на его одинокое окошко.

В эту ночь он долго думал о загадках вечности и мировой жизни. Он думал об отдаленном будущем земного шара, когда человечество, пройдя длинную цепь веков, достигнет своего полного и пышного развития, достигнет абсолютного познания истины и, наконец, подчиняясь неумолимому закону охлаждения земного шара, принуждено будет постепенно исчезнуть сначала в полярных областях земли, затем в умеренных, а после всего и в экваториальных странах.

Ярко рисовалась в его уме торжественно-молчаливая картина будущего всеобщего обледенения, где солнечные лучи отражаются лишь от бесконечных снеговых полей и нагроможденных ледяных глыб, под холодным покровом которых лежит бесконечное кладбище миллионов поколений, и грустное чувство волновало его грудь. Что же будет дальше? Неужели здесь конец всему, конец всякой созна-

тельной жизни на Земле и даже во всей Вселенной? И вдруг неожиданная идея блеснула в его уме и сразу изменила общий вид этого мертвого оцепенелого ландшафта. Он был когда-то страстным любителем физики и астрономии и посвящал изучению вечных законов природы все время, остававшееся у него свободным от политической борьбы, и он вспомнил теперь об одном виденном им когда-то опыте над углекислотой, где эта последняя под влиянием давления и охлаждения в замкнутых сосудах превращалась перед его глазами в жидкость, совершенно подобную воде.

— Нет, этот вечно оцепенелый покой будущей природы существует лишь в воображении современных поколений, — сказал он сам себе. — Царство льда и смерти будет непродолжительно. Всего лишь семьдесят восемь градусов холода, и невидимые, но громадные массы углекислоты, наполняющие земную атмосферу и завывающие в этом ветре и метели, увеличенные всеми новыми процессами горения, вулканической деятельности и полузамещения угольного ангидрида водой в известняках после их подземного прокаливания — все начнут обращаться в жидкость, и новый океан из углекислоты, образовавшийся сначала на обоих полюсах Земли в виде двух отдельных изолированных морей, мало-помалу будет надвигаться к экваториальному поясу нашей планеты, пока оба новые моря не сольются воедино вокруг будущих ледяных континентов.

И он ясно видел бушующие волны этого океана, слышал шум их грозного прибоя о ледяные утесы и скалы нового мира. Яркое светило солнце на безоблачном небе, и его холодные для нашего тела лучи были страшно жгучи для будущей обледенелой природы. Миллионы невидимых частиц поднимались под их влиянием с поверхности новых морей в прилегающие слои атмосферы и быстро уносились вверх порывами свежего ветра. Вот они достигли более холодного течения воздуха, и облачко углекислоты стуслилось на темно-голубом небе. Быстро появлялись все новые и новые облака; они собрались в свинцово-серую грозовую тучу; вот грянул первый удар грома, блеснула молния, и потоки крупного дождя из жидкой углекислоты полились на снеж-

но-ледяную почву. Шумно зажурчали ручьи и потоки по давно прорытым оврагам, сбежали прыгающими каскадами между ледяных скал и влились в реки, моря и озера, нанося на их дно целые слои отмытых ледяных кристалликов и крупинок, перемешанных с частицами песка и глины. Быстро пронеслась гроза, и яркая радуга заблестела на последней завесе удаляющегося дождя углекислоты.

И все в этом новом мире было так же, как и в нашем. Так же клубились облака на небе, так же журчали весенние воды, так же медленно наслаивались на дне морей, озер и океанов наносные пласты ила. Кое-где по берегам ледяных континентов эта *новая вода* глубоко проникала под поверхность напластований измельченного льда, песка и глины, измолотых геологической деятельностью земной коры, и те таинственные химические процессы, что производят в наше время выделение подземной теплоты и вулканическую деятельность, имели и там свое место. Быстро возвышалась температура глубоко лежащих слоев, сильно напрягались образовавшиеся внутри земли пары воды и углекислоты, грозно гудел первый удар землетрясения, и новый кратер изливал из своего жерла целые потоки расплавленного льда, перемешанного с продуктами подземной химической работы нового мира.

Да, все было то же в новом мире, и не было лишь в нем той одной одухотворяющей природу органической жизни, которую создает для современной теллурической эры — эры водного океана — физиологический обмен вещества в углеродистых соединениях, составляющих основу современных животных и растительных тел. Там были лишь одни остатки живых существ, повсюду оцепеневшие в этих снежно-ледяных полях. Да и эти остатки уже давно потеряли свой первоначальный вид, разложившись на различные сорта отверделой нефти, измолотой в порошок вековыми процессами движения все покрывающих ледников. Лишь местами, где вулканическая деятельность и передвижение земных пластов были сильнее, из них успели вытопиться значительные массы жирных углеводородов и снова застыли в окружающей природе, подобно нашим современ-

ным металлическим жилам и самородкам, такие же ковкие и мягкие, если их нагреть до температуры, близкой к их плавлению, и такие же твердые, звонкие и прочные при охлаждении до леденящей температуры окружающей среды.

«И если бы были в этом мире разумные существа, — думал одинокий заключенный, — они стали бы разрабатывать эти жилы для того, чтобы приготовить из них свою домашнюю утварь, как мы пользуемся нашими металлами, этим наследием от давно прошедших эпох развития земного шара...»

Тускло светила лампочка в одинокой комнате, порывисто бушевал ветер за окном и, забыв невыносимую боль, задумчиво сидел узник на своей кровати, смотря далеко в воображаемое пространство, чуждый всего окружающего. Странное, торжественное чувство покоя наполнило его душу при этом мысленном созерцании будущих эпох, и тихо звучали в его ушах отдаленные отголоски вечной жизни природы.

Но вот его мысль полетела в новом направлении. Она унеслась теперь к прошлой жизни земного шара, когда палящий жар первобытного солнца еще не давал сгуститься большинству веществ, образующих наши современные континенты.

«Вычисления астрономов об устойчивости вращения земного шара, — размышлял он, севши на свой деревянный табурет, — доказали неосновательность всех прежних представлений об огненно-жидком ядре Земли. Отложение жидкого, а затем и твердого ядра, несомненно, происходило в первобытной газообразной массе зарождавшейся Земли путем постепенного наслоения концентрических слоев, начиная от самых тяжелых и тугоплавких, может быть, неизвестных на земной поверхности элементов, которые сгущались ранее других и ложились в самом центре, — и кончая наиболее легкоплавкими наслоениями новейших слоистых пород. Я мало верю, — продолжал он думать, — в фантастические картины бурного хаоса элементов, которые рисуют современные геологи: зачем предполагать, что охлажде-

ние и сгущение основных масс земного шара происходило по образцу остывания металлов в наших доменных печах, где непосредственное соприкосновение холодных слоев воздуха с расплавленным металлом неизбежно должно производить ряд бурных и хаотических явлений? Как можно вообразить, что все главные вещества земного шара, такие различные по степени плавкости, застыли в одно и то же время? При медленном и незаметном остывании ничего подобного не могло быть. Все на Земле происходило так же спокойно и постепенно, как это происходит на ней и теперь...»

И новая картина начала вырисовываться в его воображении.

«Если бы мы могли, — подумал он, — перенестись на много, много миллионов лет в прошлое нашей родной планеты, мы увидали бы, что жар, которым обладала тогда ее поверхность, удерживал в расплавленном состоянии все те громадные массы песка, что покрывают толстыми пластами почти всю земную поверхность, и этот кварцевый океан, расстилавшийся некогда над остывшими задолго до него слоями глины и карбидов, был не менее громаден, чем и современный».

И снова он ясно видел, как бушевали волны в этом океане под влиянием жгучего жара первобытного Солнца, как собирались в атмосфере кварцевые облака и падали на землю своеобразным дождем и снегом. Да и сама атмосфера, казалось ему, уже была иного состава, так как современный кислород и азот не могли держаться в ней по причине больших кинетических скоростей своих молекул.

И этот новый мир казался ему так же похожим на современный, как и будущий мир с океаном из углекислоты. Его жгучий жар был невыносим только для наших нервов, его огненно-светящийся вид был ослепителен только для наших глаз, приспособленных к восприятию лишь соответствующего ряда колебаний световых волн.

— Ну, а дальше, дальше в прошлом! — шептал он в непреодолимом увлечении своей идеей. — Ведь дальше, перед этой эпохой кварцевого океана, должна была начаться и

давно окончиться еще другая эра — эра плавления хотя бы глины, представлявшей некогда при соответственной степени жара тоже прозрачную, водообразную жидкость, которая, судя по громадности современных залежей глинистых пород, должна была образовать океан, не менее обширный, чем и предыдущие. И кто знает, сколько таких эр откроется перед нашими глазами, если проникнуть в таинственную глубину земного шара и присмотреться к его внутренним, еще неведомым для нас напластованиям?

Будь во всех этих эрах теллурической жизни свои живые существа, их огненно-светящиеся глаза были бы приспособлены к более мелким колебаниям эфира, чем колебания нашего света, и они видели бы свой мир таким же обычным и не светлым, как видим мы окружающую нас природу. Ведь и она будет так же жгуча и ослепительна для существ грядущей углекислой эры, глаза которых были бы приспособлены к более крупным и холодным колебаниям.

Ведь с точки зрения физика нет ни одного вещества в природе, молекулы которого не производили бы волнообразных колебаний и, следовательно, не светили бы своим собственным светом. То, что абсолютная темнота для наших глаз есть ослепительный свет для глаз другого устройства и, наоборот, наш свет есть темнота для чуждых нам глаз, — и снова бесконечная цепь последовательных океанов, континентов и ландшафтов, во всем аналогичных один другому и так же оживленных всеми физическими феноменами нашей водной эры, потянулась перед его глазами и наполнила собой все время существования земного шара с того момента, как в его первичной газовой оболочке отложилось первоначальное небольшое ядро.

«А в будущем сколько таких эр предстоит еще нашей Земле? — думалось ему в его увлечении. — Какими инструментами могли бы мы уловить те эфирные и тонкие вещества, подобные материи солнечной короны, которые, может быть, еще только поглощаются земной атмосферой из мирового пространства подобно тому, как могли быть поглощены оттуда же и все остальные массы земного шара, ее первоначально незначительной атмосферой, оторвавшей-

ся от первобытной туманной массы Солнца».

Он снова встал с постели, проволочся на распухших ногах через всю комнату и, взволнованный и возбужденный, приложил ладонь к холодной каменной стене своей комнаты.

— И эти твердые камни, — тихо прошептал он, — когда-то бушевали могучими волнами и грозно били в давно минувшие берега. И неужели из всей этой бесконечной цепи океанов лишь один наш водный океан населен живыми существами? Неужели только азотисто-углеводородные соединения, всецело приспособленные лишь к современной эре земной жизни, одни способны к построению живого, чувствующего и разумного существа, когда та же единая и вечная материя, прибавив или убавив в каждой их частице несколько атомов, может образовать другие вещества, совершенно аналогичные им и способные к той же функции создания жизни и физиологического обмена, но при других температурах и стихиях? Разве химия не показывает нам многочисленных примеров замещения в сложных веществах одних ингредиентов и радикалов другими, аналогичными, причем все химические реакции тоже принимают аналогичный вид, но совершаются уже при других температурах и окружающих средах? И неужели нет нигде на Земле остатков прежней жизни, подобных тем, какими будут различные вещества, составлявшие наших животных и растения, в будущую углекислую эру? Ведь наши собственные остатки, превратившиеся в различные отвердевшие сорта нефти, будут лежать в земле, как металлические жилы, и новые разумные существа будут ковать и отливать из них различные принадлежности для своей домашней утвари...

И вдруг его глаза широко раскрылись. «Ведь эти самые металлы и могут быть остатками прежней жизни?» — мысленно воскликнул он. Его взгляд упал на железный болт, проходивший через всю толщу двери и поддерживавший с наружной стороны громоздкую задвижку, на которую она заперлась.

— Вот он, остаток прежней жизни! — повторил он, пораженный неожиданностью своего вывода. И чувство восторга от этого наглядного и неопровержимого для его ищущего

щего и неудовлетворенного ума доказательства вечности, бьющейся в нем сознательной жизни вдруг до краев переполнило его душу, в которой стремление видеть близ себя мыслящее и сочувствующее существо так долго не находило себе исхода. И масса аналогий между современными рудными металлами и нефтеобразными остатками наших животных и растений, какими они будут в эру углекислого океана, целой толпой ворвалась в его голову.

«И те, как эти, находятся в незначительном количестве сравнительно с веществами, образовавшими первобытные океаны, а затем геологические напластования; и те, и эти распадаются по составу на гомологические ряды по отдельным группам и периодическим системам и, следовательно, все представляют собой сложные тела. И те, как современные металлы и металлоиды, будут считаться за простые элементы, пока будущие химики углекислой эры не достигнут при своих опытах современных, почти недостижимых для них температур. И те, как эти, выплавляются в виде жил и самородков из временно растопленных, а затем снова остывших окружающих масс, и наконец — о, восторг и окончательное доказательство, — думал он в порыве своего увлечения, — в некоторых из окружающих нас металлов, например в железе, сохранился *магнетизм*, эта таинственная сила, аналогичная животному электричеству нашего собственного тела! Ведь этот магнетизм — только последний след того жизнеспособного строения частиц железа, которое делало его когда-то способным для построения живущих и мыслящих существ!»

Быстро врывались в его взволнованный мозг все новые и новые аналогии, и вся его душа стремилась в этот чуждый и далекий, но все-таки родной и близкий ему мир. Он ясно видел океан расплавленного кварца, бьющийся в берега из карбидов алюминия, видел на них огненно-светящиеся фигуры и одежды живых существ, которые почему-то представлялись ему в человеческой форме, и ясно понимал, что этот огненный их вид существует лишь для его собственного зрения, между тем как для их раскаленных глаз, видящих другими лучами спектра, они представляются та-

кими же обыкновенными существами, как и мы сами. И он сам тотчас же мысленно приспособился к этим лучам, доступным для их зрения, и к этим привычным для них температурам, — и какой обычной показалась ему тогда эта окружающая его картина!

Ему показалось, что осеннее солнце только что взошло над горизонтом. Ясное утро длинной полосой искристого света отражалось в голубых волнах кварцевого моря. Длинные тени вековых деревьев из первобытных химических соединений полосой тянулись по сырой от кварцевой росы равнине и пересекали извилистую речку, уже местами покрывшуюся кварцевым льдом. Две молодые и стройные фигуры шли по берегу, взявши друг друга за руки.

— Как холодно! — сказала девушка, пряча свою свободную руку под край плаща, сотканного из карбидных соединений, и он ясно понял, что им действительно должно быть холодно, когда в этой кварцевой речке замерзает их родная стихия, жидкость, составляющая их кровь.

«Да, — сказал он сам себе, снова севши и облокотившись рукой на подушку, — одна и та же единая жизнь одухотворяет и нас, и эти так различные с нами существа. И их, и нас составляет одна и та же единая материя; и их, и нас создали одни и те же биологические законы взаимного сродства и обмена веществ. Пусть фибры и клеточки их сердец образованы неведомыми пока аналогами наших белковых веществ, но эти сердца так же бьются и чувствуют, как и наши. Пусть их кровь из расплавленного кварца, но она так же течет по их жилам, их мускулы так же сокращаются, их нервы так же передают ощущение, их мозг так же работает и мыслит, хотя бы ткани его узлов и клеточек и были составлены из других веществ, отвердевающих при современных температурах земной поверхности». И он почувствовал в этих отдаленных существах своих друзей и братьев, почувствовал единство своей жизни с вечной жизнью природы во всех ее разнообразных проявлениях.

Он встал с постели и подошел к железному болту своего окна. Мерцающее пламя фонаря внезапно вспыхнуло и заметалось на пустынном дворе под напором нового порыва

бури; ярче и рельефнее, как в ясные лунные ночи, вырисовалась перед ним на матовых стеклах клетчатая тень железной решетки.

И вся та сила любви, которая таилась в его груди, вдруг излилась на этот неодушевленный предмет.

— Привет вам, остатки прошлой жизни! — сказал он с умилением и, наклонившись к затворам своего окна, благоговейно приник к ним своими губами.

Ощущение железа, холодное и жесткое, как взгляд тюремщика, одно отвечало на его восторженный порыв. Он тихо согрел его своей рукой и снова опустил на свою постель. Лунный свет на минуту пробился сквозь разорвавшиеся тучи и осветил зеленоватым светом его окно, пересилив свет отдаленного фонаря и переместивши клетчатую тень его внешней решетки на другое место. Несколько минут заключенный рассматривал этот свет и вдруг вспомнил о солнце и звездах, где составляющие их элементы находятся в таком же состоянии, в каком они были на Земле в предшествовавшие эры ее жизни. Он вспомнил о металлических испарениях, которые спектральный анализ открывает в их атмосферах, вспомнил о каналах на Марсе и его очень низкой температуре, заставляющей многих думать, что его моря состоят из жидкой углекислоты, — и вся картина современного мироздания вдруг предстала перед ним в совершенно неожиданном свете!

— Ведь эти жители на Марсе, прорывшие каналы, — тихо воскликнул он, — должны быть жителями углекислой эры, все эти темные линии светового спектра звезд — это, так сказать, тени живых существ, повсюду населяющих небесные светила! Пары металлов в звездных атмосферах — это невидимые эманации обитающих там живых существ, подобные тем следам газообразных углеводородов, которые присутствуют и в нашей собственной атмосфере. Нет более сомнений! Сознательная жизнь наполняет всю вселенную, она мерцает и горит в каждой светящейся звездочке, и в тот момент, когда мы смотрим на ночное небо, миллионы мыслящих существ встречаются с нами на каждой звезде свои-

ми взорами и из бесконечной дали мироздания посылают нам свой братский сочувственный привет!..

В волнении он протасился на своих больных и распухших ногах несколько раз по камере и снова вспомнил о своей родной планете, Земле, и о ее *эрах жизни*. Снова длинной вереницей потянулись в его воображении периодические океаны невообразимо длинной жизни земного шара с их берегами и континентами, с реками, ручьями и водопадами из различных химических соединений. Но они уже не были более для него торжественно суровы и неодушевленны.

Вечная жизнь, многообразная в своих формах, но единая по существу и по характеру физиологического обмена веществ, наполняла и вдохновляла каждую из этих эр миллионными движущихся существ. И каждая эра была похожа на все другие эры, как один день земного шара похож на другой. И пробуждение земного шара к каждой эре жизни было похоже на пробуждение человека после покойного ночного сна. Сначала смутно проявлялась эта жизнь в первой зарождающейся из соответствующих веществ протоплазме и быстро стремилась по вечным законам своего развития все к большему и большему совершенству, пока не вырабатывала вполне сознательного существа. А вслед за тем она опять переливалась, после временного *ледяного* тихого сна и успокоения земного шара, в новую эру жизни.

— Что за чудная, светлая истина открылась мне сегодня! — шептал с восторгом заключенный, и жгучее чувство нетерпения скорее поведать ее всему миру переполняло его грудь.

А на столе перед ним по-прежнему тускло горела лампочка, и мрак стоял по углам одинокой пустынной комнаты. И снова упорно боролся он с наступающей смертью, и сила его энтузиазма не давала смерти вонзить в него свои когти. А за окном на дворе по-прежнему бушевала вьюга, и порывы ночного холодного ветра заметали сугробами снега его одинокое здание и мрачные, обмерзлые бастионы Петропавловской крепости.

Николай Морозов

В МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Что это было? Сон или действительность? Где я был? На свободе или в заключении? Этого я не мог определить.

Но только все происходящее казалось мне так живо, так ярко, что в его действительности, по-видимому, трудно было сомневаться. Однако оно было так странно, так необычно, что совсем не походило на проявления реальной земной жизни.

Вот почему во время нашего удивительного путешествия мне часто приходило в голову: не сплю ли я? Ведь сны в долголетнем одиночном заключении заменяют собой действительность и потому бывают так поразительно яркие. Я вспоминал, как, очнувшись от такого сна к нашему тусклому прозябанию, я не раз спрашивал себя:

— Чем могу я отличить то, что вижу теперь, от того, что было сейчас перед этим? Может быть, все это наше бесконечное заключение только один мой тяжелый сон?

Я так, привык к мысли, что все яркое в моей жизни сны или грезы, что каждый раз, когда со мной случалось что-нибудь выходящее из рамок казенного распределения наших дней, похожих друг на друга, как листы ничем не исписанной тетради. Сомнения в действительности происходящего сейчас же зарождались у меня в голове.

Так было и в этом случае, хотя за реальность нашего путешествия было слишком много данных. Все мои друзья по многолетнему и, казалось, уже минувшему заключению были здесь со мной, в каюте летучего корабля, высоко, высоко над поверхностью земли.

Две изящные головки, одна темно-русая и другая светлорусая (и это были, несомненно, Вера Ф. и Людмила В.), смотрели из окна каюты на удаляющуюся, как бы падающую вниз Землю, поверхность которой направо — к западу — была кое-где покрыта редкими кучевыми облаками, а налево — к востоку — вся заслонена снежно-белым покровом сплошных туч, ярко озаренных косыми лучами солнца.

— Прощай, Земля! — сказала Людмила, а Вера не сказала ничего и лишь молча смотрела вниз. Из остальных товарищей здесь были на этот раз только Поливанов и Яно-

вич. Другие остались там, внизу, и где они были — я уже не мог теперь рассмотреть на этой высоте.

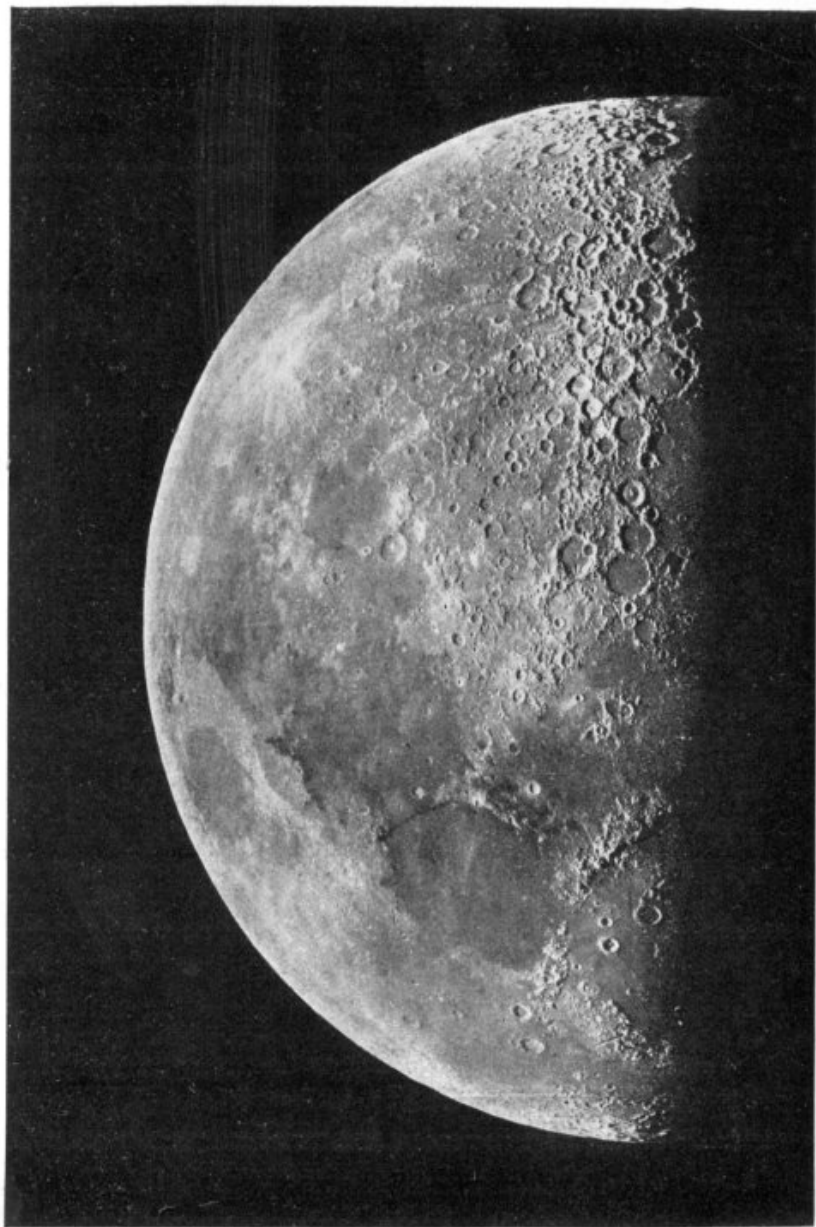
С невообразимой скоростью мы взлетали все выше и выше, под влиянием могучих цилиндров нашего летучего корабля, прогонявших сквозь себя мировой эфир и заставлявших этим, как движением турбин, мчаться наш корабль вдаль от земли ускорительным способом...

Через несколько часов мы уже вышли за пределы доступного для наших чувств земного притяжения и для нас более не было ни верха, ни низа. Мы почти совсем потеряли свою тяжесть и могли теперь плавать в воздухе своей кают-компаний, как рыбы плавают в воде. Стоило нам сделать несколько движений руками, и мы переплывали на другую сторону каюты.

Сильное движение воздуха, взволнованного нашими попытками перебраться с одного места на другое (так как иного способа передвижения уже не оставалось после потери нами тяжести), медленно относило в угол Поливанова. Но он все-таки старался на лету срисовать всю эту странную сцену вместе с перспективой бледно-зеленоватого серпа далеко умчавшейся Земли, сиявшей на фоне созвездий Ориона и Близнецов и чудно блестевшей в одном из больших и прочных хрустальных окон, несмотря на яркий солнечный свет, врывавшийся косыми полосами в противоположное окно корабля.

Свет этот не мешал созвездиям повсюду гореть вокруг нас, потому что он не отражался более в голубоватой дымке земной атмосферы. Небо было черно, как в глубокую ночь, и все горело миллионами своих вечных огней. Янович отбросил свои отметки в корабельном лагбухе, листы которого никак не ложились один на другой, а становились торчком, каждый лист отдельно от остальных, так как ничто уже не пригибало их к столу. Молча плывя в воздухе, он смотрел со своей доброй и ласковой улыбкой на всю эту яркую, странную и удивительную картину.

По временам он с тревогой вглядывался вперед, но сейчас же успокаивался. Все области так называемых метеоритных дождей лежали далеко от нашего пути...



Фотографія Луны въ ея первую четверть.
Видъ въ телескопъ (т. е. низомъ вверхъ) 1894 г. февраля 13.

— Опасности быть не может! — говорил Янович. — Ведь мы нарочно выбрали такое время года, когда Земля пролетает чрез пространства, совсем почти свободные от метеоритов. Столкнуться с ними несравненно менее вероятно, чем, например, потерпеть крушение на железной дороге.

Я отплыл по воздуху от своего наблюдательного пункта и невольно любовался на окружающий меня воздушный аквариум, где плавали мы все.

Вот Вера взяла плывший мимо нее стакан воды, чтобы напиться, но неосторожным движением руки нечаянно отдернула его от наполнявшей его жидкости. Оставшись в воздухе, вода сейчас же приняла шарообразную форму и поплыла среди нас подобно мыльному пузырю.

— Идите пить воду! Кто первый поймает ее ртом? — звала нас Людмила.

Все зашумели и, махая руками, как веслами, поплыли в воздухе, стараясь перегнать друг друга.

Движение взволнованной среды относило водяной шар в сторону. Мы все смеялись над уморительными положениями, которые приходилось принимать каждому из нас при этой ловле. Мы отчаянно барахтались руками, стараясь сильнее загребать воздух, но это плохо помогало. И нас, и водяной шар относил то к потолку, то к окнам. Мы делали руками сильный толчок в ту сторону, до которой могли достать, и проплывали в воздухе по инерции через всю каюту, пока не стукались в противоположную сторону. Наконец, Людмила схватила лист картона и, пользуясь им, удачно подогнала к себе воду и уже совсем поймала ее ртом, но тут же от неосторожного толчка вода разделилась на несколько маленьких шариков, тихо поплывших в разные стороны...

А время все шло. Корабль наш быстро приближался к поверхности Луны. С каждой минутой сильнее разрастался ее бледный диск, наполовину освещенный солнцем и наполовину погруженный в глубокую ночь. Скоро пришлось нам дать задний ход машинам, чтобы противодействовать постепенно увеличивавшейся силе нашего тяготения к луне. Мы уже не летали более в воздухе каюты, но медленно

падали на ее бывший потолок, теперешний пол нашего помещения. Пришлось перевернуть весь корабль кормой к луне.

Несмотря на свои обычные сведения по космографии, вынесенные из гимназии, Людмила сильно удивлялась, смотря вверх на нашу отдаленную родину, каким образом люди не падают с нее на Луну. Ведь падаем же на нее мы, чувствуя с каждой минутой, что к нам возвращается, хотя и не вполне, наша тяжесть, влекущая нас туда, в обратную сторону, к лунной поверхности. И эта поверхность казалась нам теперь внизу, а неверху...

Поливанов начал рассуждать, что «мы вошли в сферу лунного притяжения», что то, что было «верхом», теперь стало «низом», что мы и на Земле каждую ночь повертывались вместе со всеми окружающими нас предметами почти вверх ногами относительно нашего положения днем, благодаря вращению земного шара. Но увы! Людмила отвечала, что она все это хорошо понимает теоретически, но на практике еще никак не может привыкнуть к мысли, что «наш низ» есть «верх» для кого-нибудь другого.

А между тем лунный диск все более и более увеличился в наших глазах от приближения к нему нас и занял теперь почти пятую часть небесной сферы. Ярko обрисовались под нашими ногами его холмистые равнины, все испещренные легкими круглыми или эллиптическими впадинами всевозможных величин, как песчаное побережье от недавно упавших на него дождевых капель. Только что это были за капли! Двадцать шесть из них превышали 100 километров в диаметре!

— Вот они, знаменитые лунные цирки! — сказал Янович. — Наконец-то удастся узнать, как они произошли!

— Самое удивительное здесь то, — ответил Поливанов, — что они совершенно неизвестны ни на ближайшей подруге Луны — Земле, ни на остальных планетах, обладающих значительной атмосферой. Происхождение их должно быть совершенно своеобразным.

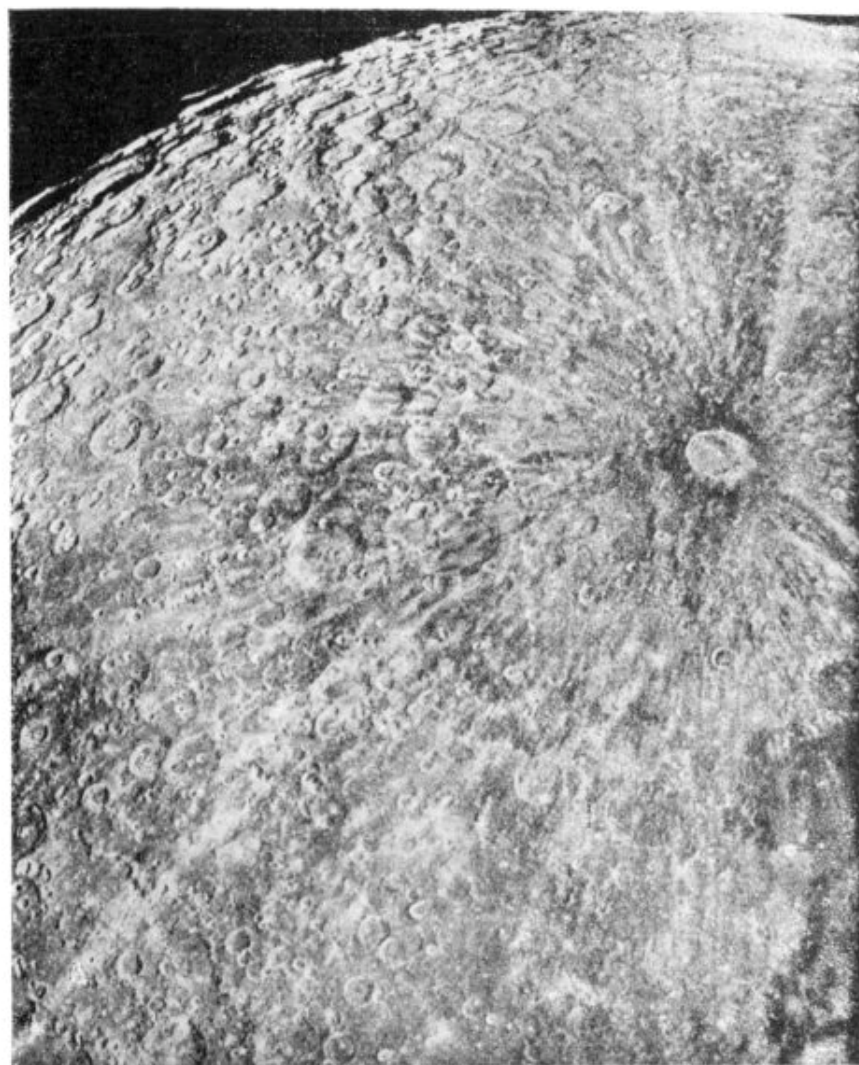
— Их считали прежде за вулканы, — сказал Янович, — но это только потому, что старые астрономы не могли хо-

рошо рассмотреть плоского устройства их дна. Фай приписывал их происхождение приливам и отливам жидкого ядра Луны, когда она только что покрылась корой. Из других астрономов — одни объясняли их деятельностью кораллов, располагавшихся большими кругами, как в земных морях, а другие сознатальной работой мыслящих существ, живущих на Луне. Но все эти предположения были лишь простой игрой фантазии, где остроумие заменяло действительное знание. И вот теперь мы на пути узнать все на самом месте!

Мы летели к той половине Луны, которая была в тени. Она росла с каждой минутой. Она как бы надвигалась на нас своим ударом. Становилось жутко от этой громады, растущей под нашими ногами. Невольно то один, то другой из нас старался посмотреть на показатель скорости полета, чтобы убедиться, что она не превышает ту, которую наши машины могут преодолеть ранее падения на поверхность Луны.

Вот Луна заняла почти всю половину окружающего нас небесного пространства. Дюнообразные сыпучие валы ее цирков, как будто выбитых ударами гигантских пестов в руках мировых титанов, отчетливо обрисовывались среди желтовато-зеленоватого плоскогорья, над которым низко склонялось солнце. Вот горизонт Луны совсем надвинулся на солнечный диск и нам, как на Земле, показалось, что солнце зашло... Один миг и мы очутились в длинном конусе лунной ночи, этом темном колпаке, вечно следующем за каждой планетой...

«Вверху, там, далеко» над нашими головами и кругом, все небо было ярко освещено знакомыми созвездиями и широким серпом Земли, на котором виднелись Северная Америка и часть вечных снегов прилегающего к ней полюса. «Внизу» же, на юге Луны поднимался прямо под нашими ногами цирк Тихо Браге с широким, плоским дном и с полосами белой слегка сероватой пыли, лучеобразно разбросанной от окружающего его дюновидного вала по соседним возвышенностям и долинам чуть не на восьмую долю поверхности Луны. Далеко от него, при переходе на се-



Ц и р к ъ Т и х о .

Лучистые разбросы снѣжно-бѣлой пыли окружаютъ его со всѣхъ сторонъ, покрывая прилежающіе цирки на огромное разстояніе.

верное полушарие луны, виднелся совершенно такой же цирк Коперника, от вала которого снеговидная пыль перекинулась лучистыми разбросами, как тонкое кружево, через горный хребет лунных Апеннин на темноватую равнину близ северного полюса, называемую Морем Дождей. За ней направо, на лунном востоке, виднелись еще две большие котловины Кеплера и Аристарха, но уже с меньшими лучистыми отбросами такой же странной беловатой пыли.

И на западе Луны виднелись разбросы того же самого вещества кругом цирка Платона и около цирка Анаксагора у самого северного полюса Луны. Более мелкие лучи того же рода виднелись и в других местах Луны, но всякий раз кругом какого-либо из меньших лунных цирков и с кучевидными остатками той же снеговидной пыли на их дне.

Вдали от нас, среди темной как чернозем и слабо-зеленоватой от земного света равнины Моря Дождей, лежала уже лишенная только что описанных лучистых разбросов огромная тарелкообразная впадина Архимеда, а за ней целый ряд таких же, но меньших углублений вплоть до цирка Аристотеля.

Все это быстро приближалось, увеличивалось в своих размерах, ближайшие горы заслоняли более отдаленные. Мы миновали все эти цирки, валы которых показались нам грудками легкой сероватой или ярко-белой пыли, и полетели к северу над равниной Моря Дождей по направлению к отдаленным плоским впадинам северных Лунных Цирков. Когда мы опустились над этой равниной на высоту не более сотни метров, нам показалось, что мы слышим странное жужжание за бортами корабля, подобное шуму слабого ветра.

— Атмосфера! — воскликнула Вера, — слышите, как тихо шумит она за бортом корабля!

Все прислушались. Действительно, казалось, не было сомнения, что мы летим среди редкой атмосферы, но из какого газа состоит она, этого невозможно было определить. Отсутствие солнечного света мешало произвести спектральный анализ, а иначе узнать состав было невозможно, так

как впустить неизвестный газ в корабль, не зная его свойств, было бы рискованно. По-видимому, это был очень тяжелый газ вроде угольного ангидрида. Мы ограничились тем, что набрали его посредством насоса, прикрепленного к внешней стене корабля и приводимого в движение гальваническим прибором, в особый гуттаперчевый мех, тоже находящийся снаружи, и отложили его химическое исследование до возвращения на Землю.

Когда мы, продолжая путь, приподнимались несколько выше, шум за стенами прекращался и снова слышался, когда мы понижали полет. По трудно определимой высоте границы этого шума было очевидно, что ощутимая часть лунной атмосферы не достигала в этом месте даже и километра в толщину. Она лежала не только ниже горных цепей, идущих всюду по краям и середине лунного диска, и отдельно стоящих гор, достигающих на Луне гигантской высоты, но даже и на равнинах покрывала лишь наиболее низменные места, подобно морям на земной поверхности.

— Как странно! — воскликнул Янович, — эти места кажутся при наблюдении с Земли настолько темнее остальных, что древние астрономы приняли их за океаны и моря и дали им соответствующие названия! И вот оказывается, что они были правы! Значит, это Море Теней, над которым мы летим, есть действительно море, но только не водяное, а газообразное. Океан Бурь, море Ясности, море Кризисов, море Плодородия, повсюду разбросанные по диску Луны и связанные между собой проливами — все это не пустые названия, как думали в последнее время!

Мы быстро направили свой полет к цирку Платона и остановились над его дном. Странную, необъяснимую форму представляла с высоты его фигура при мягком отблеске сияния Земли: среди центральной неглубокой котловины в несколько десятков километров в окружности с совершенно ровным плоским дном валялись кое-где пылеобразные груды. Невысокий эллиптический дюновидный вал окружал эту котловину, а вне его все пространство было засыпано каким-то веществом совсем другого вида, чем окружающая сыпучая равнина, и среди нее опять-таки валялись огром-



Циркъ Коперника.

На правой сторонѣ отъ него у края фотографіи циркъ Кенлера. На-
лѣво отъ него циркъ Эратосфена. Вверху у края Рифейскія горы.

ные груды пыли. Вся поверхность Луны на неведомую глубину, казалось, была обращена в легкую мелкую пыль попеременными действиями солнечного жара двухнедельного дня и ледящего холода двухнедельной ночи, не умягяемыми воздушным покровом. Да и сама пыль не склеивалась здесь никакой влагой...

Неподвижно висая в пространстве, мы долго любовались этой фантастической картиной лунной пустыни. Казалось, мы попали в пыльные области песчаной части Сахары, где малейшее дуновение подняло бы облака мелкой пыли. Наконец, мы спустились к самой поверхности вала Платона и пытались набрать с него рычагом нашего корабля несколько кучек его легкой сыпучей почвы.

Вдруг Вера и Людмила вскрикнули в испуге. Среди полутьмы лунной ночи вся окрестность озарилась красно-малиновым светом, ярким, как свет солнца. Большой огненный шар неся на нас, рассыпая за собой блестящие искры в редкой атмосфере Моря Теней. Казалось, не было никакой возможности миновать губительного удара.

— Метеорит! — послышалось чье-то восклицание.

Да, это был действительно метеорит и притом один из тех, какие редко можно наблюдать. Такой большой я только раз видел в своей жизни, возвращаясь однажды ночью из нашего дома в деревне во флигель, где я обыкновенно спал. Но тот пронесся высоко над землей, лишь на минуту озарив своим волшебным светом всю видимую окрестность до самого горизонта, а этот летел прямо на нас, и слабая атмосфера Лунного моря была слишком редка, чтобы парализовать его удар.

«Неужели, — мгновенно бросилось мне в голову, — нам, пролетевшим все пространство до Луны и ни разу не встретившим метеоритов, суждено погибнуть у самой цели нашего путешествия!»

Но прежде, чем я кончил свою мысль, страшное сотрясение рыхлой сыпучей почвы заставило подпрыгнуть наш корабль и свалило его набок. Мы все попадали в разные стороны, и только слабость нашего тяготения к Луне предохранила нас от серьезных ушибов. Через несколько секунд

я уже вскочил на ноги, и что за картина предстала перед моими глазами!

Облака лунной пыли летели и падали кругом нас, грозя засыпать весь корабль. Значительная, хотя и не настолько, чтобы быть видимой с Земли, тарелкообразная впадина появилась на склоне вала Платона в нескольких десятках саженей от нашего корабля, а куча метеорной пыли лежала в середине образовавшейся впадины. Я бросился к Людмиле и Вере, чтобы узнать, не ушиблись ли они при падении, но все обошлось благополучно. Только легкая бледность да беспокойство взгляда выдавали их внутреннее волнение, когда они, поднявшись на ноги, приникли к окну, чтобы посмотреть на окружающее разрушение сквозь дымку все еще быстро падающей пыли.

— Смотрите, — раздался вдруг громкий голос Поливанова, — смотрите! Дверь корабля так втиснута в стены, что нам уже совершенно невозможно отворить ее.

«Нет ли где щелей? — бросилось мне в голову. — Вот будет хорошо, если весь воздух вылетит из корабля и из возобновляющего его прибора, и мы останемся под давлением в одну пятисотую долю атмосферы!»

Я бросился к входной двери, но тотчас успокоился. Вдавленная внутрь, с изломанным запором, она тем сильнее прилегала к окружающей ее стене корабля. Где я ни прикладывал свою руку к ее краям, нигде не чувствовал ни малейшего течения воздуха.

— Ну, пустяки, — сказал Янович, — вернемся на Землю, и нас освободят из этого нового заключения.

Поливанов начал пробовать действие машины, и корабль наш медленно поднялся в окружающем нас пыльном облаке.

Кругловатая неглубокая впадина, выбитая метеоритом, вся обнаружилась под нами. Она была, как две капли воды, похожа на один из маленьких «цирков», всюду разбросанных на валах больших цирков или между ними. То же плоское дно с несколькими грудками метеорной пыли, то же кольцообразное возвышение вокруг него от выбитой наружу и приподнятой, как вал, сыпучей рыхлой почвы, все бы-

ло так же, как у остальных цирков, и, если бы мы не были свидетелями почти мгновенного происхождения перед нами этой впадины, мы не отличили бы ее от остальных.

Безмолвно стоя у окна и глядя на этот новый цирк, я забыл обо всем окружающем и долго оставался в каком-то восторженном состоянии.

Значит, думал я, все эти цирки, возбуждавшие столько гипотез, не что иное, как следы ударов тысяч больших и маленьких комет и метеоритов, встречавшихся с Луной в продолжение миллионов лет ее существования! Там, на Земле, куда, конечно, так же часто падали метеориты, их разрушительная сила парализовалась густой атмосферой, представляющей громадное сопротивление быстро движущимся телам. Там, на Земле, они падали вниз разбитыми на тысячи осколков, если были тверды; сдержанными в своем полете, если были газообразны, и развеянными в воздухе, если состояли из облаков космической пыли. Да и падали они лишь в том случае, если ударяли по воздуху более или менее перпендикулярно.

Если некоторые из них, а таких, конечно большинство, летели очень косвенно, то они или их отдельные частички должны были рикошетировать по воздуху, как пушечные ядра рикошетируют по воде, и улетать далее в пространство, оставив лишь на мгновение огненную полосу над Землей, да взволновав прилегающий воздух. Там, на Земле, если они и были так громадны, и тверды, что, пролетев всю толщу атмосферы, выбивали глубокие провалы в почве, — эти провалы вскоре наполнялись водой, дожди размывали их бока, наполняя песком и глиной дно. Целебное действие вечного круговорота воды и воздуха залечивало нанесенную Земле рану, и через несколько десятилетий от нее оставался лишь незначительный шрам в виде небольшого озера, лежащего особняком среди равнины. Да и не произошли ли, действительно, таким путем некоторые отдельные озера?

Мне страстно захотелось сейчас же лететь на Землю и исследовать дно кругловатых сибирских озер. Но несколько прямых или слегка согнутых от неровностей почвы бо-

розд, как бы царапин, лежащих повсюду в беспорядке на Луне, тотчас отвлекли мои мысли.

«Значит, — подумал я, — и эти до сих пор необъясненные полосы должны происходить от метеоритов, косвенно ударявшихся по поверхности Луны, а потому рикошетирующих от нее и улетевших в пространство или рассыпавшихся тут же на Луне, проводя борозду в ее пылеобразной почве». Я плотно приник лицом к окну нашего летучего корабля.

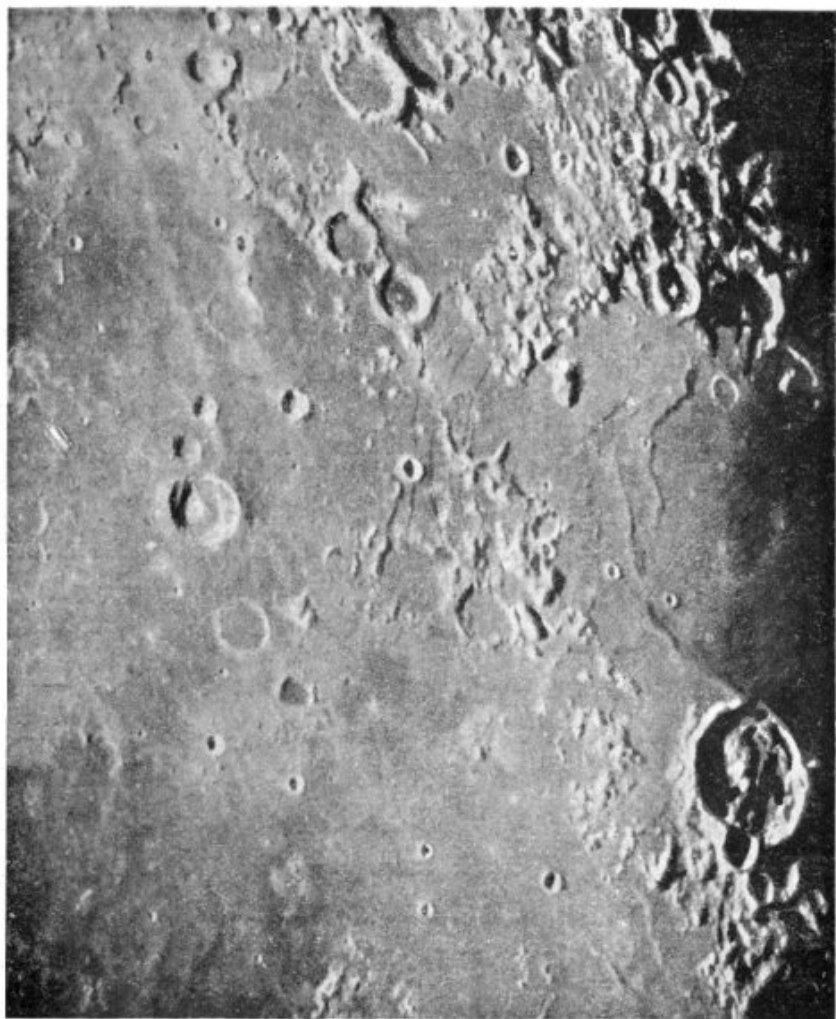
Безмолвно лежало передо мной безграничное сыпучее плоскогорье Луны, ярко освещенное зеленоватым серпом Земли, над экватором которой, как на диске Юпитера, тянулось вечное кольцо облаков зимнего дождливого тропического сезона.

Мне стало грустно за Луну, которая представлялась теперь моим глазам всюду израненной мировыми непогодами. Она напоминала мне древесный пенек, лишенный коры, на котором неизгладимо остаются все удары топора, все шрамы, все случайные повреждения, нанесенные людьми и природой, в то время как окружающие этот ствол зеленые деревья растут кругом него, борясь со всеми внешними влияниями, полные жизненных сил и здоровья, сами залечивая свои повреждения...

Не то же ли самое планета без атмосферы, что дерево без коры?

Какое громадное значение должна в таком случае иметь эта легкая оболочка планетной поверхности! Кто знает, не выделяет ли она на своем дне все остальное тело планеты, поглощая в себя вещества из мирового пространства, подобно надкостнице и другим пленкам животных органов, которые образуют под собой мускулы, кости и другие органы? Но если бы даже всего этого и не было, то, разнося повсюду водяные пары океана, атмосфера проводит по планете артериальную систему рек и ручейков, питает ими почву, исцеляет и заращивает ковром растительности все ее болезненные обнажения и повреждения...

Мы медленно неслись над лунной поверхностью по направлению к северному полюсу Луны.



Море Влажности.

На правой сторонѣ шесть рядовъ дюнь окаймляютъ его со стороны холмистыхъ береговъ, и сами эти берега кажутся какъ бы наносами пыли на три первые ряда дюнь или береговыхъ террасъ этого моря.

Снизу на нихъ циркъ Гассенди.

Весь поглощенный своими мыслями, я внимательно рассматривал всякий новый цирк, появлявшийся под ногами, и в каждом находил неожиданное подтверждение своей идеи*. Вот маленькая круглая пробоина, так называемый «колодезь», почти совсем без вала, с лучеобразными разбросами вокруг. Она, без сомнения, пробита твердым и землистым метеоритом, ударившим вертикально. Вот другая пробоина, где метеорит налетел косвенно и высоко приподнял противоположный конец почвы, отбросив от него несколько огромных куч почвы. Вот слабое, едва заметное по глубине, тарелкообразное углубление несравненно большей величины, очевидно, след небольшой пылеобразной кометки, рассыпавшейся затем на поверхности Луны, не оставив после себя никаких других следов, кроме космической пыли. Вот другая, небольшая и глубокая котловина, посредине которой лежит и сама грудa землистого метеора, так называемый «пик котловины». Вот, наконец, и отверстие, совершенно похожее на жерло вулкана, где огромный твердый метеорит, летевший, очевидно, со страшной скоростью, глубоко пробил лунную почву и, взорвавшись внутри от страшного сотрясения, взбросил над собой всю окружающую местность. Я давно уже заметил, что неглубокие цирки были несравненно большей величины, чем глубокие пробоины и колодцы, и теперь понял причины этого. Ведь твердые метеориты, пробивающие значительные отверстия, происходят от сгущения газообразных или пылеобразных и потому, очевидно, должны быть несравненно менее последних по размерам.

Я сообщил свои мысли окружающим меня товарищам. Некоторые из них сейчас же принялись горячо спорить по этому поводу.

* Пока я разрабатывал эту идею в Алексеевском равелине (1882 г.), без права иметь какие-либо сношения с внешним миром, она была разработана и опубликована двумя германскими учеными Генрихом и Августом Тирш (Tirsch) в 1883 г. *Позднейшее прим.*

— Ведь многие из таких валов, — сказала Вера, — достигают в своих наивысших пунктах более шести километров высоты. Какая страшная сила должна быть употреблена, чтобы произвести такие результаты!

— Но ведь и удар распространялся здесь на огромную площадь, — возражал я, — да и скорость полета метеоритов выходит за пределы всяких земных скоростей.

— Ты забыл, кроме того, — прибавил ставший на мою сторону Янович, — что сила тяжести на Луне с лишком в шесть раз слабее, чем на земном шаре, а потому и наивысшие из здешних гор, в шесть километров высоты, по работе их поднятия соответствуют лишь горам в один километр на нашей Земле!

— Да и это неверно, — заметил Поливанов, — потому что плотность поверхностных слоев здесь почти вдвое менее, чем у нас на Земле. Значит, даже самые высокие валы цирков соответствуют земным холмам высотой не более полкилометра, то есть всего полуверсте на Земле! Совсем уж не так высоко!

— Притом же, — прибавил я, ободренный этой защитой своей идеи, — и почва этой стороны Луны, благодаря внештатной меньшей тяжести и отсутствию влаги, не могла сложиться в такие крепкие породы, как у нас. Здесь вся она должна быть почти пылеобразной по причине растрескивания вследствие постоянных двухнедельных переходов от палящего жара солнечных лучей до ледящего ночного холода! А произошла она, несомненно, от наносов, когда на Луне еще была какая-то атмосфера, если не водяная, то из кварца или чего-либо другого. Ведь низины здесь все темные, как чернозем, тогда как плоскогорья несравненно светлее!

— Но замечательно, что такие случаи внезапного образования новых лунных цирков ни разу не наблюдались в телескопы, — заметила Вера.

— Как не наблюдались! — воскликнул Поливанов, задетый за живое, потому что дело шло об астрономии. — Я не буду вам говорить о старых астрономах, которые не раз наблюдали новые пятна на Луне, причем появление этих пятен

иногда сопровождалось присутствием небольшого облачка вроде того, в котором мы сейчас были. Вот новые факты. В 1862 г. Шмидт открыл пятнадцать бороздок и группу «ко-лодцев» близ цирка Аристотеля. Ни он, ни другие астро-номы никогда не видели таких бороздок в этом месте. А в самые последние времена Клейн заметил у цирка Гигиуса новое кратерообразное возвышение.

— Но все эти утверждения сомнительны, так как старые рисунки Луны, как показывает их сравнение с современ-ными фотографиями, не отличались ни полнотой, ни точ-ностью. Даже и новые астрономы рисуют детали более или менее схематично.

— Да вопрос этот и не требует исторических свиде-тельств, — возразил Поливанов. — Вы все знаете, что каж-дый год Земля, а следовательно, и ее спутник Луна, прохо-дят несколько раз сквозь области, в которых идет непре-рывный дождь метеоритов, например, 3 ноября, 10 авгу-ста, 6 декабря и т. д. Если вы взглянете в эти ночи на небо, то всюду увидите, как мелкие метеориты падающими звез-дочками ударяют один за другим по земной атмосфере, как камни по поверхности воды. Вообразите же, что долж-но быть здесь, на Луне, в это время! Тут каждый метеорит будет выбивать ямку, как дождевая капля на песке, или проводить борозду, если ударит косвенно! Ведь они летят со скоростью от 48 до 100 метров в секунду!

— Да, — заметил Янович, — это должна быть настоящая бомбардировка луны. При такой скорости даже газовые ме-теориты должны оставлять следы своих ударов на пылеоб-разной, вследствие полной сухости, лунной почве. Я не го-ворю уже о твердых метеоритах: тогда потоки лунной пыли будут лететь по всем направлениям.

— Да и от мягких метеоритов не будет лучше, — заметил Поливанов, — я сам не раз пробивал из пистолета сальной свечой толстые деревянные доски и свечка даже мало по-вреждалась. А ведь скорость ее не достигала и сотой доли скорости метеоритов. Какое страшное сопротивление мо-гут представить телу при его быстром движении жидкости и газы, можно видеть из того, что если выстрелить из ре-

вольвера сверху пулей в стакан с водой, то пуля медленно ляжет на дно, не разбив стакана, а только расплескав часть его воды. Так и у нас на Земле с ее атмосферой. А без нее даже газообразные и пылеобразные метеориты произвели бы при ударе сильные впадины на всякой рыхлой почве.

— Только газообразных метеоров не может быть в междупланетном пространстве, — заметил Янович, — вследствие склонности газов к рассеянию в пустоте.

— А однако же, они есть! — воскликнул Поливанов. — Я сам не раз видал по ночам огненные шары, падающие в верхние слои атмосферы, совершенно круглой и резко очерченной формы. Никакими другими, как газовыми, их нельзя представить. Приняв во внимание дальность их вспыхивания, они должны достигать сотен метров в диаметре, а между тем, бесследно сгорают в воздухе. Жидкие и твердые непременно обсыпали бы всю окрестность дождем капель или осколков.

Сильно утомленный всеми новыми впечатлениями этого путешествия, я лег на одной из кушеток кают-компания и не заметил, как заснул. Мне снилось, что мы достигли уже цели своего путешествия, перелетели через высокие вершины гор, окаймляющих всю видимую с земли половину Луны, и спустились по другую их сторону. Зеленоватый серп Земли с его белым поясом экваториальных облаков скрылся за лунным горизонтом, и только знакомые яркие звезды повсюду горели на черном, как уголь, фоне неба. Несколько времени мы летели в глубоком мраке. Но вот вдали, на восточной части лунного горизонта, мелькнула яркая полоска света и восходящее солнце озарило спящую, никогда не виданную с Земли, равнину обратной половины Луны, покрытую белым снежным покровом. Легкие облака клубились в голубоватой дымке, а вдали синело наполовину уже оттаявшее море.

Мне грезилось, что мы все вскрикнули от удивления и столпились у окон. А я.... я едва не упал на колени от охватившего меня восторженного чувства.

— Так значит, правы некоторые астрономы, утверждавшие, что атмосфера, влага и жизнь Луны должны сосредото-



Д о л и н а А л ь п ь .

Черта направо, называемая Долиной Альпъ, очевидный слѣдъ косвенно упавшаго метеорита. Вверху цирки Автоликъ и Аристиль. Пониже ихъ циркъ Кассини. На лѣвой сторонѣ цирки Евдохъ и Аристотель.

точиваться на противоположной от Земли стороне, что ее полушарие, вечно обращенное к нам, приподнялось от тяготения к Земле в виде высокого плоскогорья, уходящего за пределы лунной атмосферы! Значит, Луна вовсе не такой «лишенный коры пень» среди мировых светил, какой я счел ее, судя по одной видимой нами стороне.

— Как хороша вселенная! — воскликнула Людмила, — сколько в ней скрытых жизненных сил, сколько чудной красоты!

Низко неся воздушный корабль над поверхностью Луны. Один за другим переходили передо мной ее разнообразные ландшафты. Вдали уже было полное лето. Луга сменялись лесами и рощами; речки и ручейки спускались каскадами по склонам холмов. Ослепительно яркое солнце было уже высоко над горизонтом, и длинная полоса света тянулась к нам от него по поверхности лунного моря, взволнованного легким, ветром. Пернатое население реяло в чистом воздухе двухнедельного лунного дня, а внизу различные животные и человекообразные существа, но только маленькие, как куклы, двигались среди обработанных полей, лежавших квадратиками около крошечных деревушек и городков. Их здания, даже многоэтажные, не были выше и просторнее наших железнодорожных вагонов. И все остальное животное, и растительное население было очень невелико по росту и как будто говорило нам своей миниатюрностью, что органические существа по общим законам своего развития всегда находятся в одном и том же отношении к величине своей планеты. Роды и виды животных и растений были различны от земных, но типы их, казалось мне, были вполне сходные с нашими. Законы развития органического мира оказывались и здесь, как повсюду, одни и те же, как единообразны и формы, и химический состав всех звезд и планет вселенной...

— Да, — сказала Людмила, — воображать небесные тела населенными странными, чуждыми для нас существами, это значит поступать так же неправильно, как поступали древние, воображавшие неведомые им земные страны населенными сатирами, циклопами, центаврами или, еще ху-

же этого, считая их необитаемыми пустынями.

Наблюдая этот мир существ, так родственных земным, невольная мысль поразила меня.

«Да точно ли, — подумал я, — мы и они различного происхождения? Уж не зародились ли действительно, как думают некоторые, первоначальные молекулы органических существ нашего звездного неба одна от другой где-нибудь на центральном, невидимом для нас теле, вокруг которого обращаются все наши звезды и планеты? Не разносятся ли они в мировом эфире, как зародыши инфузорий в воздухе, для того, чтобы, попав в благоприятные условия на поверхности планет, развиваться на них по общим биологическим законам в роскошную флору и фауну?

Все мои спутники толпились у двери нашего корабля, чтобы постараться выйти из него на Луну и близко познакомиться с ее населением. Но сотрясение от удара метеора на валу цирка Платона так сильно вдавило дверь в бока корабля, что, несмотря на могучие удары молотом, которые расточал ей Поливанов, не щадя своих крепких мускулов, не поддавалась.

— Ну, ничего не поделаешь, — сказал он угрюмо, опуская свой таран. — Приходится возвращаться на Землю, чтобы нас расковали где-нибудь на механическом заводе.

И вдруг я проснулся... Вокруг меня все было по-прежнему в нашем воздушном корабле, и даже косые полосы солнечных лучей, ворвавшиеся через хрустальные окна, по-прежнему пронизывали наши каюты во всю длину... Но только, к моему невыразимому изумлению, я уже не лежал на кушетке, а снова плавал в воздухе, потеряв свою тяжесть, вместе со всеми своими спутниками.

— Что это значит? — воскликнул я. — Где мы находимся?

— Между Луной и Землей, на возвратном пути, — печально отвечала Вера. — От сильного нагревания солнечными лучами между дверью и стеной корабля открылась щель и воздух начал выходить вон. Пришлось наскоро заделать повреждение и, не медля ни минуты, повернуть на Землю.

— Так мы и не видели другой стороны Луны... — прибавила Людмила.

Один только я видел ее, да и то во сне!

С грустным чувством летели мы в обратный путь, провожая печальными взглядами убегающую от нас верную спутницу Земли с ее цирками, горами и равнинами. Все шло благополучно. Только при самом конце путешествия мы чуть не поломали себе членов от неожиданного толчка, потому что врезались почти на всем ходу в земную атмосферу, не рассчитав того, что она быстро движется от запада к востоку вследствие вращательного движения Земли. Это движение воздуха, несмотря на его разреженность в вышине, так быстро отбросило в сторону наш корабль, что мы все свалились с ног, но и теперь без всяких дурных последствий.

Корабль спускался как раз на том месте, где по поверхности земного шара быстро двигалась широкая мгlistая полоса сумерек, отделяющая освещенное полушарие земного дня от противоположного полушария, погруженного в длинный конус земной ночи, уходящий в небесном пространстве за орбиту луны.

Когда мы летели по освещенной части небесного пространства, нам не было видно этого конуса мрака, который носит за собой наша планета, как не было видно ни наполняющих его сонных грез людей, ни скрывающихся в нем фантастических духов и ночных видений детской эпохи человеческого рода. В чистой глубине междузвездного пространства, где нет никакой пыли, затененные и освещенные части среды не отделяются одни от других светлыми и темными полосами, как в нашей пыльной комнате; сквозь них так же ярко светятся звезды, так же блещут планеты, так же проходят вечные волнения и течения мирового эфира, как и через другие области, озаренные солнечным светом.

Совсем не то в нашей атмосфере с ее водяными парами. Здесь лучи рассеиваются всегда в большей или меньшей степени, и потому между светом дня и мраком ночи появляется еще и промежуточная *полоса сумерек*, где сияет

заря...

Вот почему лишь в тот момент, когда земной горизонт заслонил от нас не только последний остаток солнца, но и полосу зари, мы сразу почувствовали себя во мраке и прохладе ночи, освещенной луной да миллионами звезд.

— Как это странно, — задумчиво сказала Вера, — сейчас все было так светло, и мы не замечали впереди никакого мрака. И вдруг очутились во тьме и уже совсем не можем вообразить, что ясный светлый день сияет над ночью там, высоко над нами, и что полдневный свет никогда не потухает между нами и этими звездами.

Мы все молчали и мечтали, смотря на небо.

И мои мысли также улетели далеко в бездонное небесное пространство, туда, где за пределами нашей земной ночи сияет вечный день, где проносятся вереницы метеоритов, где волны солнечного света и темноты вечно пересекаются между собой и сливаются с лучами миллионов звезд в одну чудную мировую музыку, наполняющую всю вселенную. Я улетел мечтой еще далее, за пределы этого вечного дня, туда, где, солнечный свет, постепенно слабея, сменялся новой областью тьмы, тьмы, подобной земной ночи, только невообразимо громадной и не освещенной бледным сиянием нашей луны...

Но там, вдали, в глубине этой ночи, кругом ближайшей к нам звезды, уже светилось ярким светом зарево нового вечного дня, а за ним, направо и налево, повсюду кругом небесной сферы, мерцали все новые и новые сияющие точки, миллионы новых солнц с их планетами и спутниками, миллионы вечных дней с их блеском и теплотой, миллионы далеких островков вселенного океана, с каждого из которых доносилось до меня биение родной нам жизни и миллионы мыслящих существ ласково смотрели на нас и нашу Землю! Мне казалось, что они желали нам и всем нашим братьям по человечеству скоро и счастливо пройти сквозь окружающий нас мрак к новой высшей жизни на Земле, к чудному чувству свободы, любви и братства и к сознанию своего единства с бесконечностью живых существ Вселенной.

Яков Перельман

ЗАВТРАК В НЕВЕСОМОЙ КУХНЕ

Научно-фантастический рассказ

Завтракъ въ невѣсомой кухнѣ

Научно-фантастическій рассказъ Я. ПЕРЕЛЬМАНА.

Приключения двух американцев и одного француза, совершивших в пушечном ядре полет вокруг Луны, приобрели широкую известность с тех пор, как покойный Жюль Верн рассказал о них в своих двух книгах «Путешествие на Луну» и «Вокруг Луны». Никаких других сообщений об этом необыкновенном путешествии до сих пор в печать не проникало. Между тем, есть все основания подозревать, что автор упомянутых сочинений не располагал вполне надежными сведениями; по-видимому, он пользовался записками лишь своего легкомысленного соотечественника, француза Мишеля Ардана, и совершенно не был знаком с мемуарами двух других участников полета — м-ра Барбикена и м-ра Никколя. Этим только и можно объяснить тот поразительный пробел в описании межпланетного путешествия, на который справедливо указывали некоторые критики. Действительно, подробно рассказывая о жизни пассажиров внутри летящего ядра, Жюль Верн упустил из виду, что пассажиры, как и вообще предметы внутри каюты, во все время путешествия *были абсолютно невесомы!* Дело в том, что, подчиняясь силе тяготения, все тела падают с одинаковой скоростью; сила земного притяжения должна была, следовательно, сообщать всем предметам внутри ядра совершенно такое же ускорение, как и самому ядру. А если так, то ни пассажиры, ни остальные тела в ядре не должны были давить на свои опоры; уроненный предмет не мог приближаться к полу (т. е. *падать*), а продолжал висеть в воздухе; из опрокинутого сосуда не должна была выливаться жидкость и т. д.* ... Словом, внутренность ядра должна бы-

* Подробное обоснование этой мысли читатели могут найти в моей книге «Занимательная физика».

ла на время полета превратиться в маленький *мир, совершенно свободный от тяжести.*

Легко представить себе, до какой степени должны были измениться в таком невесомом мире самые обыкновенные явления. Если бы Жюль Верн был своевременно осведомлен об этом, он, конечно, украсил бы свое увлекательное сочинение еще несколькими эффектными главами.

Позволяю себе предложить снисходительному вниманию читателей одну из таких недостающих глав, именно — подробное описание приготовления завтрака внутри летящего пушечного ядра.

— Друзья мои, ведь мы еще не завтракали, — заявил Мишель Ардан своим товарищам по межпланетному путешествию. — Из того, что мы потеряли свой вес в этом пушечном ядре, вовсе не следует, что мы потеряли и аппетит. Я берусь устроить вам, господа, невесомый завтрак, который, без сомнения, будет состоять из самых «легких» блюд, когда-либо существовавших на свете!

И, не дожидаясь ответа товарищей, француз принялся за стряпню. Завтрак решено было начать с бульона из распущенных в теплой воде таблеток Либиха.

— Наша бутылка с водой притворяется пустой, — ворчал про себя Ардан, возясь с раскупоркой большой бутылки. — Не проведешь меня: я ведь знаю, отчего ты такая легкая... Так, пробка вынута. Извольте же, госпожа бутылка, излить в кастрюлю ваше невесомое содержимое!

Но сколько ни наклонял он бутылки, оттуда не выливалось ни капли.

— Не трудись, милый Ардан, — явился ему на выручку Никколь. — Пойми, что в нашем мире без тяжести вода не может *литься*. Ты должен вытолкать ее из бутылки, словно бы это был густой, тягучий сироп.

Ардан ударил ладонью по дну опрокинутой бутылки. Тотчас же у горлышка раздулся совершенно круглый водя-

ной шар величиной с кулак.

— Что это стало с нашей водой? — изумился Ардан. — Вот, признаюсь, совсем излишний сюрприз. Объясните, ученые друзья мои, откуда взялась эта водяная пилюля?

— Это капля, милый Ардан, простая водяная капля. В мире без тяжести капли могут быть какой угодно величины. Ведь только под влиянием тяжести жидкости принимают форму сосудов, льются в виде струй и т.д. Здесь же тяжести нет, жидкость предоставлена своим внутренним молекулярным силам: понятно, что должна принять форму шара, как масло в опыте Плато.

— Черт поberi этого Плато! Я должен вскипятить воду для бульона, и, клянусь, никакие молекулярные силы не остановят меня! — запальчиво воскликнули Ардан.

Он яростно стал «выколачивать» воду в висящую в воздухе кастрюлю, — но, по-видимому, все было в заговоре против него. Большие водяные шары, достигнув дна кастрюли, быстро расползались по металлу. Этим дело не кончилось: вода растекалась по внутренним стенкам, переходила на наружные, растекалась по ним — и вскоре вся кастрюля оказалась облеченной водяным слоем. Кипятить воду в таком виде не имело никакого смысла.

— Вот любопытный опыт, доказывающий, как велика сила сцепления, — объяснял взбешенному Ардану невозмутимый Никколь. — Ты не волнуйся: тут обыкновенное явление смачивания жидкостями твердых тел; только в данном случае тяжесть не мешает этому явлению развиваться с полной силой.

— И очень жаль, что не мешает, — возражал Ардан. — Впрочем, смачивание здесь или что-либо другое, но мне необходимо иметь воду *внутри* кастрюли, а не *вокруг* нее. Ни один повар в мире не согласится варить бульон при подобных условиях!..

— Ты легко можешь воспрепятствовать смачиванию, если оно мешает тебе, — успокоительно вставил м-р Барбикен. — Вспомни, что вода не смачивает тел, покрытых хотя бы самым тонким слоем жира. Обмажь свою кастрюлю снаружи жиром, и ты удержишь воду внутри ее.

— Bravo! Вот это я называю истинной ученостью! — обрадовался Ардан.

Он принял к сведению все указания своих ученых друзей и стал нагревать воду на газовом пламени.

Однако, все складывалось наперекор желаниям Ардана. Газовая горелка и та закапризничала: погорев полминуты тусклым пламенем, она потухла по необъяснимой причине. Ардан возился вокруг горелки, терпеливо нянчился с пламенем, — но хлопоты не приводили ни к чему: пламя положительно отказывалось гореть.

— Барбикен! Никколь! Да неужели нет средств заставить это проклятое пламя гореть, как ему полагается по законам физики и по уставам газовых компаний? — взывал к друзьям обескураженный француз.

— Но, право, здесь нет ничего необычайного и неожиданного, — объяснил Никколь. — Это пламя горит именно так, как полагается согласно физическим законам. А газовые компании... я думаю, все они скоро разорились бы в мире без тяжести. При горении, как ты знаешь, образуются углекислота, водяной пар — словом, негорючие газы; но обыкновенно эти продукты не остаются возле самого пламени, а, как более теплые и, следовательно, более легкие, поднимаются выше; на их место притекает чистый воздух. Но у нас здесь нет тяжести, и продукты горения остаются на месте своего возникновения, окружают пламя слоем негорючих газов и преграждают доступ свежему воздуху. Оттого-то пламя здесь так тускло горит и так быстро гаснет. Ведь действие огнетушителей на том и основано, что пламя окружается негорючим газом!

— Значит, по-твоему, Барбикен, если бы на земле не было тяжести, то не надо было бы и пожарных команд: всякий пожар потухал бы сам собой, так сказать, задышался бы в собственном дыхании?

— Совершенно верно. А пока, чтобы помочь горю, зажги еще раз горелку и давай обдувать пламя; нам удастся, я надеюсь, отогнать облегающие его газы и заставить горелку гореть «по-земному».

Так и сделали. Ардан снова зажег горелку, а Никколь с Барбикеном принялись поочередно обдувать и обмахивать пламя, чтобы непрерывно удалять от него продукты горения.

— Вы, господа, в некотором роде исполняете обязанности фабричной трубы, поддерживая тягу. Мне очень жаль вас, друзья мои, но если мы хотим иметь горячий завтрак, придется подчиниться велениям законов физики, — философствовал тем временем Ардан.

Однако прошло четверть часа, полчаса, час — а вода в кастрюле и не думала кипеть.

— Неужели пламя вместе с весом потеряло и весь свой жар? — удивлялся Ардан. — Я, кажется, никогда не дождусь, чтобы вода закипела.

— Дождешься, милый Ардан, мы с Никколем ручаемся за это. Но тебе придется вооружиться терпением. Видишь ли: обыкновенная, *весомая* вода нагревается быстро только потому, что в ней происходит перемешивание слоев: нагретые нижние слои, как более легкие, поднимаются вверх, вместо них опускаются холодные верхние — и в результате вся жидкость быстро принимает высокую температуру. Случалось ли тебе когда-нибудь нагревать воду не снизу, а сверху? Тогда перемешивания слоев не происходит потому, что верхние, нагретые слои остаются на месте. Теплопроводность же воды ничтожна: верхние слои можно даже довести до кипения, между тем как в нижних будут лежать куски нерастаявшего льда. В нашем мире без тяжести безразлично, откуда ни нагревать воду: круговорота в кастрюле возникнуть не может, и вода должна нагреваться очень медленно.

Нелегко было стряпать при таких условиях. Ардан был прав, когда утверждал, что здесь спасовал бы самый искусный повар. При жарении бифштекса пришлось тоже немало повозиться; надо было все время придерживать мясо вилкой: стоило только зазеваться, и упругие пары масла, образующиеся под бифштексом, выталкивали его с кастрюли; недожаренный бифштекс стремительно летел «вверх»,

— если только можно употребить это выражение в мире, где не было ни «верха», ни «низа».

Странную картину представлял и сам обед в этом мире, лишенном тяжести. Друзья висели в воздухе в весьма разнообразных позах, поминутно стучаясь головами. Пользоваться сиденьями, конечно, не приходилось. Такие вещи, как стулья, диваны, скамьи — совершенно излишни в мире, лишенном тяжести. В сущности, и стол был бы здесь не нужен, если бы не настойчивое желание Ардана завтракать непременно «за столом».

Трудно было сварить бульон, но еще труднее оказалось съесть его. В самом деле, разлить невесомый бульон по чашкам никак не удавалось. Ардан чуть не поплатился за такую попытку потерей трудов целого утра: забыв, что бульон невесом, он ударил по дну перевернутой кастрюли, чтобы изгнать из нее упрямый бульон. В результате из кастрюли вылетела огромная шарообразная капля-бульон в сферической форме; Ардану понадобилось все искусство жонглера, чтобы вновь поймать и удержать в кастрюле бульон, сваренный с таким трудом.

Попытка пользоваться ложками осталась безрезультатной: бульон смачивал ложки до самых пальцев, висел на них сплошной пеленой. Обмазали ложки жиром, чтобы предупредить смачивание, — но от этого дело не стало лучше: бульон превращался на ложке в шарик, и не было никакой возможности донести эту невесомую пилюлю до рта.

В конце концов, догадались сделать трубки из бумаги и помощью их пили бульон, всасывая его в рот. Таким же образом приходилось нашим друзьям пить воду, вино и вообще всякие жидкости в этом своеобразном мире, лишенном тяжести.

А. Числов

ПОГИБШЕЕ ОТКРЫТИЕ

Отрывки из дневника

Вместо предисловия. — От редактора.

Нельзя, конечно, не пожалеть, что человечество лишилось плодов замечательного открытия графа Трезора. Нельзя не поставить и в укор приват-доценту Числову его непростительного легкомыслия, с которым он упустил буквально из своих рук это открытие. Но в извинение последнему можно привести то соображение, что он, как математик, вообще несколько рассеян и односторонен. Кроме того, ведь никто же другой палец о палец не ударил для того, чтобы это открытие сохранилось для человечества. Конечно, никто так близко не стоял к безвременно погибшему Никите Ивановичу Серебренникову, как именно Числов, и никто не знал о сделанном им поразительном открытии; но, с другой стороны, как же никому в голову не пришла простая догадка о том, что дело тут неспроста? Как никто не заинтересовался странной и, — прямо скажу, — таинственной личностью покойного Никиты Ивановича? Ведь следует же иметь в виду, что первое появление его па Невском 26-го октября прошлого года вызвало заметки почти во всех газетах; а ведь сколько же народу видело его там своими собственными глазами! Если, кроме юмористической стороны, никто при этом ничего не сумел уловить, то едва ли это можно отнести к чести петербургской публики. Дальше: когда Серебренников жил у Числова, ведь он не таился, не скрывался; его видели и с ним разговаривали, как доподлинно известно, несколько интеллигентных лиц. Как курьез, могу сообщить, что с Никитой Ивановичем лично были знакомы два профессора: один — истории, другой — химии, и их взоры покоились на нем не с большим интересом, чем на дыме от папироски! Из уважения к их званию, я не назову здесь их фамилий... Наконец, нельзя не заметить, что если один Числов знал о погибшем ныне открытии, то он один и заслужил это, поддержав совершенно бескорыстно Никиту Ивановича в тяжелую для него минуту. Да, конечно, он упустил открытие, могшее совершить целый переворот в науке и коренным образом изменить че-

ловеческие отношения. Но он и глубоко перестрадал свою ошибку. Когда он доставил нам приводимые ниже записки, касающиеся непродолжительного пребывания у него Никиты Ивановича Серебrenикова, он, отдавая их, заплакал и сказал, ударяя себя в грудь:

— Дурак! Разиня!

И, помолчав немного, прибавил:

— Нет прощенья идиоту!

Не будем же слишком строги в своем суждении о нем.

I

Часов около шести вечера я шел по Невскому по направлению к Николаевскому вокзалу и обдумывал один из вариантов доказательства теоремы Фермата (я обычно занимаюсь этой теоремой на прогулке или перед сном в постели, так как она служит мне отдыхом, успокаивая мои нервы). Вдруг на повороте от Литейного я увидел странную процессию: впереди быстро шел в цилиндре господин лет сорока, в очень возбужденном состоянии; он размахивал тростью, которую держал в одной руке, а в другой нес небольшой сундучок; за ним непосредственно двигались три жирных и довольно противных субъекта под руку, пошатываясь и надрываясь от хохота. Шествие замыкала довольно порядочная толпа ротозеев, а кругом бегали, кричали и кривлялись мальчишки.

Я успел мельком заметить в толпе продавца газет, который с дикими возгласами махал вечерним номером перед самым носом господина, шедшего, так сказать, во главе процессии, и какую-то даму в съехавшей на бок шляпке, кричавшую истерическим голосом:

— Это сумасшедший! Его надо связать! В полицию его!

Больше я ничего не успел рассмотреть, так как почти без паузы произошло следующее совершенно неожиданное происшествие. Господин в цилиндре, не обращая никакого внимания на сопровождающую его свиту, двинулся прямо

через Невский, на котором шло обычное в это время шумное движение. (Нет места опаснее для перехода через улицу, чем угол Невского и Литейного). Результат сейчас же сказался: через секунду господин был под автомобилем. В числе других я бросился к месту печального случая; в один миг громадная толпа Невского, в которой потонули три жирных субъекта, и дама, и мальчишка с газетами, окружила городского, который поднимал пострадавшего.

Я протискался вперед. Громко спорили о чем-то шофер, господин в богатой шубе, городской и бритый тип в котелке. Пострадавший стоял на ногах. Он, видимо, был только ушиблен и оглушен, но не ранен. Затем все спорящие обратились к нему и заговорили разом. Раздались восклицания:

«Протокол! Под суд!» — «Неправда, шофер не виноват!» — «Под суд! Пора прекратить эти безобразия!»

Тин в котелке, представлявший, несомненно, сторону обвинения, схватил упавшего незнакомца за борт сюртука и кричал ему в самое ухо:

— Вы только скажите городовому свой адрес! Вы только адрес скажите!

Незнакомец, подавленный и смущенный, оглянулся кругом.

— Адрес? — проговорил он. — Но у меня нет адреса...

В его тоне было что-то такое беспомощное и жалкое, что все сразу замолчали. Прошло по крайней мере полминуты, пока городской догадался спросить:

— Вы приезжий?

— Д-да... приезжий.

— Где остановились?

— Еще... нигде.

Незнакомцу в это время подали его шляпу и странный, окованный железом сундучок, откатавшийся в сторону при его падении. Сундучок был, по-видимому, очень тяжел, но незнакомец, машинально протянув руку, взял его, как перышко. Кто-то щелкнул языком:

— Вот так силач!

Между тем, городской продолжал допрос: не ушибся ли он? Не ранен ли? Не желает ли в больницу? Незнакомец на все вопросы отвечал отрицательно. Тогда городской не особенно решительно заговорил о протоколе (он, по-видимому, был на стороне автомобилистов, а господин в шубе давно уже совал ему в руки свою визитную карточку). Но незнакомец сделал изящное и решительное движение рукой (вообще в его манерах, несмотря на смущение и рассеянность, проглядывали изящество и благородство).

— Но я никого ни в чем не обвиняю, — сказал он, — я сам виноват в своей рассеянности. (Господин в котелке разочарованно вздохнул). Они так быстро ездят, так быстро... (Тут котелок воскликнул: «Ага, он обвиняет их в быстрой езде!»). Нет, — возразил незнакомец, — но я не привык еще... к такой езде, в этом моя вина.

— Быстрая езда! — презрительно фыркнул шофер, усаживаясь на место. — И двадцати верст в час не шли!

Толпа, потерявшая надежду на скандал, начала редеть. Владелец автомобиля всучил, наконец, свою карточку городскому и, ворча под нос на всяких «пропойц» и «проходимцев», уселся в автомобиль. Машина запыхтела и двинулась.

Через минуту незнакомец со своим сундучком и я остались одни. Так как он продолжал рассеянно озираться и ему грозила опасность снова попасть под какой-нибудь экипаж, я осторожно взял его под руку и отвел на панель. Он с благодарностью посмотрел на меня и затем спросил с скромным достоинством:

— Милостивый государь мой, не знаете ли вы какой-нибудь приличной гостиницы, где бы я мог остановиться?

— Гостиницы? Какой: подороже или подешевле? Затем... есть ли у вас паспорт? — прибавил я с сомнением.

Он с испугом посмотрел на меня.

— Паспорт?

Затем усмехнулся горько и болезненно.

— Боюсь, что мой паспорт... не годится, — отвечал он.

Вот тут-то и пришла мне в голову странная мысль, которая впоследствии меня самого немало изумляла. Я решил

пригласить незнакомца к себе. Надо сказать, что я занимал квартиру на окраине Васильевского острова с отдельным ходом; прислуги у меня не было, так что вопрос о паспорте меня мало беспокоил.

Но почему мне не пришла в голову мысль, что предомной просто какой-нибудь проходимец, преступник или сумасшедший — я положительно не знаю. Вероятнее всего, что вид этого субъекта с изящными манерами и благородством на лице, попавшего в неприятное положение, вызвал во мне сострадание. Так или иначе, но я твердо высказал незнакомцу свое приглашение. Он с жаром и многословно поблагодарил меня и за приглашение, и за «покровительство» и принял предложение. Затем прибавил с достоинством:

— Относительно денежных средств моих, милостивый государь, прошу вас не сомневаться, а равно и относительно моего происхождения. Говорю вам о сем, видя и в вас со своей стороны человека высокопоставленного. Хотя я сейчас и попал в беду, но, смею вас заверить, человек я не бедный и благородного звания.

Удивляясь витиеватости его речи, я предложил ему сесть на извозчика, и мы покатали на Васильевский остров.

II

Для меня сейчас многое в моем собственном поведении в тот вечер кажется нелогичным. Не говоря уже о странности моего приглашения, не могу понять, как костюм гостя не навел меня тогда же на правильную догадку. Я объясняю свою недогадливость исключительно теоремой Фермата. Действительно, перед самой роковой встречей с незнакомцем я, как нарочно напал на очень интересную формулу для выражения разности равных степеней двух величин. Стремление моего мозга поскорее вернуться к этой формуле объясняет невнимание к дальнейшим словам, поступкам и костюму моего спутника.

А костюм этот был очень интересен. На госте были высокие сапоги с отворотами, узкие брюки и сюртук с высокой талией и очень широкими фалдами. Года два тому назад такие сюртуки были у нас в моде и назывались, кажется, «*cloche*», но такую утрировку этой моды я видел в первый раз! Затем у него был весьма высокий воротничок, обмотанный чем-то вроде белого кашне. Галстук же своей игривостью напоминал дамские кружевные галстучки. Всего занятнее была его шляпа: хотя я называл ее цилиндром, но правильнее было бы назвать ее усеченным конусом: при этом узкий конец конуса был повернут вниз, так что, если бы мысленно продолжить этот конус, когда шляпа находилась на голове, то вершина его пришлась бы примерно под подбородком. Таков был костюм моего незнакомца; прибавлю, что все это было грязно, запылено, изорвано и помято до последней степени.

На извозчике мой незнакомец вел себя, насколько я успел заметить, весьма странно. Он во все время нашей поездки издавал возгласы изумления и восторга по поводу самых обычных и неинтересных предметов. По-видимому, это был самый глухой провинциал. По крайней мере, его занимали и восхищали даже такие вещи, как пяти- и шестизэтажные дома, трамваи, автомобили, деревянная мостовая, электрические фонари, форма солдат и чиновников и проч.

Он ужасно надоел мне своими восклицаниями, тем более, что формула равных степеней, насколько я мог проследить ее мысленно, давала поразительно интересные результаты.

Временами восклицания его принимали характер какой-то нелепой сентиментальности; так, он с нежностью и восторгом протянул руки к памятнику Петра Великого и кричал какую-то чепуху, обращаясь на «ты» и в самом напыщенном тоне. Раньше, перед Казанским собором, он оставил извозчика и, пренебрегая опасностью снова попасть под автомобиль, побежал в скверик; став там на колени, он начал молиться с экспансивностью, едва ли удобной для Невского проспекта.

Зато Исаакиевский собор привел его просто в трепет; он издавал свои восклицания по поводу его архитектуры и поворачивался к нему на извозчике все время, пока мы не скрылись за углом набережной. Сильное впечатление на него произвела также и Нева — особенно пароходы на ней.

Желая быть вежливым и хоть несколько поддержать разговор, я спросил его:

— Вы, конечно, в первый раз в Петербурге?

Он посмотрел на меня с удивлением:

— В первый раз?.. Но я же жил здесь!

Наступила моя очередь удивляться.

— Вероятно, очень давно?

— Давно ли? — спросил он, и вдруг морщины горького страдания пролегли возле углов его рта. — Давно ли? — переспросил он. — О, давно! Очень давно!

И я имел глупость даже и в эту минуту ничего не понять и ни о чем не догадаться!

Моя квартира состоит из четырех комнат, из которых одна стояла совсем пустая. Едва мы приехали, как я поспешил провести его в эту свободную комнату, предложил ему диван, постельное белье, лампу, книги — и пожелал спокойной ночи. Сам же я уселся в кабинете за проверку своих выкладок. Я заработался до позднего вечера и, когда пошел спать, совсем забыл о своем госте.

III

Вы, может быть, знаете неприятное ощущение проснуться от того, что кто-нибудь сидит у вас в ногах и смотрит на вас?

Так я проснулся на следующее утро и увидел своего вчерашнего гостя, непринужденно развалившегося в кресле у моей постели и рассматривающего меня в лорнет! Я присел на постели и протер глаза, — до того нелепой показалась мне его фигура.

— Что на вас за костюм? — спросил я, забывая всякий долг гостеприимства и вежливости.

Незнакомец слегка покраснел.

— Я сам хотел извиниться перед вами, милостивый государь мой, извините, имени, отчества вашего я не знаю, — произнес он. — Костюм мой, действительно, порядочно поврежден и вчерашним случаем с этим... самокатом, да и предшествующими немногими, но тяжелыми днями испытаний. Кроме сего, он, по-видимому, несколько вышел из моды... Между тем, человек я вовсе не бедный. — Он достал из кармана большой кошелек старинной работы и высыпал на ладонь порядочную горсть золотых монет. — Я мог бы одеться получше и помоднее. По всем сим причинам хотел я просить вас, милостивый государь, рекомендовать мне вашего, уверен в том, отменнейшего портного, дабы он...

— Послушайте, да кто вы такой? — воскликнул я в недоумении, и в первый раз мелькнула у меня мысль о том, что это сумасшедший, и об ответственности, какая лежит на мне за то, что я его укрываю у себя. — Откуда вы взялись?

Незнакомец сразу изменился в лице. Опять те же болезненно скорбные складки появились у углов его рта. Он поник головой.

— Кто я?.. Может быть, вы думаете, что я сумасшедший или пройдоха, ворвавшийся к вам, пользуясь сочувствием вашим к воображаемым страданиям моим? — сказал он тихим голосом и с таким выражением, что мне стало стыдно моих подозрений. — О, нет, не думайте сего! Перед вами, может быть, несчастнейший из всех смертных. Я умоляю вас, не гоните меня! Мне некуда пойти. Я один в целом мире... Ваше участие и доброта для меня первыми были... о, за сколько лет! Посему поймете вы, быть может, что трудно мне с первых слов вполне откровенно изложить вам всю несчастную историю жизни моей. Ах, милостивый государь мой, сколь плачевна судьба моя, этому трудно поверить..

Он заплакал. Я вскочил, пожал ему руку и сказал, что ни о чем его не расспрашиваю и буду ждать, когда он сам

поведает мне свою историю. Он с жаром поблагодарил меня. После этого мы представились друг другу.

— Никита Иванович Серебrenиков, — произнес не без гордости мой гость, — столбовой дворянин... О, многоуважаемый мой Александр Николаевич! Смею вас уверить, не придется вам раскаиваться в доброте своей. Выкладки, замеченные мною у вас на столе, доказывают, что вы ученый, а для ученого могу я полезен быть некоторыми сведениями, кои у меня имеются, если только... наука за последние годы в стремительности своей моих скромных познаний не обогнала.

Я повел его в магазин готового платья и к парикмахеру, где он привел в порядок свою наружность. Когда он расплачивался, кассир подозрительно подбросил его монеты на мраморную подставку.

— Скажите, какие старинные монеты! — сказал он, но все же принял их.

Затем мой гость, выразив уверенность, что я человек занятой, попросил меня не стесняться им и дать ему побольше книг. Я все же, видя, как он плохо лавирует на улице между экипажами, предпочел довести его сам до дома и там оставил его, отдав ему ключ от библиотеки, а сам, действительно, поспешил в университет на лекции.

По возвращении я застал своего гостя за книгами. Он был буквально обложен ими. Но выбор их удивил меня немало. Пренебрегши моей библиотекой, которой я имею право гордиться, он предпочел ей кучу старых гимназических и университетских учебников, сложенных у меня в углу. Возле него были: физика Краевича, учебники элементарной химии, географии и космографии, курс политической экономии Морева, какой-то дешевенький «энциклопедический» словарь и т. п. Впрочем, отобрал он кое-что и из беллетристики, именно Пушкина, Толстого и Гоголя. В руках он держал учебник Иловайского.

Глаза его блестели, и весь он был возбужден.

— О, сколь вое это восхитительно и мудро! — закричал он, увидя меня и потрясая Иловайским. — Сколь великие и неожиданные шаги сделаны гением человечества! И как

должны мы гордиться и благодарить Провидение за его мудрость и благосклонность!

Затем он засыпал меня целым рядом вопросов, из которых я убедился, что он, будучи человеком не только неглупым, но даже и с развитым умом, был вместе с тем невероятно необразован и неосведомлен о самых простых вещах. Как ни старался он хитрить со мной, мне показалось, что он впервые слышит от меня об аэропланах, двигателях внутреннего сгорания, о радиі, х-лучах и т. д. Он не знал даже лучших произведений Горького, Андреева... даже Чехова и Тургенева! И все же...

Все же, если бы кто-нибудь спросил меня коротко и определенно тогда же, во время этого первого разговора, принадлежит ли он к классу образованных людей, я, не колебаясь, ответил бы — да. Но, конечно, представить доказательства этому мне было бы нелегко. Впрочем, кто определит точно, что мы, собственно, понимаем под «образованным человеком»?

В конце разговора, однако, он мне дал некоторые доказательства того, что он, по крайней мере, человек мыслящий. Разговор наш коснулся того, насколько ускорился темп жизни благодаря изобретениям последних десятков лет в области передвижения и сношения людей.

— Выходит, что благодаря этому жизнь людей стала длиннее, — сказал он. — Ведь мера жизни суть переживания людей, а жизнь сама есть движение... Как вы, Александр Николаевич, понимаете относительно времени и пространства? Суть ли понятия сии, действительно, явления существующие, или не больше, как одно воображение человеческое, для удобства понимания нами мира, нам Провидением преподанное?

Его вопрос невольно напомнил мне Канта, и я не без сомнения и колебания спросил его, читал ли он кенигсбергского философа. Он слегка запнулся и ответил грустно:

— Образование мое остановилось на некоторой ступени... благодаря причинам, не от меня зависевшим. Вы видите, что я не читал ни сочинений Канта, ни многих других достопримечательных сочинений. Но я надеюсь при помо-

щи вашей пополнить сии пробелы моего образования. Я также хотел бы многое и посмотреть, например, аэропланы. Помогите мне в этом...

Видя его расстроенное лицо, я, конечно, обещал ему, а он с своей стороны подтвердил свое обещание рассказать мне через несколько дней историю своей жизни.

На следующий день мы бродили с ним по Петербургу, и я должен был бы обладать прямо энциклопедическими познаниями для того, чтобы удовлетворить его любопытство. Он интересовался буквально всем: кладкой рельс при стройке домов, машиной финляндского пароходика, эстампами и рисунками в окнах магазинов, электрическими трамваями, архитектурой зданий, магазином кустарных изделий, артиллерией, Государственной Думой, фасоном брюк, устройством земств, деятельностью Крестьянского банка и т. д. Киноматограф, в который мы зашли, привел его буквально в восторг и изумление. Когда мы вышли из него, он потер ладонями виски и воскликнул с энтузиазмом:

— Сколь поучительно зрелище! Как сие гениально задумано и как чувствительно на полотне разыграно!.. Позвольте просить вас направиться домой, ибо зрелище сие до глубины души потрясло меня.

Дома Серебренников тоже не терял времени: он читал, а если я был дома, то забрасывал меня вопросами. Чтением его руководил я, но он вносил поправки. Некоторые книги он отвергал вовсе, как слишком трудные. Так как иногда это были довольно доступные издания, то мне пришлось на первое время предложить ему просто школьные учебники.

Так прошло три дня. Несмотря на то, что он отнимал у меня порядочно времени, он ничуть не тяготил меня. Наоборот, мне доставляло даже удовольствие беседовать с ним, так как мои рассказы возбуждали в нем неподдельный энтузиазм.

Он понемногу приспособлялся к петербургской жизни, научился не попадаться под трамваи и не выражать свои чувства на улице в излишне экспансивной форме, так что я решался отпускать его иногда и одного. Обедали мы с ним вместе в маленьком ресторанчике на Васильевском ост-

рове. Там, однажды, не обошлось без курьеза. Дело было в пятницу. Когда нам подали суп (помнится, какое-то мутное консоме), он вдруг с гневом отодвинул тарелку и накинулся на лакея:

— Что ты нам подал, болван? Или ты не знаешь, какой сегодня день? — закричал он. — Слава Богу, ты имеешь дело с православными христианами, а не с мухомеданами какими-нибудь... Поддай сейчас же уху!

Пришлось ему ждать ухи, и он с большим удивлением и даже, кажется, отвращением смотрел на то, как я ел мясо.

IV

Дня через три после его появления у меня он однажды вечером спросил меня, свободен ли я и хочу ли сейчас выслушать его историю.

Я не был свободен, но он так заинтересовал меня, что я поспешил предложить ему кресло и приготовился слушать. Он был настроен особенно грустно и начал так:

— Помните вы тот костюм, ту... шляпу, в которых вы меня встретили впервые? Этот фасон платья носили прежде, он тоже считался модным когда-то. Не вспомните ли эпохи, когда носили такой цилиндр и такие... жабо?

Я ответил ему взглядом недоумения.

— Я помогу вам: было это в начале девятнадцатого столетия. Не правда ли, сколь смешно это платье, попав в современную вам эпоху? О, над ним немало посмеялись в Петербурге! Представьте же себе, что вместе с платьем попал бы сейчас в Петербург и человек того времени. Во сколько раз смешнее показался бы он!

Слова его были странно выразительны, а глаза — полны горечи.

— Не бойтесь, я не сумасшедший! Я дам вам в этом позднее доказательство научное. Перед вами сидит человек с столь странной судьбой, какой не испытал, вероятно, никто

до меня. Выслушайте же историю, которая поистине покажется вам сказкой или бредом безумного. Я родился в 1775 году.

Словно, не замечая моего изумления при этой дате, странный незнакомец продолжал:

— Отец мой, столбовой дворянин, был, к сожалению, беден. Это соединение бедности и благородного происхождения послужило источником всех моих бедствий, так как я не был приучен к труду, а средств без сего не имел. Пропуская всю историю моей жизни до 1809 года, сообщу вам, что в том году я жил в Петербурге и состоял на службе гражданской, где с появлением великого Сперанского многие ожидали крупных и важных реформ для нашего отечества...

Он вздохнул и промолвил, похлопав рукой, по учебнику Иловайского.

— Отсюда я узнал, что реформы были прерваны посредине вместе с опалой великого человека. И конец царствования Благословенного Александра был омрачен реакцией и усилением ничтожнейшего Аракчеева. Такова превратность судеб! Даже и Наполеон, сей величайший из гениев, понес должное. Изменив тем принципам свободы, равенства и братства, коим призван был служить, сам пал позорно на Св. Елене...

Для того, чтобы понять, с каким изумлением, с каким бесконечным интересом смотрел я на этого человека, нужно представить себя на моем месте: видеть человека, современного Наполеону, который о его конце узнал из учебника Иловайского!

— Да, я понимаю изумление ваше, — сказал он с улыбкой, но грустно. — Теперь вы, может быть, поймете и мое состояние три дня тому назад: ведь это был мой первый день в двадцатом столетии! Впрочем, разрешите мне продолжать, — перебил он сам себя.

— Для лучшего устройства карьеры моей посоветовали мне сделаться братом масонской ложи: там можно было встретиться с могущественнейшими мира сего... И я, през-

ренный, единственно с сей целью, действительно, поступил туда! И сколь я был за это наказан!

В петербургской ложе в то время был некий брат, фамилия которого была граф Трезор. Он был таинственнейший из людей. В ложе пользовался он влиянием громадным и был несказанно богат. Познакомившись со мной, он подарил меня дружбой, которую в то время я высоко ценил. Он помог мне, действительно, в устройстве карьеры моей, и через него имел я случай даже лично быть представленным Сперанскому. Но, к сожалению, он на этом не остановился, а пригласил меня бывать к себе в дом. Сей граф был ученейший муж нашего времени и великий философ. Если он вам не известен, то потому лишь, что все научные занятия свои и знания скрывал он в превеликой тайне. Но меня познакомил он с сей тайной, взяв клятву не открывать ее никому. Будучи ученым весьма во многих науках, преимущество отдавал он занятиям алхимией и химией, а также философией.

В сей последней глубина взглядов его была поразительна. Вы припомните, вчера спрашивал вас я о времени и пространстве. Интересовало меня, как наука смотрит на предмет сей в настоящее время. Вопрос о сем касается близко моей истории, и я изложу вам коротко, что разумел об этом граф Трезор. Он говорил, что не знаем мы мира таким, как он есть на самом деле, но лишь как свидетельствуют о нем чувства наши, как принимает их разум наш. А последние могут постигать мир лишь в пространстве и времени. Но существуют ли действительно пространство и время, — сего не знаем. Граф склонялся к тому, что их на самом деле нет, а есть только одно, что он называл: «энергия». Когда она в состоянии действующем, в движении, мы ее воспринимаем во времени, а когда в покойном, то — как тела, в пространстве... Я сам не философ, и потому трудно мне изяснить вам вразумительно мысли графа Трезора.

— Продолжайте, прошу вас, — воскликнул я с интересом.

— Вы поняли? — удивился Серебrenиков. — А я так весьма плохо усваивал сию метафизику... Далее Трезор гова-

ривал, что если бы был способ остановить всякое движение, то остановилось бы и время. Таковы были главнейшие его взгляды на время и пространство... Он также говорил, что всякий предмет, и человек в том числе, из мельчайших частиц состоит, которые суть не частицы, а как бы центры сил.

Рядом с философией занимался он, как вам говорил я, алхимией и искал философского камня. И вот однажды он сообщил мне, что в поисках за золотом он, работая над раствором одного известного только ему металла в азотной кислоте, нашел новое простое тело, коему дал имя «Трезорий». Сей «Трезорий» имел примечательнейшие свойства, а именно: *он исчезал нигуда*. Если его взять в закрытой колбе, например, один лот, отвесив количество сие весьма тщательно, то через некоторое время весила колба меньше. Единственный способ сохранить это вещество без улетучивания был: поместить в бутылку из того металла, из коего добыл граф «Трезорий». Куда же девалось таинственное сие вещество? По мнению графа, уходило оно из энергии покойной в энергию действующую и при сем переставало материей быть, становясь силой. Но не это еще самое примечательное сего вещества свойство, а то, что оно могло остановить всякое движение вокруг себя, не портя этим, однако, ничуть предметов. Изрядно поработав в лаборатории над сим веществом, сообщил мне граф затем, что теория его об остановке времени себе подтверждение во вновь открытом веществе находит и, наконец, предложил однажды испытать чудодейственное вещество. «Трезорий» оказался белой жидкостью, довольно заметной. Приближая ее к различным частям тела, можно было вызвать временный паралич сих частей. Она тушила своей близостью огонь, останавливала часы заведенные. Едва же ее уносили, как все восстанавливалось по-прежнему. Поднося ее к мозгу, человек как бы терял сознание, незаметно для него самого. Можно было просидеть час с компрессом из сей жидкости на лбу, и час казался мгновением. Таков был волшебный «Трезорий»!

Граф предложил мне сделать более сложный опыт с «Треэорием», пробыв год целый в ящике с полыми стенками, в которые налит был бы «Трезорий». Покорно поблагодарил я, но отказался, сославшись на службу. Граф усмехнулся (о, зачем я тогда не понял сей адской усмешки!), но ничего не сказал.

Однажды он предложил мне поехать к нему в имение на охоту. Было сие летом. Я спросил, где его имение. Оказалось, что оно в Финляндии. Я заинтересовался, ибо недавно присоединенная страна сия казалась мне, как и всем, чем-то незнакомым и весьма чуждым. Он пояснил мне, что сам он — швед по происхождению, почему и имение его в том крае, и весьма настаивал на приглашении. Пришлось, чтобы не раздражать сего влиятельного человека, принять его приглашение.

Не стану описывать путешествие наше, длившееся на почтовых три дня, но скажу, что оно и послужило моей гибелью. Когда мы приехали в дом его, ночью он напал на меня с помощниками и, связав, снес на берег озера. Здесь, между пустынными скалами, нашел он одну скалу, нависшую над водой, но внутри пустую, попасть в которую можно было только снизу, нырнув в воду. В этой скале, в пещере, был у него заранее поставлен ящик, наполненный «Треэорием». Он впихнул меня в ящик и сказал:

— Вот вам свечка и спички. Вот ящик, в котором найдете вы состояние, чтобы прожить безбедно. Когда вы отсюда выйдете, не знаю. Во всяком случае, мы с вами никогда больше не увидимся. Желаю вам счастья.

Затем щелкнула крышка ящика, и я упал навзничь. Меня охватил ужас. «Трезорий», прежде всего, подействовал на ноги, так как они ближе всего к нему находились. Затем наступил паралич рук, языка...

Мне показалось, что я лежал не более полминуты, когда почувствовал, что ко мне возвращается возможность управлять органами своими. Попробовал я шевельнуть рукой, ногой. О, чудо! Хотя и плохо, но действовали они. С каждой секундой ко мне прибывали силы. «Трезорий», по-видимому, действовать перестал. Я поспешил зажечь свечку

и прежде всего посмотрел на брегет свой: он шел и показывал четверть второго; нападение на меня было сделано в половине первого; немало времени прошло, пока дотащили меня до озера и втолкнули в ящик. Следственно, мог я быть в ящике не более нескольких минут. Затем я осмотрелся. Ящик, в коем находился я, был закрыт крышкой, открыть которую труда не представляло, ибо она не имела затвора. Но я провозился с крышкой почти час времени. Оказалось, что была она весьма заржавлена; меня только удивило, как с ней легко справлялся граф, который был слабее меня несравненно. Затем нырнул я в воду, не забыв прихватить с собой ящичек, и выбрался из пещеры тем же способом, как и попал в нее. Опять удивило меня, что вода была весьма холодна, в то время, как несколько минут назад она показалась мне совсем теплой.

Я высушил по возможности платье свое и прежде всего ознакомился с содержимым ящика. В нем оказалось целое богатство, состоявшее из золотых монет и драгоценных камней. Кроме того, была в нем бутылка, сделанная из незнакомо металла с жидкостью. Раскупорив ее, я убедился, что это был «Треэорий». С ящиком под мышкой отправился я в путь, сам не зная куда, по незнакомой стране.

Пришлось мне идти не очень долго, пока не повстречал я одного чухну на тележке. Я показал ему золотую монету и сказал: «В Петербург! На почтовую станцию. Понимаешь? В Петербург!» Помню, что при этом у меня мелькнула мысль: «Как удивятся сослуживцы мои, когда меня увидят в Петербурге ранее конца моего отпуска». Чухонец меня не сразу понял. Но вдруг закивал головой и сказал:

— Понимай! Станция! Понимай!

Я обрадовался, что натолкнулся на такого, что знал хоть одно русское слово, и полез на тележку. Тележка была очень удобная, дорога неблизкая, ночь темная и не теплая, и я задремал.

Каково же было изумление мое, когда я проснулся! Проклятый чухонец подвез меня к какому-то большому деревянному зданию, вовсе не похожему на почтовую станцию, которую накануне я проезжал. Пришлось выйти здесь, так как

этот дом напоминал хоть отдаленно станцию, а меня никто кругом, ни сам возница не понимали. Я прошел через станцию, ища, кому бы заказать лошадей, и вышел на большую, длинную крытую веранду. По ту сторону ее тянулись на земле штук шесть каких-то длинных и узких железных полос; полоски сии уходили вдаль в обе стороны, насколько я мог их видеть.

Недоумевая по доводу странных полос сих, прошелся я по веранде, как вдруг услышал за спиной странный шум, который быстро усиливался. Оглянувшись, обомлел я от ужаса: прямо на меня неслось что-то чудовищное, огромная, длинная адская машина или какое-то колоссальное трехглазое чудовище. Я притаился к стене; чудовище с дьявольским шумом и грохотом пронеслось мимо меня и остановилось около веранды. Когда я поднял глаза, то увидел, что передо мной стоит ряд огромных, богато убранных и ярко освещенных внутри карет. Даже и тут истина еще не открылась глазам моим! «Финляндия сделала какое-то колоссальное открытие», — промелькнуло в мозге моем, еще не очнувшемся от пережитых впечатлений.

Я стоял, прислонясь к стенке, когда ко мне подошел возница мой и человек с голубой фуражкой на голове.

— Pietari? Petersburg? — спросил меня человек в фуражке, и я ответил утвердительно. В это время прозвонил где-то колокол заунывно три раза. Человек в фуражке и возница подхватили меня под руки и потащили к каретам. Я тупо смотрел на них; мне вспомнился граф Трезор... Я решил, что мое бегство открыто и сообщники проклятого графа схватили меня. В отчаянии решил я не сопротивляться. Меня подвели к одной из карет и довольно вежливо толкнули к пей. Я поднялся на небольшой балкончик кареты и вошел. Карета тотчас же дрогнула, шевельнулась и покати-лась вперед. Я все стоял и смотрел. Карета неслась все быстрее и быстрее, производя шум столь оглушительный, что казалось, у меня треснет череп. Кроме сего, мне было страшно холодно. Вдруг чья-то рука легла мне на плечо. Опять передо мной стоял человек в форменной фуражке и требовательным голосом кричал что-то по-фински. Я вспомнил

о золоте своем и решил попробовать от него откупиться. Я вынул горсть монет и протянул ему их с умоляющим видом.

Это оказался довольно порядочный человек. Он взял только одну монету и даже дал мне немало серебряных денег сдачи. Кроме сего, он сунул мне в руки какую-то бумажку, которую я потом, конечно, выбросил, и открыл внутреннюю дверь кареты, как бы приглашая туда. Я вошел. Там уже сидело и дремало несколько человек. Было несколько пустых мягких диванов. С робостью сел я на один из них. Человек в фуражке одобрительно покивал головой. Наши кареты ночью останавливались. На некоторых остановках в нашу карету входили новые пассажиры. Так время шло, и было уже около 3-х часов дня, когда на одной остановке, где кто-то закричал: «Териоки», вошло много народу. Все толкались, кричали, лезли друг на друга. Послышалась русская речь. Трое толстяков кинулись к тому дивану, где сидел я, протолкнули меня к самому окошку и заговорили между собой...

Один из толстяков вынул из кармана ведомости и, развернув, начал читать их. Я посмотрел на ведомости и удивился; то была незнакомая мне русская газета, какое-то «Новое время». Я бросил случайно взгляд на число и месяц ведомостей и уронил от страха из рук палку. На ведомости было напечатано: «26 октября 1913 года»!

Ужасная догадка, как молния, пронизала мне мозг: я провел в ящике пещеры не несколько минут, а сто лет! Но сие показалось мне столь нелепым, что я громко захохотал, к удивлению и негодованию толстяков. Я купил у проходившего газетчика номер какой-то другой газеты и с жадностью углубился в чтение ее. Но, о, ужас! Я ничего не понимал из читаемого, хотя было написано по-русски. Наконец, дочитался я до такой фразы: «Эта реформа не могла бы показаться чересчур смелой даже сто лет тому назад, когда Сперанский... и у меня снова помутилось в глазах, и я машинально бросил взгляд на число и месяц газеты; там стояло так же 26 октября 1913 г.

Тогда только упала завеса с глаз моих, и я окончательно понял ужасную действительность! О! Как мне было горь-

ко! Сколь бурным потоком слезы полились из глаз моих! Я, кажется, зарыдал, не обращая внимания на возмущение и смех соседей.

Как ужасно! Очевидно, я пережил всех моих современников. Где мои сослуживцы, мои друзья и покровители? Где коварный граф? Вероятно, и кости их уже истлели в земле. Я плакал, молился, стонал!

«Затем стал я думать. Как же все сие могло произойти? Как мог я не заметить столь огромный промежуток времени? Тогда я вспомнил страшные свойства «Трезория». Бесчувственное состояние, им производимое, незаметно для человека, ему подвергнувшегося. Но брегет? Очевидно, он стоял сто лет и пошел, едва действие «Трезория» прекратилось. Но куда же делся, наконец, сам «Трезорий»? Он в силу своего свойства постепенно улетучивался, переходил в действительную энергию, пока весь не исчез. Но почему он улетучивался так медленно, целых сто лет? И этому было объяснение: он помещался в футляре из металла, который сохранял его, и улетучивался, очевидно, лишь через какое-нибудь отверстие, случайно или умышленно оставленное ненавистным Трезором.

Сомнения быть не могло! Я пробыв в бесчувственном состоянии сто лет. Станные кареты, влекомые машиной по железным полосам, и костюмы окружающих, смешные и нелепые, — одни говорили лучше всяких доказательств. Я лишь смутно помню, что со мной было дальше. Как сквозь сон, мерещится мне какое-то огромное здание, куда мы приехали. Мы вышли из кареты и шли какими-то улицами. Сначала я не думал даже, что это Петербург, но вид Невы и Адмиралтейского шпица убедил меня в сем. Я был в странном состоянии возбуждения и полупотери сознания, как пьяный. Меня толкали, мне что-то говорили. Но я тупо относился ко всему. Помнятся мне гигантские здания, огромные магазины, какие-то бешено несущиеся и ярко освещенные кареты без лошадей...

Дальше... дальше меня задавили было, и я наткнулся на вас и увидел, наконец, первого доброго и действительного просвещенного человека в 20-м столетии...

Так закончил свой невероятный рассказ Никита Иванович Серебренников. Он сидел передо мной, жалкий, сгорбленный и подавленный своей ужасной судьбой. Я в искреннем порыве участия протянул ему обе руки и горячо пожал их.

— Дорогой Никита Иванович, — проговорил я, — не унывайте. Конечно, история поразительная, и жизнь ваша трагична и наводит на глубокие размышления, но не стоит приходить в отчаяние. Бог даст... заживете и в 20-м столетии не хуже девятнадцатого.

Он поднял на меня свои печальные глаза и пожал мне руки.

— Жить мне сейчас трудно, ужасно трудно! — сказал он печально. — Всякое знание дается мне теперь с величайшим трудом, в то время как вы владеете им, не замечая его. Может быть, лучшее, что я мог сделать, — это не просыпаться вовсе. Впрочем... скажите, поверили ли вы моей истории, Александр Николаевич?

— Поверил, — сказал я, но, видимо, что-то все-таки помимо моей воли дрогнуло в моем голосе.

— Пойдемте, я вам покажу сейчас «Трезорий», — сказал он решительно. Мы поднялись и пошли в его комнату. Там он открыл свой сундучок и достал из него странной формы бутылку. (Мельком я еще увидел в сундучке золото и драгоценные камни.)

Серебренников откупорил бутылку и налил на стол немного жидкости. Муха, ползшая мимо, вдруг остановилась и точно застыла. Я сбросил ее со стола, и она ожила на лету и с жужжанием улетела. Он предложил мне поднести палец к жидкости, и палец застыл, точно парализованный, хотя ни малейшего неприятного чувства при этом не было! Только, когда я отнял его и тронул рукой, он был холоден, как лед. Мы сделали еще два опыта: остановили и пустили в ход мои карманные часы, и — что всего поразительнее, — остановили текущую воду! Вода из перевернутого стакана

повисла, точно застывшая стеклянная масса. Но в это время «Трезорий» весь улетучился, и вода быстро полилась, вымочив мне жилет и брюки.

— Поразительно! — воскликнул я. — Это перевернет всю науку! Никита Иванович, вы мне дадите хоть немного этой жидкости для анализа?

— А вы верите моему рассказу... теперь? — ответил он вопросом на вопрос.

Я горячо заверил его.

— Конечно, дам с удовольствием, сколько хотите! — сказал он.

Было уже два часа ночи, и мы были сильно утомлены. Поэтому решено было опыты над «Трезорием» отложить на завтра. С этим мы расстались и пошли спать... Ах, зачем все так сложилось? Зачем тогда же я не взял у Никиты Ивановича его бутылку?

VI

На следующий день у Никиты Ивановича с утра сильно разболелись зубы. Как я ни желал поскорее приступить к опытам над Трезорием, но пришлось мне вести его к зубному врачу.

Не буду рассказывать, с каким восторгом и благоговением отнесся Никита Иванович к самому зубному врачу и к бормашине и к кокаину... Когда мы возвращались домой, Серебренников вдруг заметил на противоположной стороне живую рекламу, — ряд людей, несших буквы: К, И, Н, Е, М и т. д. Это привело его в такую веселость, что он, не слушая меня, бросился на другую сторону. В это время из-за угла выскочил трамвай. Один момент... и он был под ним! Я бросился к несчастному... Голова почти была отрезана от туловища тяжелым вагоном. Он даже не вскрикнул перед смертью. Так окончил свою жизнь этот человек, проживший 137 лет...

Начал собираться народ, показалась полиция. Я решил

скрыться. Помочь было уже невозможно, а неприятности я мог получить немалые. Незаметно я смешался с толпой и поспешил домой. По пути я с грустью вспоминал беднягу, к которому успел привязаться за четыре дня нашей совместной жизни.

У меня было только одно утешение. Если умер Никита Иванович, то «Трезорий» был жив!

Придя домой, я бросился к сундучку Никиты Ивановича; я схватил бутылку и хотел бежать в университет в лабораторию. Второпях я не заметил, что бутылка не очень хорошо закупорена. Пробка от толчка соскочила, и несколько капель жидкости попало мне на руку. Пальцы моя бесильно разжались, и не успел я подхватить бутылку, как она была уже на полу. Драгоценная жидкость быстро разливалась по полу. Я хотел броситься подбирать, спасти то, что еще можно было спасти: ведь для анализа требовалось так немного! Но вдруг колени мои задрожали, и я упал на пол.

Я не мог шевельнуть ни одним членом, не мог крикнуть, а жидкость быстро улетучивалась. Все продолжалось не более получаса (которые мне показались мгновением). Когда я поднялся на ноги, ни в бутылке, ни на полу не было уже ни одного атома белой жидкости.

Я в отчаянии заплакал! Но и слезы не могли помочь: «Трезорий» навсегда погиб для мира... быть может, и к лучшему?

Кто знает, что случилось бы, если б люди получили возможность засыпать на сто лет? Не привело ли бы это к повальному бегству всех более чувствительных к страданиям жизни людей — из современной жизни в будущее? Не вызвало ли бы это новых несчастий и катастроф? Не разрушило ли бы семей и других уз, соединяющих людей? Не лучше ли в самом деле, что «Трезорий» погиб?

Последним моим действием, имеющим касательство к описанной мной истории, была анонимная отсылка одному благотворительному обществу ящика с золотом и бриллиантами. Впрочем, если вы читаете газеты, то, вероятно, уже знаете об этом нашумевшем пожертвовании.

А. Числов

КОВЕР-САМОЛЕТ

Князь Пермский был частым гостем антиквара Бутылкина и потому пользовался особым со стороны последнего почтительно-фамильярным вниманием. Когда князь вошел в тесно заставленную старинной мебелью лавку, Бутылкин, тотчас же передав двух дам, покупавших буфет красного дерева, своему сыну, сам направился к князю, в котором уважал не только постоянного покупателя, но и истинного знаатока и любителя.

Князь хорошо знал лавку Бутылкина; он уверенно лавировал между шкапами, столами и диванами, рассеянно обегая взглядом вещи, большинство которых ему было давно знакомо. Он зашел в лавку, как и всегда, не затем, чтобы купить что-нибудь определенное, а так, посмотреть, не появилось ли чего-нибудь новенького, интересного и «подходящего».

В лавке холодноовато и темно; князь двигается вперед быстро, так что Бутылкин еле успевает зажигать перед ним электрические лампочки. В одном месте Пермский заинтересовался столом-«бобиком», в другом долго и внимательно рассматривал кресло, вернее сказать, одну-единственную ножку, сохранившуюся от кресла.

— Петровское? — кратко бросил он.

— Говорят-с, а только ведь кто их знает, может, и врут, ваше сиятельство, — отвечал как будто и простодушно Бутылкин; он знал, что Пермский мебели почти не покупает: нет больше места в квартире.

Князь хотел уже пройти в специальное отделение бронзы и фарфора, когда взгляд его упал на небольшой шкафчик палисандрового дерева с инкрустацией. Форма шкафчика, высокого и очень узкого, а также художественная работа инкрустации заинтересовала его.

— А это что? — спросил он.

— А вот, не знаю, как понравится вашему сиятельству? Не то шкафчик-с, не то подставка для часов, — несколько неуверенно отвечал Бутылкин. Он только недавно купил

эту вещь, случайно и до нелепости дешево, но настоящей цены его не только не знал, но, к удивлению своему, даже и не «чувствовал», что с ним бывало редко.

— Вещь, кажется, новая, — схитрил князь, который, так же как и Бутылкин, не «понимал» шкапчика, — откройте-ка его.

Бутылкин открыл шкапчик. Полок в нем не было, но он доверху был наполнен какими-то проволоками и странно переплетенными между собой деревянными дощечками.

— Выньте-ка этот мусор, — приказал Пермский. «Если не подорожится, можно будет взять; вещь красивая и места много не возьмет», — подумал он.

— Не вынимается, ваше сиятельство, — не без лукавства отвечал Бутылкин.

— Не вынимается? — протянул Пермский.

— Никак нет-с, приделано прочно. Да вот, не угодно ли взглянуть, ваше сиятельство, шкапчик-то ведь разборный...

Бутылкин придавил кнопочку и затем нажал на боковые стенки; они подались, раздвинулись и весь шкапчик развернулся на скрытых в спинке шкапчика петлях; проволоки и планки, соединенные хитрой и замысловатой связью, пришли в движение, распространяясь во все стороны. Внизу шкапа выдвинулась какая-то деревянная подставка. Из шкапа получился довольно-таки странный аппарат, отдаленно напоминающий автоматические весы.

Князь смотрел с недоумением.

— Это что же за инструмент? — спросил он.

— Полагаю так, ваше сиятельство, что остатки часового механизма... а впрочем, не могу знать-с.

Князь потрогал пальцем проволоки. Работа была искусная и тщательная, но на часы не было вовсе похоже. Нечаянно князь рукавом задел один небольшой и скрытый сзади стерженок. Стерженек этот подался под его рукой. Желая понять смысл стоявшей перед ним странной машины, Пермский сильнее нажал пальцами стержень и вдруг ему показалось, что концы его пальцев точно срезаны (на концах) и покрыты кровью. В испуге он отдернул руку и быстро поднес ее к глазам, но, очевидно, тусклый свет лампочки, ви-

севшей под потолком. обманул его: на пальцах не виднелось ни малейшей царапины.

— Занятный механизм! — усмехнулся про себя князь. — Может быть, неудавшийся *perpetuum mobile* какого-нибудь изобретателя?.. Сложите-ка, Иван Прокофьевич, шкафчик. Во что вы его цените?

Бутылкин медленно складывал шкаф. Он колебался: заломить ли на всякий случай цену так, чтобы шкаф до выяснения настоящей его цены остался у него, или уважить постоянному покупателю: ведь, в сущности, вещь ему самому досталась почти задаром...

— Да что... если положите рубликов полтора, ваше сиятельство, так дадите десятку нажать Ивану Прокофьевичу, — отвечал он все еще неуверенно.

Князь тоже поколебался: полтора рублей за *шкап* давать не «стоило», — а механизм?.. Вдруг одна новая мысль озарила его. Он решился.

— Хорошо, я беру, — сказал он и только что хотел хорошенько рассмотреть шкаф, как вдруг сухой резкий голос за его спиной заставил его обернуться.

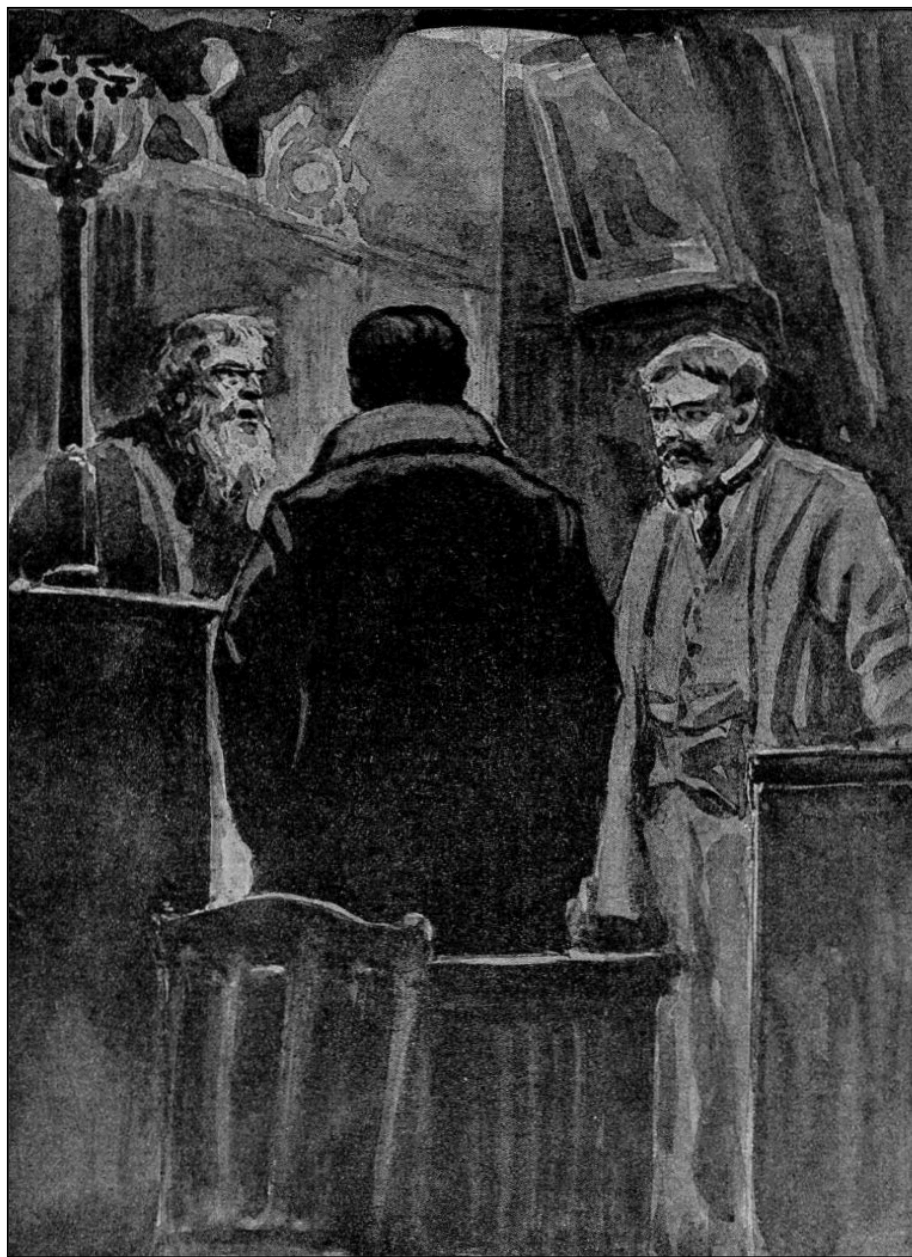
— Я даю сто семьдесят пять! — прохрипел высокий старик с седой растрепанной бородой и острым блестящим взглядом из-под косматых бровей. Он, видимо, только что вошел и перед этим шел быстро, так как сильно запыхался.

— Я даю больше, вещь за мной, — повторил он, кладя руку на шкаф.

Князь с холодным удивлением и даже несколько брезгливо посторонился. Бутылкин быстро оглядел старика с головы до ног, причем от него не ускользнул более чем скромный наряд незнакомца.

— Вещь уже продана, господин, опоздали-с, — сказал он, с достоинством закладывая руку за борт сюртука.

— Но я даю больше... И, кроме того... кроме того, шкаф этот... краденый! — вскричал старик с раздражением. Однако внимательный наблюдатель уловил бы и некоторую нерешительность в его голосе. Бутылкин тотчас же заметил в его голосе эту нотку сомнения; он был тонкий знаток чело-



веческих слабостей, а что касается до апломба, то его у него хватило бы на троих. Оконфузить, например, смутить или просто так уничтожить любителя-новичка, — на это он был большой мастер.

Заметив, что старик говорит не совсем уверенно, он тотчас решил, что или тот высказал свое обвинение зря, на удачу или, если вещь и была украдена, то доказательств па это у владельца нет.

— А вот за это обвинение, господин, не угодно ли вам ответить перед мировым судьей-с?! Мигом состряпаем протокольчик... Извините, ваше сиятельство, — кинул он вдогонку князю, который медленно направился к выходу, — извольте-с обождать в той половине-с... не угодно-с?.. как извольте... вещи я пришлю уже на квартиру, или еще лучше завтра-с. Простите великодушно-с, всякий, с позволения сказать, прощелыга, и позволяет себе, так сказать, оскорблять честного человека... Счастливый путь, ваше сиятельство...

Бутылкин отвернулся; выражение почтительной фамильярности слетело с его лица; осталась одна деловитость и презрительная строгость. Он двинулся к старику, но тот успел уже скрыться из лавки...

II

Соображение, которое заставило князя не пожалеть денег и купить шкапчик палисандрового дерева, было совершенно особого свойства и не имело прямого отношения к его коллекционерным наклонностям...

Князь не был женат и, как старый холостяк, имел свои маленькие чудачества. Если в провинции чудачки и люди странных вкусов одиноки, то в столице их всегда оказывается достаточно, чтобы составить общество или хотя бы кружок. Князь тоже принадлежал к одному довольно-таки оригинальному кружку. Каких только нет кружков в Петрограде?

Кружок, членом, председателем и даже основателем которого был князь Пермский, назывался «Общество любителей бесполезного в математике».

Общество это было весьма далеко от строго научного и систематического исследования и изучения. Члены кружка шли в данном случае по линии наименьшего сопротивления и интересовались тем, что давало пищу легкой и приятной игре ума, не выходя в то же время за пределы общеобразовательного курса. Хитроумные задачи на построения, теория чисел и другие отделы математики, которым посвящают свои последние страницы некоторые ежемесячные журналы — вот та область, которой увлекались члены кружка. Он имел даже свой юмористический устав, первый параграф которого гласил:

«Кружок имеет в виду исследовать лишь те отделы математики, которые не имеют практического приложения и абсолютно бесполезны».

Кроме математики, кружок интересовался еще шахматами и некоторыми другими играми, и в особенности одной военно-морской игрой, которая была так усовершенствована членами кружка, что, по мнению их, вполне уже приближалась к условиям настоящей стратегии и тактики.

Члены кружка были очень довольны своим обществом. Они собирались у князя регулярно раз в неделю по средам; это были все одни и те же лица, настолько сблизившиеся между собой за несколько лет, что, вероятно, распадение кружка доставило бы всем им немалое огорчение. Тут были офицеры, лицеисты, один студент, учитель гимназии, товарищ прокурора, два английских дипломата, популярный врач по детским болезням, несколько чиновников и один довольно известный шахматист-писатель. Душой кружка был сам князь, всеми любимый за свою мягкую деликатность и энтузиазм, с которым он относился к делам кружка.

Вот об этом-то своем кружке и вспомнил князь, когда решил купить шкапчик. «Пусть подумают над этим механизмом и сообразят, что это такое за штука!» — не без некоторого ехидства решил он. При этом он вспомнил ста-

рика, своего соперника по покупке шкапчика, и романтическая сторона приключения доставила ему немало удовольствия.

III

В ближайшую среду у князя не предполагалось начинать какой-либо новой игры, так как предшествующее военно-морское сражение, длившееся шесть вечеров и кончившееся вничью, всех утомило и всем надоело. Поэтому князь, взявший на себя распорядительскую часть, волновался уже, чем занять своих гостей, как вдруг за день до среды и через два дня после покупки шкапчика, он получил письмо от студента, члена кружка, в котором тот просил разрешения привести одно *постороннее* лицо, которое студент аттестовал как *великого, хотя и неизвестного* математика, работающего преимущественно «в области бесполезного». Незнакомец, по фамилии Клобуко, прочтет доклад о последовательности простых чисел и предложит им найденную формулу для всякого простого числа. Князь, хотя такой доклад показался ему несколько сомнительным, но не считая себя большим авторитетом в математике, решил все же согласиться на прием Клобуко.

По средам все собирались к 8-ми часам и притом очень быстро, так что к четверти девятого все были уже налицо, кроме студента и Клобуко.

Князь, прежде всего, повел гостей смотреть купленный им шкапчик, стоявший в гостиной рядом с кабинетом, где предполагался доклад и где уже была приготовлена черная доска и мел. Все столпились около шкапчика, и князь, еще и сам не очень-то разобравшийся в своем приобретении, долго копался, пока ему удалось, наконец, раскрыть шкапчик, превратив его в странный механизм, показавшийся при ярком свете люстры еще более непонятным, чем в лавке антиквара.

Все с любопытством рассматривали механизм и пробовали привести его в действие. Вдруг ближе всех вертевшийся около шкапчика лицеист громко воскликнул:

— Я обрезался, господа... и притом, кажется, очень сильно!

Его обступили. Он стоял бледный, отвернув лицо в сторону и поддерживая левой рукою правую.

— Извините, господа, я боюсь вида крови!.. Не откажите взглянуть, опасна ли рана?

Несколько человек поспешили с сочувствием и беспокойством осмотреть руку лицеиста, но с удивлением увидели, что на ней нет даже признака какой-нибудь раны.

— Вы, верно, укололись, а не обрезались? — сказал доктор. — Сильна ли боль и в каком месте руки?

Тогда лицеист нерешительно повернул голову и вдруг лицо его выразило величайшее изумление, а затем растерянность и смущение.

— Боль... да, боль, — сконфуженно проговорил он. — Как это дико!.. я почувствовал, конечно, и боль, но ведь я видел так же ясно и кровь, господа... кажется, здесь вот или здесь... Очевидно, я ошибся... Очень извиняюсь...

В эту самую минуту общего недоумения и вошли студент и Клобуко. Последний оказался весьма приличным на вид господином с бритым по-английски лицом и с черными с сильной проседью волосами. Одет он был довольно элегантно в смокинге. Он вошел и поклонился с манерой хорошо воспитанного иностранца. Хозяин познакомил его с членами кружка и предложил ему посмотреть таинственный механизм, но гость с ВИДИМЫМ недоумением рассеянно взглянул на шкапчик, потрогал два-три рычажка и затем, явно только из вежливости, прибавил:

— Да, кажется, весьма интересная штука, — и тотчас же спросил, здесь ли будет происходить доклад.

Через некоторое время все разместились в кабинете, и лектор начал свой реферат, говоря по-русски плавно и без всякого акцента, хотя, может быть, и чересчур правильно выговаривая для настоящего русского. Первая часть его доклада, посвященная истории и современному положению

в науке вопроса о простых числах, была малоинтересна.

Сосед князя, доктор, толстый и весьма глубокомысленный мужчина, пользовавшийся в кружке немалым авторитетом, наклонился к его уху и спросил:

— Какой национальности этот господин?

— Не знаю, — отвечал князь, — спросите студента, который его привел.

Оказалось, однако, что и студент тоже очень мало знает про старика, с которым познакомился случайно всего два дня назад на публичном собрании астрономического общества.

— Могу только прибавить, что он не поляк, — сказал студент.

— По выговору, и не хохол, — заметил доктор.

— И не русский, — добавил князь, — фамилия какая-то странная, я такой никогда не слыхивал. Кло-бу-ко... Не румын ли?

— Фамилия не румынская. Я думаю, скорее, не француз ли? Если читать, например, так: Клод Буко или Кло-де-Буко...

— Но ведь читается вовсе не так, да и пишется в одно слово. Может быть, итальянец или немец?..

— Выговор безусловно не тот. Я думаю, но манере, что он едва ли не англичанин.

— Или, наконец, португалец! — решил доктор.

Так окончился этот разговор, а докладчик между тем перешел к описанию того пути, по которому он шел в своих математических изысканиях. Лекция стала интереснее; в этом старике чувствовались недюжинные математические способности, чисто юношеская энергия, твердая настойчивость в достижении цели и терпеливая, свойственная скорее уже старости, выдержка при неудачах. На работу, оказываемую, были затрачены годы большого серьезного труда.

Лектор стал излагать саму теорию и выводить формулы. Мел *заскрипел* в его руках и перед удивленными и малопривычными слушателями начали появляться одна за другой огромные сложные формулы. Изумительно было, как этот человек мог удержать в памяти такое огромное чи-

сло формул, а писал он их, ни на секунду не останавливаясь, твердо, красивыми ровными буквами и цифрами. Все формулы постепенно стали объединяться в одну; буквы окончательно заменили собой цифры, и, наконец, общая формула была выведена, заняв собой на доске девять строк ровных мелких рядов букв. Тогда началось постепенное упрощение формулы; приемы, которыми это достигалось, были поразительны по своему остроумию и «математической красоте», как шепнул князю учитель гимназии. Одна за другой производились замены, соединения и сокращения, формула становилась все короче и короче. Наконец, осталась только одна строчка, заключавшая в себе простой одноклен.

— Милостивые государи, дальше этого упрощения я не пошел, — сказал старик со скромным достоинством и не без некоторой иронии, — но и эта формула уже является, кажется, достаточно ясной и простой. На этом я мог бы и закончить, но есть еще один вывод, который я хотел бы иметь честь доложить почтенному собранию в заключение. Если вы *прологарифмируете* это выражение, то для всех будет ясно, что оно, во-первых, охватывает все простые числа, а во-вторых, что числа эти *не беспрельны*. Последнее и величайшее простое число насчитывает в себе сто двадцать четыре знака; я не имел, к сожалению, возможности вычислить это число, чтобы его могли выгравировать на моем надгробном камне, как это сделано на памятнике одного ученого (Клобуко слегка улыбнулся), но я с уверенностью могу сказать, что это действительно *никем ранее не открытое простое число*. Я кончил, господа, и извиняюсь, что утрудил ваше внимание.

Единодушные рукоплескания были ответом лектору. Члены кружка, польщенные честью, которую оказал им Клобуко, избрав их кружок для своего поразительного доклада, повскакали с своих мест, с жаром потрясая его руки; кто-то пытался даже обнять лектора; князь настойчиво уговаривал Клобуко выпить стакан подогретого красного вина, «чрезвычайно хорошо действующего на утомленное горло». Только преподаватель гимназии сидел на своем месте, сжав

кулаками голову, и шептал про себя: «Но этого не может быть! этого не может быть!»

Князь упротер товарища прокурора, который считался в кружке лучшим оратором, ответить гастролеру маленькой речью.

— Неловко, дорогой, ведь он иностранец, а у них это принято. Надо выразить ему от лица всех, от лица Петрограда, от лица науки, наконец, черт возьми, что мы оценили значение его замечательной работы... Я, *mon cher*, велел к ужину подать шампанское... Лучше было бы, конечно, если бы вы ему ответили речью на его родном языке, но мы, к сожалению, не знаем, какой же его родной язык, в конце концов...

— И кроме того, я ни на одном языке не говорю, кроме русского, — мрачно добавил товарищ прокурора.

Впрочем, речь была им сказана. Оратор коснулся истории математики, причем что-то очень долго и невразумительно рассказывал о папирусе Ринда, об Эвдоксе и Никомахе, но говорил воодушевленно и с жаром, благодарил и прославлял лектора, увлекая всех своим энтузиазмом и, когда кончил, пот градом тек с его лица. Все зааплодировали и кинулись было снова пожимать руки великому математику, но... он во время речи незаметно исчез. Заглянули в гостиную, столовую, — там тоже его не было видно. Тогда кто-то догадался посмотреть в переднюю, — пальто и шляпа гостя исчезли. Очевидно, он удалился по-английски, не простившись.

— Скромность, благородная скромность! — воскликнул с энтузиазмом оратор.

— Очень уж вы его захвалили, — ядовито прибавил шахматист, страдавший завистью. И вся компания, разговаривая с большим оживлением, направилась ужинать.

IV

За ужином общий интерес к докладу Клобуко не осла-

бел. Наоборот, он перешел даже в спор. Оказалось, что один человек не разделял общего энтузиазма: это был педагог.

— Господа, это невозможно! — сказал он. — Я, конечно, не могу сейчас подробно рассказать, не будучи специально подготовлен, но мне помнится ясно, что кем-то доказало, что *простых* чисел бесконечное множество. Предела им быть не может.

— Да ведь он же вам доказал противное! — возразил студент.

— И притом доказал, как дважды два! — прибавил с волнением товарищ прокурора.

— Это-то и скверно, что доказал, — отвечал учитель прямо, — скверно, что он *доказал* невозможную вещь.

— Я не помню, чтобы в теории чисел было *доказано* кем-нибудь противное, — возразил кто-то.

— И я! И я! — присоединились голоса.

— А я помню, — горячился педагог.

Все заговорили разом. Тут вмешался доктор:

— Позвольте, господа, прошу минуту общего молчания. Я прошу нашего уважаемого коллегу, который сейчас выразил сомнение в правильности доказательства, которое прослушали девятнадцать человек, смыслящих, смею думать, в математике несколько больше четырех действий над числами любой величины, и которое, повторяю, эти девятнадцать человек... Кто-то что-то сказал? — вдруг перебил он себя.

— Нет, это кто-то, кажется, кашлянул...

— А по-моему кто-то, господа, стукнул дверь в соседней комнате.

— Там никого нет, — возразил князь. — Все мы налицо, лакей обносит шампанское...

— Господа, да не перебивайте же, пожалуйста, доктора! — заволновался студент. — Ведь это же важный вопрос, а вы о пустяках! Ну, чихнула кухарка, и дай Бог ей здоровья! Продолжайте, доктор.

Доктор откашлялся.

— Позвольте же, господа. Итак, по мнению нашего уважаемого оппонента, все мы, девятнадцать человек, не за-

метили неверности или фальши в доказательстве Клобуко. Так я говорю, господин профессор?

Учитель смешался.

— Нет, этого я не утверждаю... Но с другой стороны...

— Позвольте мне, в таком случае, задать уважаемому коллеге вопрос: ну, а сам он заметил ошибку?

— Нет, — растерянно отвечал педагог.

— В таком случае, — торжественно закончил доктор, — в чем же вопрос?

— В таком случае, — сказал князь, который хотел смягчить остроту спора, — позвольте просить вас, господа, взять ваши бокалы и выпить за здоровье того человека, который сделал величайшее математическое открытие двадцатого века. За иностранца Клобуко!

Все поднялись с мест, чокнулись и молча уже готовились прильнуть губами к бокалам, как вдруг из соседней гостиной раздалось громко и весьма уже недвусмысленно:

— А-пчхи!

Князь нервно отодвинул бокал, не выпив из него ни капли, и сказал, слегка запнувшись:

— Позвольте, господа, кто же это там может быть?

Он быстро направился в гостиную и повернул выключатель... И вдруг раздирающий душу крик его раздался отсюда. Испуганные гости стремительно бросились к двери, роняя на ходу стулья; кто-то из офицеров зацепил шпорой скатерть и, стянув ее угол, разбил с полдюжины тарелок и стаканов драгоценного сервиза. Но на это никто даже не обратил внимания; все стремились в гостиную.

Там бледный, шатающийся стоял князь и дрожащей рукой как бы указывал, куда надо смотреть. Сам он боялся, видимо, даже взглянуть на страшное зрелище.

В это время раздался второй крик, — на этот раз лицеиста.

— Я не могу смотреть на кровь... а-а-а!.. — вопил он.

Вытянутая рука князя указывала действительно страшное зрелище.

Посредине гостиной стоял злополучный шкапчик или, вернее сказать, половина шкапчика, ровно, как будто пилой

отпиленная; другая половинка отсутствовала. Уцепившись руками за какую-то часть механизма, стоял Клобуко и с напряжением, ясно написанном на его лице, упирался в какой то рычаг внутри шкапа. Но не в этом заключался ужас зрелища, а в состоянии самого Клобуко. Он был в шубе и шапке, но шуба его спереди была срезана с обоих боков от подмышек донизу; также спереди было аккуратно срезано все его платье и даже белье. Мало того, с него была кем-то аккуратно содрана или срезана вся кожа с шеи до ног! Спилена была вся передняя часть ребер, и глазам зрителей представилась ужасающая картина анатомированного живого тела: ясно были видны сердце, легкое, грудобрюшная преграда, желудок и кишки! Представлялось непонятным, как человек, подвергшийся такой ужасающей операции, мог стоять на ногах и как не вываливались из него его внутренности.

Это зрелище было настолько поразительно, что все застыли, как вкопанные, в тех позах, в каких кто был.

А затем события развернулись необыкновенно быстро и в такой последовательности. Анатомированный Клобуко сделал новое напряженное усилие, и рычаг механизма снова подался под его руками. Вдруг, на глазах у зрителей, исчезло его сердце, затем пропал желудок, большая часть кишок и передняя часть легких. Изумленные зрители мельком увидели, как исчезли и остатки легких и кишок; на мгновение остались пустые полости грудной клетки и брюшины и мелькнул спинной хребет. В то же время произошли поразительные вещи с головой великого математика. Пропал первым нос, открыв два зияющие отверстия, как у черепа; веки точно соскользнули с глаз, обнаружив глазные яблоки, исчезли щеки, и на публику оскалились зубы в неприкрытых челюстях. Когда лобная кость, точно удаленная искусной рукой хирурга, обнажила мозг, с педагогом началась истерика, а князь воскликнул:

— Уберите, уберите скорее эту гадость!

Но убирать скоро уже было нечего. Точно по волшебству, исчезли руки, ноги, остатки головы и туловища Клобуко. Секунду в воздухе продержалась пустая шуба, затем

пропала и она. Последним исчез шкапчик, который как будто растаял в воздухе: в середине гостиной не было больше ничего...

V

Несколько минут оцепенение владело членами кружка любителей бесполезного в математике. Зрелище перед их глазами промелькнуло так быстро, что многие детали не были ясно рассмотрены отдельными лицами. Впоследствии показания отдельных зрителей значительно даже расходились между собой. Некоторые, например, утверждали, что части тела Клобуко исчезали не последовательно, как было изложено выше, согласно рассказу большинства, а *все разом*. О длительности всего процесса мнения были тоже чрезвычайно различны и противоречивы. Доктор утверждал, что все было кончено в пять секунд, князь и педагог склонялись скорее к одной, двум минутам, а лакей, видевший также всю картину, полагал, что гость «все вышли в один момент».

Когда первый испуг и изумление прошли, члены кружка заговорили разом. Послышались разнообразные восклицания; кинулись рассматривать место, где только что стоял шкаф и анатомированный Клобуко, но не нашли ничего, решительно ничего. Больше всех волновались товарищ прокурора и доктор. Первый кричал о наличии несомненного преступления и требовал полицию. Доктор же поспешил закрыть все двери и приставил к каждой из них по человеку.

— Господа, — шептал он то одному, то другому члену, — значение зрелища, свидетелем которого мы только что были, для меня понятно.

Его обступили.

— Что такое? Что же это? Как можно понимать значение чуда? — раздались восклицания.

Доктор таинственно собрал всех потеснее и шепотом сообщил, что, очевидно, Клобуко известен секрет уметь делать себя невидимым. «Какая-нибудь мазь, изобретенная им или что-нибудь в этом роде», — пояснил он.

— Человек-невидимка Уэльса! — воскликнул студент.

— И вот, господа, несомненно, что господин Клобуко, какой-нибудь опасный авантюрист, по всем вероятностям, находится сейчас среди нас, но только в невидимом состоянии. Он слышит и видит нас и, может быть, в это самое время замышляет против нас или против человечества какое-нибудь дьявольское преступление.

Все так и раздалось в разные стороны от испуга.

— Невозможно в этом сомневаться! — продолжал безжалостный доктор. — Вы вспомните только героя Уэльсовского рассказа. Он ведь задумал, не больше ни меньше, как терроризовать и подчинить себе весь мир. Не знаю, каковы намерения господина Клобуко, но мне кажется, что мы не исполнили бы своего гражданского долга, если бы не схватили сейчас же преступника, который, очевидно, находится здесь же, в этой самой комнате, так как двери... бы-бы-бы... л-л-ло... лы-лы...

Ко всеобщему изумлению, речь доктора неожиданно перешла в глухое неразборчивое бормотанье, как будто кто-нибудь разом напихал ему полный рот каши. Доктор быстро махнул рукой перед носом, как бы силясь поймать муху, и тесно сжал зубы; даже лицо его покраснело... В то же мгновение раздался крик хозяина дома:

— Господа, помогите! Погибаю!

Когда вся публика, все более и более терявшаяся от происходивших перед нею чудес, кинулась к князю, то увидела, что утонченный и аристократически воспитанный князь, весь побагровев от натуги, отчаянно ковыряет у себя в носу.

— У меня что-то как будто выросло или появилось в левой ноздре! — воскликнул он жалобно.

— А у меня что-то постороннее было сейчас во рту! — прокричал доктор. — Как будто вырос второй язык или, еще вернее, кто-нибудь засунул мне палец в рот.

— Невидимка! — слышались голоса, но доктор запротестовал.

— Нет, господа, я закрыл рот, и если бы это был палец-невидимка, то я бы его, несомненно, откусил. Однако палец благополучно пробыл у меня во рту еще несколько секунд и затем спокойно и не торопясь удалился *неизвестно куда из закрытого рта*. Я нащупал языком даже ноготь на пальце...

К счастью, нос князя был освобожден так же скоро, как и рот доктора. Но тогда начались новые явления. Из карманов присутствующих начали таинственным образом выпрыгивать содержащиеся в них вещи: бумажники, кошельки, часы, носовые платки. Они появлялись на миг в воздухе, мелькали, исчезали, снова появлялись то тут, то там, иногда в каком-то диком, непривычном и как будто вывернутом наизнанку виде, иногда не целиком, а кусочками; показывался, например, неожиданно механизм закрытых часов, внутренность портсигара и т. д. Затем из закрытых кошельков стали сами собой вылетать серебряные и бумажные деньги; они выпархивали на воздух и затем частью падали на пол, как снежные хлопья, частью же исчезали, тая тоже, как снег. Скоро все вещи, как будто наскучив своим диким танцем в воздухе, полетели в общую кучу в углу гостиной. Затем пошли еще более странные вещи. В гостиной стоял книжный шкаф жакоб со стеклами — гордость князя. И вот на глазах у всех из *закрытого* шкафа одна за другой стали пропадать книги и затем с шумом падать в углу на пол.

Доктор сел в кресло, бледный, отирая пот с лица.

— Нет, это уже не невидимка, это что-то еще *хуже*, — пролепетал он. И все стояли ошеломленные, напуганные, чувствуя себя во власти какой-то неизвестной, непонятной и потому страшной силы.

— Господа, мы забыли совсем про шкафчик, — раздался надтреснутый голос князя. — Он исчез одновременно с Клобуко. Не в нем ли все и дело?

Никто ему не отвечал — так все были обескуражены.

В этот самый момент посредине комнаты на пол упал, неизвестно откуда взявшийся, большой толстый конверт.

Студент поднял его и машинально прочел:

«Его сиятельству князю Пермскому».

Князь так же машинально протянул дрожащую руку и хотел уже разорвать конверт, но доктор остановил его.

— Тут еще что-то написано карандашом в углу конверта, — сказал он.

Князь прочел:

«Прощайте, господа. Боюсь, что мое присутствие слишком сильно действует на ваши нервы. Поэтому расстаюсь с вами или навсегда, или очень надолго...»

В ту же минуту в воздухе, на высоте человеческого роста, появился череп, пощелкал зубами, как бы приветствуя присутствующих и... исчез.

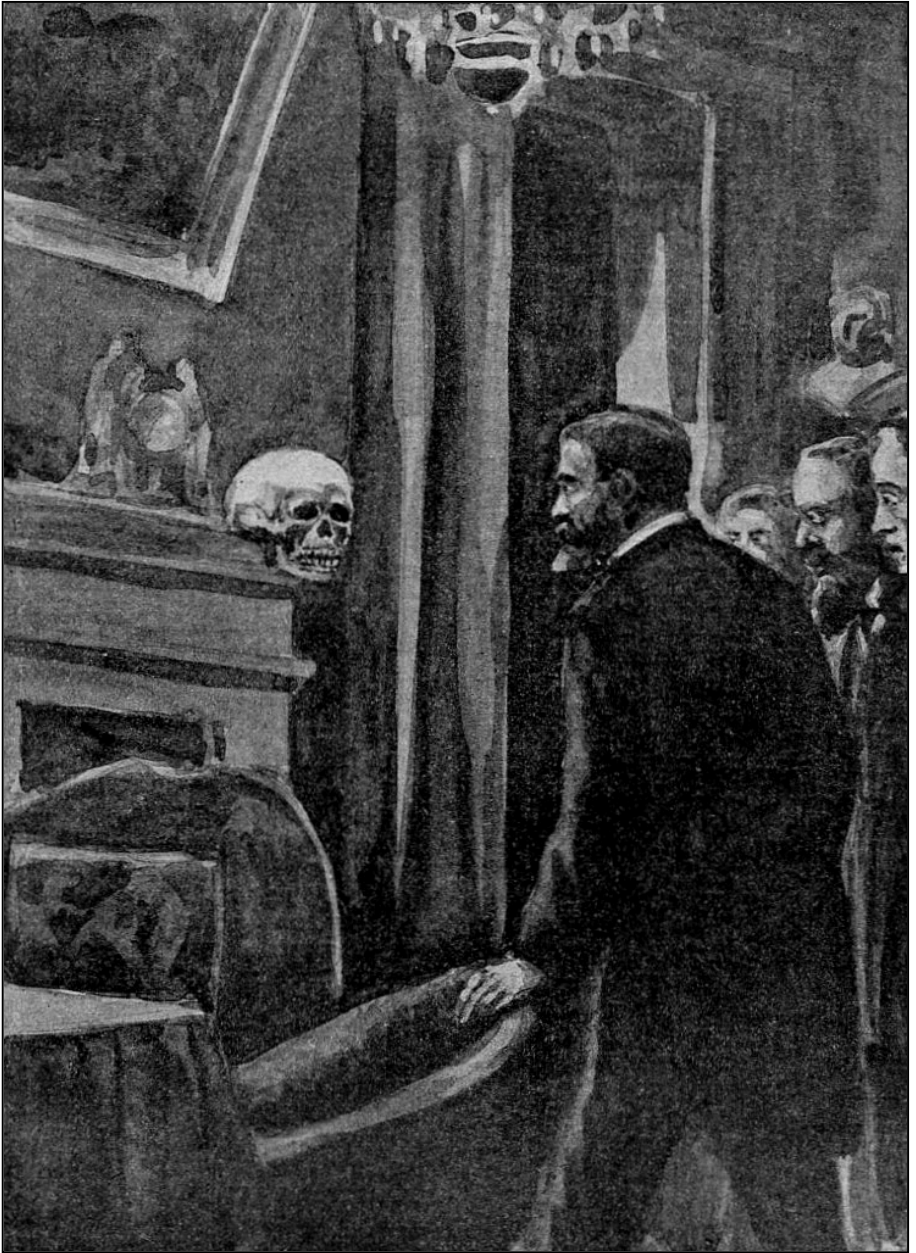
VI

Князь сидел за письменным столом, окруженный всем составом кружка любителей бесполезного в математике. Прошло уже более получаса, как чудесные явления в гостиной князя прекратились. Члены кружка значительно уже оправились от своего испуга и растерянности. Перед князем лежала обширная пачка листов бумаги, исписанных характерным почерком Клобуко.

Пермский прочел вслух:

— «22 марта 191* года»... Вчерашнее, кажется, число, господа?..

«Уважаемый куязь. Я очень извиняюсь за тот способ, к которому должен был прибегнуть, чтобы возвратить похищенный у меня мой аппарат. Заинтересовавший вас “шкапчик” действительно принадлежал мне, и антиквар, очевидно, купил его у вора. Так как вы не хотели уступить его мне за деньги, то я принужден взять его даром. К сожалению, теперь я уже лишен возможности вернуть вам ваши деньги, так как потратил их полностью на приобретение фрака



и шубы, которые вы на мне видели и которые куплены специально ради визита к вам; этот визит, впрочем, стоил мне также моей бороды и усов... Вы ведь, конечно, узнали меня, князь?.. Впрочем, все это неважно. Важно то, что аппарат, стоивший мне усилий и труда половины моей жизни, опять у меня. Не скрою от вас, что эта вещь была мне дороже самой жизни и, если бы попытка моя вернуть ее не увенчалась успехом, я, вероятно, покончил бы счеты с жизнью... Уважаемый князь, вы, конечно, и не подозревали, какая ценная вещь находилась у вас в руках? Удаляясь от вас, я попробую показать вам два-три юмористических опыта, которые могут быть произведены при помощи моего аппарата. По ним вы можете судить о том могуществе, которое дается моим аппаратом. Я мог бы, если бы захотел, ничем не рискуя, вынуть на глазах у всех из кладовых любого банка все содержащиеся в нем драгоценности; я мог бы вывести из самой крепкой и наиболее тщательно охраняемой темницы любого преступника, хотя бы тысячная стража стояла вокруг и смотрела на него, не спуская глаз; я мог бы похитить из закрытой шкапулки запертую в ней вещь, не открывая замка; я мог бы, наконец, князь, вынуть из вас почти без малейшего усилия ваше сердце, так что на теле вашем не было бы заметно ни малейшей раны или царапины и так, что кругом стоящие люди даже и не догадались бы, что с вами происходит! Могущество мое, князь, в условиях вашей или, вернее сказать, общечеловеческой жизни, как видите, довольно велико... Но не беспокойтесь, князь, я не употреблял и не употребляю его во зло ни вам, ни кому-либо другому. Скажу даже больше: я почти никогда не применяю действия моего аппарата в условиях человеческой жизни. Эта жизнь меня просто... не интересует. Мой аппарат открывает мне двери в иной... о! насколько более интересный, чем ваш, мир!

Да, князь, шкафчик, в котором вы изволили заинтересоваться только инкрустацией на крышке, довольно любопытная вещь. Я скажу вам, что это такое за машина (без больших научных подробностей, конечно)...»

Доктор перебил в этот момент чтение:

— Виноват, князь, здесь, кажется, что-то приписано карандашом на полях и помечено сегодняшним числом?

Князь приблизил письмо к лампе и прочел приписку:

«Да и трудно делать научно-математические разъяснения людям, которые так слабы в математике, как вы. Удивляюсь, как из двадцати присутствующих никто не заметил той умышленной ошибки в выводе формулы, которую я сделал сегодня в своем докладе. Успокойтесь, господа, ни мне и никому другому никогда не удавалось вывести формулы простых чисел... Но что просто-таки поразительно, так это то, как вы не заметили совершенно уже грубую фальшь в том утверждении, которое я себе позволил в конце доклада о *предельном* первоначальном числе! Такого числа нет, господа математики... Приписано Петром Клобуко 23 апреля 19** г.»

Члены кружка молча переглянулись между собой, а доктор со студентом прибавили:

— Так-с. Здорово.

Князь снова взялся за письмо.

— Прикажете продолжать дальше? — спросил оп холодно.

— Просим, просим! — с жаром отвечал учитель гимназии.

«Аппарат, которым вы так недолго и непроизводительно владели, князь, есть механизм, дающий возможность повернуть всякое тело, положенное на площадку внизу шкапчика, в направлении перпендикулярном или наклонном к пространству нашего мира... Вы не понимаете? Вам кажется, что я говорю математический абсурд?.. В таком случае, постараюсь изъясниться понятнее. Аппарат, названный мною «Ковер-самолет», есть *машина четвертого измерения*. При его помощи можно в любом месте и в любое время выйти из мира трех измерений и, следовательно, очутиться в том неведомом вам сверхпространстве, существование которого так легкомысленно отрицается человечеством.

Конструкция самого аппарата весьма проста, хотя далась мне далеко не сразу. Принципы его: свертело, построено-

ное на четырех взаимно перпендикулярных металлических стержнях, и несколько простых блоков; один из стержней и, следовательно, некоторая часть аппарата невидимы, так как всегда находятся в мире четвертого измерения. Таким образом, князь, покупая шкафчик, вы приобрели в нем не только то, что видели, но и еще некую невидимую часть, которая, конечно, и ускользнула от вашего внимания. Нажимая на один из рычагов, я привожу в движение систему блоков, которая поворачивает нижнюю площадку в направлении, которое мы назовем для простоты направлением четвертого измерения. Видите, как просто? Оговорюсь, впрочем, что проста лишь конструкция аппарата, но я, конечно, не стану утверждать, что просто было утвердить стержень в четвертом измерении или что это было достигнуто мною *исключительно научным путем*. Вообще говоря, весь аппарат дался мне недешево...

Аппарат четвертого измерения изобретен мною давно. Тридцать лет служит он мне верой и правдой. Я много пользовался им, особенно в первые годы. Тогда я проводил часто по несколько месяцев вне нашего мира и возвращался в него лишь на два-три дня, так только... чтобы посмотреть, стоит ли еще на месте наш старый грешный мир. Не скрою от вас, господа, что тот, потусторонний мир, казался мне интереснее нашего бедного, дряхлого и все еще наивного, как ребенок, мира; он неизмеримо разнообразнее его. Время в нем летит, как на крыльях. Мне казалось подчас, что я провел в нем какой-нибудь час или два, а возвращаясь в ваш мир, я узнавал, что прошло уже четверо суток! Так ускоряет ход времени богатство впечатлений... Впрочем, я бы хотел хоть несколько приподнять перед вами завесу, отделяющую тот мир четвертого измерения, в который вы так легко могли бы заглянуть, если бы заинтересовались в «Ковре-самолете» не только его художественной отделкой, но и другими, более существенными сторонами. Если у вас есть лишние четверть часа, то прочтите следующие страницы моего письма, представляющие из себя воспоминания о моем первом путешествии на «Ковре-самолете», восстановленные по старому дневнику; вы хотя отчасти позна-

комитесь при этом, князь, с тем, что такое мир четвертого измерения... Итак, разрешите начать эти краткие воспоминания?

Был пасмурный серенький денек, когда я, тридцатилетний уже, но еще не окончивший курса вечный студент и никому не известный неудачник, с торжеством и гордостью закрепил, наконец, последний винт в изобретенном мною аппарате.

Последнее время мне пришлось особенно много работать над изготовлением «Ковра-самолета», и я сильно переутомился, но, окончив его, я, вместо того, чтобы предаться отдыху или тотчас же использовать свое открытие и немедленно же заглянуть в новый мир, невиданный никем из людей... опустил, измученный, в кресло и, глядя на свою работу, как пьяница смотрит на рюмку, отдавая момент удовлетворения страсти, постепенно погрузился в глубокую задумчивость.

Странные мысли охватили мой мозг. Они мелькали и сменялись с лихорадочной быстротой, и я положительно не могу сказать, сколько времени просидел я так, рассеянный и глухой ко всему окружающему.

Я не мог бы записать ход моих мыслей в те часы, так они были сбивчивы, спутаны и, я бы сказал, даже безумны.

Вся минувшая жизнь промелькнула в моих мыслях быстро сменяющимися, но поразительно живыми образами. Так, говорят, бывает у человека перед смертью... Особенно ярко вспомнилось мне мое раннее детство, когда я, сын мелкого землевладельца далекой и малоизвестной в России горной страны, был еще маленьким мальчуганом. Я вспомнил старика-отца, мать, свои детские грезы... Я был ребенком очень мечтательным, князь, и фантазия моя уносила меня далеко за пределы нашего маленького домика и небольшой округи, составлявшей тогда весь мой мирок. Отец очень беспокоился по поводу моей мечтательности, которая казалась ему худым началом моей жизненной карьеры. Я помню, как часто его грустный взгляд останавливался на мне, когда я часами просиживал в своем детском креслице, отдаваясь своим детским грезам. Любимая моя мечта

в то время был сказочный ковер-самолет, на котором я улетал в своих мыслях и носился над миром, рассматривая с высоты птичьего полета синие моря, дремучие леса, огромные зеленые равнины, роскошные, блестящие золотом и пестрыми красками, города и ослепительно желтые, дышащие жаром, как печь, пустыни. Не помню, из каких книг или рассказов я черпал материал для своей фантазии, но знаю, что в мечтах моих я летал и над полярными, покрытыми льдом и снегом краями и над вечнозелеными тропиками; мой ковер-самолет летал даже над звездами и давал мне возможность заглянуть на жизнь чужих далеких планет...

Все эти мечты снова, как молния, озарили мой мозг в те часы, когда я сидел теперь уже перед реальным, созданным мною «Ковром-самолетом», готовясь к первому полету на нем... Все это и многое другое еще промелькнуло и снова ушло в глубину моего сознания, и я уже думал о другом, — о тяжелых годах отрочества и юношества. Мне вспомнился весь долгий мой труд по созданию «Ковра-самолета» и вся поистине нечеловеческая энергия и сила желания, с которыми я шел к своей цели.

Теперь я у ее порога. Не скрою, князь, что я далеко не чужд был грезам о славе, которую считал справедливой наградой за свой труд. В мечтах моего зрелого возраста стремление к признанию людьми моего открытия играло роль большую, чем это позволяет в настоящее время трезвая мысль старика. Я помню момент острого, почти непреодолимого желания кинуться к людям, рассказать, закричать громко на весь мир о своем открытии. Впрочем, это желание, как и многие другие в те часы, быстро и бесследно тонули в других мыслях и желаниях. Я не могу перечислить все мои чувствования: это была горячка. То я мечтал быть владыкой мира, то смиренно довольствовался ролью первого слуги человечества, верным и преданным его проводником, который вывел бы его, наконец, на светлый путь из бесконечного плутания в мраке. О да! я немало ждал, требовал от судьбы в то время... Впрочем, ни одно желание,

ни одна мысль не удерживались сколько-нибудь долгое время в моем воспаленном мозгу...

Не знаю, право, сколько времени просидел бы я в этой горячке в своей крошечной комнатке на мансардах, посредине которой стоял мой «Ковер-самолет», если бы одна мысль вдруг не промелькнула в моем мозгу. С диким ужасом я вскочил на ноги: мне почему-то показалось, что у меня вдруг сейчас отнимут мое сокровище, не дав даже и один раз заглянуть туда! Я закричал каким-то чужим голосом и с отчаянием, не помня себя, кинулся к аппарату. Я вскочил на площадку и со всех сил потянул ручку рычага...

И вдруг все сразу исчезло...

Трудно передать словами странное впечатление этого всеобщего исчезновения. Оно не похоже ни на внезапное наступление мрака, ни на обморок. Я не чувствовал в себе самом никакой перемены, да и свет не исчез, собственно говоря, в том смысле, как мы привыкли это понимать: не было черно кругом; скорее, какая-то серая туманная пустота охватила меня... Исчезло все вокруг меня: не только предметы перестали быть видимыми, но умолкли разом все звуки, пропал тяжелый запах непроветренной и закуренной комнаты и даже ощущение веса тела и давление площадки аппарата на подошвы ног — и то прекратилось. Я как будто повис в воздухе, и даже не в воздухе, а в той серой пустоте, которая охватила меня. Я был, казалось, один во всем мире.

«Этот странный переход от жизни к абсолютной пустоте страшно сильно подействовал на меня. Все волнение, вся горячка разом прошли и чувства тихой бесконечной грусти и одиночества охватили меня.

И в нашем мире я был одинок, но разве это было такое одиночество, какое я испытывал здесь?! Так глубока была моя печаль, что мне не сразу даже пришло в голову, что загадка, так влекшая меня к себе всю жизнь, была уже, по видимому, разрешена: я знал уже, что такое мир четвертого измерения; это была... абсолютная пустота! Но когда я, наконец, сообразил это, я просто не поверил такому решению вопроса. Этого не могло быть! Резким движением я обернулся, задев при этом рукой аппарат. Я не со-

образил новых физических условий моего существования; от легкого прикосновения аппарат так и рванулся из-под моих ног, как птица, в пространство, точно какая-нибудь страшная сила метнула его. Я свободно повис в воздухе и едва успел удержать рукой «Ковер-самолет». Он повис в том самом положении, как я его поймал, боком наклоненный вперед, нарушая все общепринятые представления о центре тяжести и о точке опоры. В мире четырех измерений, по-видимому, не существовало даже и притяжения...

Обернувшись назад, я увидел, однако, что я вовсе не так одинок, как думал, и что сзади меня оставался нетронутым весь наш старый мир... но, Боже мой, в каком странном виде! Я видел теперь не наружную, а внутреннюю сторону всех вещей. Не надо забывать, что я смотрел теперь на мир с такой стороны, с какой никто еще его не видел, рассматривал его как бы в разрезе. Действительно, точно какой-то волшебник рассек ножом все вещи и живые существа, бывшие передо мной. Я увидел как бы разрез нашего дома, внутреннюю часть своей комнаты, своего комода, закрытого ящика письменного стола, набитую волосом внутренность матраца, механизм стенных часов, даже внутренность моей кошки, которая, несмотря на такое ужасное состояние, очень весело пробежалась по комнате и вспрыгнула на стол. К несчастью, еще одним неосторожным движением я задел, очевидно, какой-то из предметов в комнате, так как и я и аппарат получили неожиданное поступательное движение и помчались с такой быстротой от мира трех измерений, что через секунду исчез из моих глаз не только мой дом, но и его окрестности, а еще через полминуты исчез весь мой старый мир с земным шаром (мельком я увидел огнедышащие недра его!) со звездами, солнцем и луной... И снова серая пустая мгла охватила меня на этот раз со всех сторон. Я решительно не знал, что предпринять, чтобы остановить или дать обратное движение «Ковру-самолету». Напрасно я шевелил руками и ногами. Изменялись только мои позы и положение относительно аппарата, но движение наше, по-видимому, не только не прекращалось, но и не замедлялось, унося меня все дальше и дальше от



мира трех измерений.

«Что меня ожидало в этом неведомом *пустом* мире?!

.
.

Вдруг впереди и несколько ниже меня мелькнуло сквозь серую мглу нечто еле уловимое и бесформенное, но все же, несомненно, отличающееся от окружающего серого тумана. Это нечто только чуть промелькнуло и тотчас же снова скрылось. Прошло несколько минут, раньше чем я, напряженно вглядываясь, снова увидел, на этот раз уже значительно отчетливее, огромную темную массу, как бы надвигающуюся на меня сбоку и снизу. Похоже было на впечатление человека, спускающегося на воздушном шаре в густом тумане к земле. Вот вдали как будто мелькнул контур какой-то скалы, вот... не силуэт ли это дерева или строения?.. Что-то, несомненно, надвигалось на меня... или я стремился к нему. Совершенно неожиданно увидел я под ногами землю. Туман начал постепенно, но быстро рассеиваться; сначала обнаружилось ближайшее, что меня окружало: деревья, кусты, покрытый травой склон; затем постепенно открылся горизонт. Я находился над довольно высоким холмом; передо мной расстилалась очаровательная долина, окаймленная все возвышающимися горами; вдали, на вершинах их белел снег. Долина, к моему изумлению и радости, не оказалась пустынной. На берегу реки, казавшейся от меня тонкой ленточкой, виднелся сквозь клочья тумана утопающий в зелени небольшой серый домик с красной крышей.

Туман все рассеивался, уступая место ярким солнечным лучам. Внизу, у домика, я заметил стадо каких-то, казавшихся от меня муравьями, животных и даже почудилось мне, как будто двое людей на мгновение показались в дверях домика.

Вдруг глубокое волнение охватило меня: я *узнал* картину, которая была перед моими глазами. Это было невоз-

можно, невероятно, дико!.. но долина, дом и стадо, на которые я смотрел — были мой дом, моя земля и мои овцы! Я находился над землей, где протекало мое детство. Следовательно...

— Отец! мать!.. — с неудержимой силой закричал я.

И в то все мгновенье я почувствовал, что стою на земле. От тумана не осталось и следов. Дивный солнечный день сиял надо мной. Домик моего отца, *мой* домик блистал передо мной во всем великолепии своих свежих красок. На лугу паслись густошерстные овцы; собаки лениво подремывали на солнце. Тут же степенно прохаживались наши славные низкорослые лошадки. Я рванулся вперед, потянув за собой аппарат, но тотчас же почувствовал в руке его тяжесть. Здесь закон тяготения действовал, очевидно, как и в мире трех измерений, а мой аппарат весил более двух пудов. Я с трудом поднял его на плечи. Идти с такой ношей было нелегко...

Солнце село за облака. Картина перед моими глазами потускнела, а дом, луг и животные казались теперь, очевидно, в силу каких-то неизвестных мне оптических условий, значительно дальше, чем минуту перед тем.

Все же я двинулся в путь. Медленно, шаг за шагом, шел я по неровной местности и, хотя и держал направление прямо к дому, но гористая местность заставляла меня то и дело уклоняться в сторону. Скоро я должен был вступить в какую-то, как мне показалось, небольшую рощицу, которая, однако, оказалась порядочным-таки лесом. Я быстро устал и бессильно опустился на землю. Конечно, желание добрать-ся до нашего милого домика было весьма сильно, но... не следует забывать, что я был страшно утомлен уже тогда, когда вступал в мир четырех измерений. Прогулка по неровной дороге с двухпудовой тяжестью на спине тоже отнюдь не способствовала укреплению моей бодрости. Конечно, можно было и бросить аппарат. Тогда я легко достиг бы дома в долине, но я боялся расстаться с своим сокровищем. Кроме того, усталость вызывала во мне какую-то странную растерянность и смешанность мысли. Несмотря на сильное впечатление, вызванное зрелищем моего домика, я време-

нами как будто забывал о нем. Догадка о непонятной сущности открытого мною мира, мысли о неизмеримой важности моего открытия для человечества, о признательности людей, о славе... иногда совсем вытесняли образ серого домика.

Наконец я отдохнул немного и, взвалив «Ковер-самолет» на плечи, начал искать выхода из леса или, по крайней мере, свободной прогалинки, чтобы хоть немного ориентироваться. Последнюю я скоро нашел, но серого домика с нее, к сожалению, не было видно. Зато, к удивлению моему, я увидел, что лес с другой стороны подходит довольно близко к предместью какого-то большого города, смутно рисовавшегося вдаль фабричными трубами, крышами и куполами построек. Я с уверенностью мог сказать, что никогда не бывал в этом городе, но, как это ни было дико, — что-то знакомое и только забытое чудилось мне в нем.

Я снова пошел вперед, весь горя любопытством и нетерпением. Отдохнул ли я, — но только теперь тяжесть машины казалась уже мне не такой значительной. Бодро шагал я вперед, и скоро лес стал редеть. Я выбрался на огороды, необыкновенно быстро миновал их и двинулся по улицам города. Вокруг меня — снова оживленная шумная толпа, которая, чем я дальше шел, тем становилась гуще. Народ двигался все по одному и тому же направлению и куда-то, видимо, торопился. Это была толпа преимущественно интеллигентных мужчин и нарядных женщин, оживленно разговаривавших и жестикулировавших. Мне несколько раз хотелось вступить с кем-нибудь из прохожих в беседу, но странная неловкость удерживала меня. Публика казалась мне взволнованной. Как будто ожидание важного известия или интересного зрелища охватывало всех. Скоро я со своим аппаратом на плечах попал в живой поток движущейся толпы, и меня буквально понесло сначала по улицам, затем по ступенькам широкой лестницы, по открытой галерее огромного здания странной архитектуры и, наконец, вынесло в большой зал, высокий свод которого поддерживался могучими колоннами.

Такого огромного и роскошного зала не видел я ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке, ни тем более в других городах. И тем не менее, я узнал его, как будто и его я уже когда-то видел...

В этот момент раздался крик многотысячной толпы, и то, что кричала толпа, повергло меня в неописуемый испуг. Все произносили только одно слово, и слово это было... моя фамилия.

— Клобуко! — кричали со всех сторон.

Волнение в зале все возрастало, число людей все увеличивалось и общий крик: «Клобуко! Клобуко!» раздавался все громче и нетерпеливее. Я собирался уже расспросить кого-нибудь из окружающих, в чем дело и почему все так интересуются человеком по имени Клобуко, как неожиданно из толпы возле меня вынырнул какой-то суетливый незнакомец во фраке, с цилиндром на затылке и с огромным распорядительским бантом на плече. С него лил пот градом. Увидев меня, он сначала секунду приглядывался и затем бросился ко мне, взволнованный и, видимо, озадаченный.

— Что вы здесь делаете? — заговорил он. — Боже мой! И эта тяжесть на ваших плечах... Это ваш аппарат, конечно? Позвольте же, я вас освобожу... Отчего же вы попали с этого хода? Мы вас ждали с другой стороны... Ах... ах... и вы еще не во фраке!.. Но ради всего святого, что же теперь делать? Как вас провести? Где вам переодеться?

Его слова, сказанные по небрежности громче, чем следовало, были услышаны кое-кем из соседей. На нас стали подозрительно поглядывать и шептаться. Вдруг из задних рядов протиснулась какая-то молодая дама и приглядевшись повнимательнее ко мне, воскликнула:

— Это Клобуко! Сомнения нет. Это он!

Возглас дамы был подхвачен близстоявшими и покатился дальше.

Послышались голоса: «Клобуко здесь! Клобуко в зале!» Ближайшие передавали новость задним, и скоро она облетела весь зал.

Многие протискивались ко мне, чтобы пожать мне руку, другие говорили что-то дружественное и полное энтузиазма (слов я не слышал).

Затем я увидел медленно движущуюся ко мне сквозь толпу платформу-эстраду, на которой помещалась группа людей, из которых многие были украшены звездами и орденами. Впереди всех стоял почтенный старик, по-видимому, ученый. Он держал в руках какой-то лист бумаги в богатом кожаном переплете, кажется, адрес.

Платформа направлялась ко мне и лица, несшие меня, двинулись ей навстречу. Через минуту я был ссажен на платформу, и старик с адресом дружески протянул мне руки.

Затем меня поместили посредине платформы, на особом возвышении. Остальные сгруппировались вокруг меня. На эстраду поднялись шесть прелестных молодых девушек в белых платьях с цветами в руках. Одна из них держала в руках и протягивала мне лавровый венок...

Грянул невидимый оркестр и могучий хор голосов. Это был туш, марш, гимн... я не знаю что, но музыка была прекрасна.

Я был над толпой, выше всех. Я видел море поднятых голов, восторженные лица, направленные ко мне, слышал восхищенные возгласы. Передо мной почтительно склонялись головы ученых, артистов, сановников, и очаровательная девушка собиралась венчать мое чело лаврами... Теперь я вспомнил: это была моя мечта, мой сон...

«В ту же минуту па одной из стен залы ярко вспыхнули огненные буквы: *Слава*.

.
.

Вот почти дословная выписка из моего дневника, князь. Мне незачем говорить вам, что вся описанная мною сцена апофеоза моей славы растаяла в сером тумане так же, как и маленький домик с красной крышей... Мне незачем теперь пояснять, я думаю, что такое мир четвертого измерения... вы уже догадались, князь? Это мир нашей фантазии, наших

снов. Всякому образу, возникшему в нашем мозгу, соответствует в мире четвертого измерения реально существующий предмет или даже целое явление. Едва промелькнувшая мысль, давно забытая человеком, носится в бесконечном пространстве, подчиняясь каким-то неведомым нам законам движения. Вы не можете, например, князь, помечтать о каком-нибудь старинном шкапчике, чтобы он не стал реально существовать в мире серого тумана. Я не знаю: наша ли мечта порождает явление в мире четвертого измерения, или это явление вызывает нашу мечту. Но я несомненно знаю, что существует взаимоотношение между обоими: наша мечта имеет притягательную силу над соответствующими им предметами и явлениями, а приближение к миру трех измерений, и в частности к тому или иному человеку, вызывает в этом человеке смутное воспоминание... Это взаимоотношение — единственный закон явлений в мире тумана. Достаточно настойчиво подумать о чем-нибудь, чтобы точная копия этого предмета или, вернее, мысли об этом предмете выплыли из тумана. Как это интересно, князь! Как восхитительно иметь силу вызывать к жизни то, о чем вы мечтаете! Как разнообразна и прекрасна жизнь, когда вы сами, по своему произволу, создаете ее.

Я не могу перечислить вам всего пережитого мною. Я жил в утопических мирах, где добро и красота царствуют над людьми; я видел достижение счастья на земле; я переживал, как ребенок, прекрасные сказки, и страницы седой старины разворачивались предо мною одна за другой. Я с радостным чувством присутствовал при первом зарождении жизни на земле, я наблюдал с горькой печалью на сердце за грядущим умиранием ее. Из серого тумана выплывали в причудливом разнообразии картины прошлого и будущего, воспоминания и впечатления реального и фантастического. Ни время, ни пространство, ни физические законы не служили препятствием для материализации в мире четырех измерений.

Одна только беда: необходимо, чтобы мечта или воспоминания были ярки, а желание видеть их искрение и сильно. Лишь в этом случае можно действительно пережить их.

Иначе они только мелькают перед глазами вдалеке, и нельзя прийти с ними в непосредственное соприкосновение, как это и было, например, с моим воспоминанием о сером домике... Но, конечно, не всегда так бывало. За тридцать лет моей жизни я проживал порой по несколько месяцев подряд в каком-либо фантастическом мире, встреченном мною в сером тумане.

Из этих тридцати лет больше двадцати, в общей сложности, я провел вне мира трех измерений и никогда до последних лет не скучал я в разлуке с нашим миром. Но в последние годы... какая-то странная потребность возвращаться в наш мир все чаще и чаще охватывает меня... Старость, князь, имеет свои причуды и слабости. Казалось бы, что может влечь в этот мир одинокого, полунущего старика, не имеющего ни друзей, ни определенной службы, ни профессии, ни даже какой-либо простой привязанности? Но вы не поверите: когда я, после долгого отсутствия, ступаю ногой на родную землю, меня охватывает такое волнение, что хочется пасть ниц и лобызать эту жалкую, ничтожную землю... Кроме того, и мечты мои стали теперь не так живы, как прежде, а в связи с этим и переживания в мире четвертого измерения все реже, все короче. Все чаще я остаюсь недвижно висеть в сером тумане, и лишь изредка вдали чуть заметно мелькают образы старых воспоминаний.

Старость, князь... Иногда я задумываюсь, кому отдать мой аппарат, когда наступит мое время навсегда покинуть этот мир, бросив свое брренное, стесняющее свободу духа тело! И я не знаю... Не отдать ли вам, князь, то сокровище, которое вы так не сумели оценить в первый раз? Не знаю, подумаю...

Мне пора проститься с вами, князь. Но я считаю долгом вежливости разъяснить те «чудеса», которые я хочу вам показать и которые вы, следовательно, увидите ранее прочтения этого письма. Все эти чудеса объясняются одинаково и просто. Люди считают, что они покрыты кожей со всех сторон. Это большое заблуждение. Да, конечно, поверхность тела закрыта с видимых нам сторон, но если бы мы взглянули на человека в направлении, перпендикулярном наше-

му пространству, то увидели бы все внутренности человека обнаженными. Далее, глядя с этой точки зрения на мир, мы увидели бы, что вообще закрытых вместилищ в мире трех измерений нет. Замкнутая одиночная камера, закрытое портмоне, закрытый шкаф, — все это фикция, все открыто со стороны четвертого измерения. Да и закрыть-то нельзя, так как мир трех измерений в этом направлении имеет толщину, равную нулю... Встав перпендикулярно к нашему пространству, можно легко доставать из «закрытых» помещений все, что угодно. Выходя из нашего мира, я сам прежде всего поворачиваюсь в направлении, наклонном к пространству. Если бы кто-нибудь взглянул на меня в этот момент, он, вероятно, последовательно увидел бы все мои внутренности, так же как я вижу его внутренности, когда мне приходит каприз заглянуть из мира четырех измерений на наше земное человечество.

Прощайте, князь, пора кончать. Желаю вам всего лучшего и более удачных антикварных покупок.

Ваш Клобуко».

* * *

— Кончено, господа, — произнес медленно князь, но никто ему не ответил. На всех чтение письма произвело впечатление и никому не хотелось говорить. Молчание продолжалось довольно долго.

Наконец доктор прервал его.

— В письме вы прочли, кажется, князь, что Клобуко перед смертью, быть может, отдаст вам свой аппарат? — спросил он.

— Да, — отвечал князь.

— В таком случае, я должен вам сказать, что это событие может наступить очень скоро, — прибавил доктор значительно. — Когда изобретатель стоял перед нами в анато-

мированном виде, так сказать, я успел заметить у него сильное перерождение сердца. С таким сердцем недолго летаешь по миру четвертого измерения!..

— Но что же нам-то делать? — вскричал в недоумении учитель.

— Ждать! — хором ответили все члены кружка любителей бесполезного в математике.

А. Числов

ОПЫТ ПРОФЕССОРА ПАРСОВА

Странное соглашение

Решение покончить с собой, — как следствие полной безнадёжности положения, — было принято в окончательной форме Червяковым в тот самый момент, когда он выходил на набережную. Поэтому выбор способа не представлял уже никакого решительно затруднения. С мрачной решимостью подошел он к каменному барьеру и занес левую ногу. Но тут неожиданно он задержался и внимательно стал рассматривать воду, чуть отражавшую мутно-желтый свет фонарей. Шел проливной дождь и дул сильный, не утихающий ни на секунду ветер; река вздулась; на ней плавали какие-то щепки и клочья грязноватой пены; гранитный барьер казался скользким и противным.

Вид воды был настолько неутешителен, что Червяков сразу почувствовал, что он насквозь промок, озяб, голоден, и что на голове его почему-то отсутствует шляпа, которая, несомненно, была на ней еще с четверть часа тому назад.

Он с отвращением устало отвернулся от воды, и глаза его рассеянно остановились на появившейся за его спиной неизвестно откуда фигуре: какой-то франтоватый господин стоял перед ним под зонтиком и рассматривал его с критическим вниманием и любопытством. Червяков с недоумением посмотрел на незнакомца; тот же весело и как ни в чем не бывало ему улыбнулся, дотронулся рукой до цилиндра, повернулся и пошел.

Червяков после этого решил переменить место самоубийства. Тяжело хлюпая башмаками, направился он к мосту, добрался до середины его и опять стал смотреть в воду, перегнувшись через перила.

В это время его хлопнула по плечу чья-то рука.

— По всем признакам, топить задумали, голубчик? — произнес над его ухом ласковый голос. Он поднял голову и опять увидел того же самого франта, с которым встретился несколько минут перед тем. Незнакомец дружелюбно улы-

бался, сверкая белыми зубами и белками глаз; глаза у него были темные и магнетические, красивые и томные, как у женщины.

— Я второй месяц ищу настоящего самоубийцу, — продолжал деловито франт, — надеюсь, на этот раз не ошибся? Намерения ваши серьезны?.. Предупреждаю, что могу быть во многом полезен. Я Станислав Сигизмундович Стыка, врач, магистрант и ассистент известного профессора-невропатолога Парсова... Ваше имя? профессия? причина самоубийства? на что жалуетесь?

Червяков смотрел, растерянн мигая глазами.

— Если вы не желаете объясняться, то этого можно и избежать. Угодно вам тайну? Я гарантирую полный секрет. Условия, как видите, самые приемлемые и выгодные...

— Что вам, собственно, от меня угодно? — пролепетал Червяков.

— Разумный вопрос, черт возьми! — одобрительно подхватил франт. — Сразу видно делового человека. Вы что... чиновник?

Червяков мрачно вздохнул.

— Был до сих пор бухгалтером банка, — отвечал он мрачно, — сейчас — ничто!

— Потеряли место? Великолепно-с! — подхватил Стыка. — Идеальная причина для самоубийства. И самая, можно сказать... примитивная. Я вижу, мы с вами сталкиваемся. Особенно я рад, что вы оказались интеллигентом... Окончили, небось, гимназию, что — далее университет? О-о... Вот мне везет-то! Я чувствовал, когда выходил из дому, что сегодняшняя вечер не может не привести на окончательную решимость всякого порядочного самоубийцу... Недаром же у меня сразу вывернуло ветром зонтик наизнанку!

Стыка на минуту замолк, как бы обдумывая возможность дальнейшего соглашения, потом удовлетворенно кивнул головой, очевидно, разрешив вопрос.

— Вы Соломона Соломоновича Петроградера знаете? — деловито спросил он. — Директора Русско-Португальского банка?

Еще бы Червяков не знал Соломона Соломоновича! Да

ведь в руках этого гения финансового мира, взлетевшего и просиявшего на небосклоне биржи как ярчайшая из комет, была вся судьба уволенного бухгалтера!

— В таком случае, наше дело в шляпе, — перебил Стыка. — Парсов знает Соломошку, потому что лечит его дочь от *globus hystericus*... Надо вам сказать, что мой патрон — великолепнейший старикашка и, хотя немножко пошаливает с теософией, но несомненно выдающийся ученый, известный врач и человек с крупными связями. Немножко раздражителен, конечно, как всякий старичок, но очень добр и охотно вам поможет. Словом, не вдаюсь в подробности, а обещаюсь предоставить вам не позднее послезавтрашнего дня местечко в Русско-Португальском банке не хуже вашего прежнего места. Теперь... в чем будут заключаться ваши обязанности?... Вы должны, прежде всего и главное: не задавать ни одного лишнего вопроса; а затем, сейчас же ехать, куда я вас повезу, делать то, что я вам укажу, и вообще подчиняться мне беспрекословно в течение ровно одних суток! Поняли? Через двадцать четыре часа вы свободны, как птица, желаете — топитесь... вообще, мы с вами больше друг друга не знаем. Просто и ясно?.. Извозчик!

— Позвольте, — запротестовал Червяков, — но ведь я же вас совсем не знаю! Куда вы меня повезете? Да я и не хочу...

— Топиться предпочитаете? Не знаю, хватит ли у вас на это храбрости, но... ваша воля! Я думал, что вам понравится мысль получить хорошенькое местечко в банке ценой безболезненного и безобидного маленького опыта, который над вами произведут в целях двинуть вперед науку и, может быть, облагодетельствовать все человечество... Но если вы предпочитаете вместе со щепками и мусором плыть ко взморью... Извозчик, подавай!..

Червяков и Стыка стояли друг против друга, удивительно напоминая удава и кролика: Червяков — маленький, дрожащий, с блуждающим взором подслеповатых глаз, а Стыка — длинный, узкий и гибкий, со сверкающими огнем черными загадочными глазами.

— Ну, так в последний раз, уютно или нет? — Стыка за-

нес ногу на пролетку.

Червяков хотел было что-то сказать, о чем-то спросить, но Стыка строго приложил палец к губам. Бухгалтер посмотрел на воду, на извозчика... Неизвестно, что именно на него подействовало, но он вдруг мрачно махнул рукой и полез на дрожки. Стыка тотчас же заботливо окутал мокрую голову бухгалтера теплым вязаным кашне, и они покатились. Стыка по дороге так быстро переходил с темы на тему, ни на минуту не умолкая, что Червякову невольно пришла в голову мысль, что его спутник оттого так много говорит, что хочет сам избежать вопросов. Впрочем, бухгалтеру было не до разговоров. Он, казалось, потерял всякую энергию и волю от усталости. Бессильно откинулся он на мягкие подушки коляски. Ветер и дождь не проникали под верх дрожек. Согревшись немного и покачиваясь на мягких рессорах, Червяков задремал под непрерывную болтовню Стыки.

Как в полусне он потом чувствовал, что Стыка при помощи огромного швейцара с длинными усами заботливо высаживал его с дрожек; в полусне подымался он по парадной лестнице, проходил по богато убранным комнатам, видел бесконечные шкапы с книгами, банки с препаратами, скелеты и черепа, какую-то черную собаку, привязанную на цепочке, которая яростно на него лаяла. Наконец он был введен в большую комнату вроде кабинета или лаборатории. Здесь ему принесли перемену белья, платье и подали холодный ужин. Как в тумане Червяков переодевался во все сухое, ел паштет и цыпленка и пил кофе с коньяком и, наконец, едва его оставили одного, он повалился на диван и заснул, не успев проглотить последний кусок.

II

Приступили к опыту

Проснулся он от разговора, раздававшегося в соседней комнате. Говорил, очевидно, по телефону, голос, в котором

Червяков узнал мягкий тембр Стыки. Другой хриплый голос время от времени вставлял в этот разговор, как бы в скобках, отдельные комментарии. Когда бухгалтер понял, о чем идет речь, он весь похолодел от волнения: разговаривали, очевидно, о его назначении.

— Все вакансии заняты? С трудом, говорите, можно принять младшим кассиром? — (услышал Червяков слова Стыки, и в то же время второй голос пояснил: «Врет, животное!»). — Но это совсем не то, что нам нужно... Нам требуется место бухгалтера, уважаемый Соломон Соломонович... что? да, да, сам профессор вас об этом просит непременно... как же вы говорите, что нельзя? («Скажите ему, Стыка, что он неблагодарная свинья, — вставил второй голос, — и что это говорю ему я, Парсов!») Вот, вот именно... Профессор свидетельствует вам свое искреннее почтение и просит вас... что? Да, да, я уверен, что ваш отказ так оскорбил бы его, что о продолжении лечения не могло бы быть и речи... Что? Так в Русско-Португальском банке, говорите? Бухгалтером? Шесть тысяч и проценты... Очень благодарен... До сви... маленький припадок у дочки? Это ничего. Поите ее бромом! Поите целыми бутылками, говорю я вам, и барышня расцветет, как роза! Прием послезавтра... Всего... («Зазнавшийся скот», — резюмировал хриплый голос).

Трубку повесили, и Червяков собрался уже предаться самой бурной радости, когда снова услышал голоса.

— Я рад, что удалось устроить этого бедного молодого человека, — произнес хриплый голос. — Меня трогает его искренняя преданность науке... Вы говорите, что он сам упрасивал вас подвергнуть его опыту?

— Еще бы не упрасивал! — подхватил Стыка. — Умолял почти на коленях!.. Человек так заинтересовался опытом, что... не пора ли приступить?

— Вы уверены, что не оказали на него никакого давления, что предупреждали его об опасности?

— Конечно, уверен. Как бы я позволил себе этого не сделать, зная ваши гуманные точки зрения?.. Однако, уже половина первого, профессор.

— Хорошо, — отвечал голос. — Тогда мы можем начать. Наука имеет свои права и... черт возьми! теперь уже никакая сила не остановит производства опыта. Мы стоим на пороге великого открытия. Ни шагу назад! Прочь слабость!.. Идемте.

Дверь, ведущая в комнату, где сидел Червяков, распахнулась, и на пороге ее показались Стыка и еще один человек, вид которого страшно поразил Червякова. Профессор Парсов имел не более двух аршин и двух вершков роста, по зато обладал такой огромной головой, увенчанной шапкой длинных седых волос, что Червяков готов был поверить, что в ней помещается вся наука без остатка. Глаза профессора смотрели довольно простодушно и доверчиво, но иногда в них вспыхивал раздражительный и упрямый огонек фанатика. В сущности, голова профессора, оставив в стороне ее величину, была типичной головой ученого, немножко рассеянного и немножко чудаковатого. Но на Червякова вид ее подействовал потрясающим образом. Он и вообще был несколько робок, а теперь струсил окончательно.

С минуту бухгалтер и ученый рассматривали друг друга в упор. Наконец второй из них слегка кивнул головой, как бы в знак того, что осмотр его удовлетворил. Затем он нашел нужным преподать Червякову некоторые пояснения по поводу предстоявшего опыта. Он начал ему говорить что-то длинное и не особенно понятное о мозге и душе, обрисовал роль нервной системы в душевных процессах и тесную зависимость последних от первой; потом привел ряд примеров, как при поражении той или иной части мозга у человека наступает расстройство определенной функции, вроде потери дара речи, или он заболевает определенной формой душевной болезни. Бухгалтер смотрел, широко раскрыв глаза и не мигая, но никак не мог себя заставить слушать профессора.

— Впрочем, вы все это, вероятно, и сами знаете, если прослушали или прочли хотя бы самый популярный курс психологии, — сказал профессор. — При вашем интересе к науке вы, наверно, читали, например, хоть Джемса или «Мозг и душа» Челпанова? (Червяков не читал ни того, ни друго-

го, но со страха соврал, что читал). В таком случае, — продолжал профессор, — вы должны знать, что установление тесной зависимости душевной деятельности человека от деятельности его нервной системы навело некоторых исследователей на мысль, что не только главным, но и единственным фактором всех духовных процессов является мозг и ничего иного в основе этих процессов и не имеется. Это, если хотите, сейчас взгляд официальной науки. Отдельные же психологи и психопатологи идут еще дальше, отрицая даже вообще непрерывность душевных процессов. Не только не существует никакого «я» или «чистого ego» как «непрерывно мыслящего субъекта», но и вся душевная деятельность есть не более, как сумма отдельных быстро сменяющихся психических состояний, соответствующих отдельным состояниям нервной системы... Вы следите?

— Слежу! — отвечал Червяков, не спуская глаз с профессора и решительно ничего не понимая. И опять речь профессора, привычная, гладкая, потекла, как ручеек, а бухгалтер, убаюканный ее размеренным течением, тихонько принялся мечтать о должности в Португальском банке.

Вдруг он весь вздрогнул от неожиданности: ученый схватил его за пиджак и, свирепо вращая глазами, закричал:

— *Вы должны обнаружить всю ложность этой теории! Вам-с, молодой человек, принадлежит честь доказать, строго научным путем, что душа существует!*

Такая нелегкая «честь» показалась Червякову совсем не по силам. Он растерянно пролепетал:

— Как же я это буду... того, доказывать?

— Очень просто-с, — возразил профессор, — я произведу над вами опыт, изолирую вас от вашей нервной системы, отрежу вас, в некотором роде, от вашего мозга, а затем буду наблюдать и сравнивать... Понимаете, небольшой опыт по методу остатков и сопутствующих изменений!

Бухгалтер понял только, что его будут резать, и так побледнел, что Стыка поспешил вмешаться.

— Все это совершенные пустяки, — шепнул он Червякову успокоительно, — старик вас только зря пугает! Пустячный опыт, в основе которого будет лежать гипнотизм. Я

вам гарантирую 99 шансов безопасности!

Но, видя, что Червяков все еще дрожит от страха, Стыка напомнил ему об ожидавшем его завтра месте бухгалтера и тем хоть несколько ободрил бедного бухгалтера.

— Ну что ж, пора бы и приступать, профессор, — сказал Стыка, боявшийся, как бы Парсов опять не огорошил Червякова каким-нибудь новым «разъяснением».

Профессор взглянул на часы и заторопился.

— Да, да, — отвечал он, — приступим. Станислав Сигизмундович, вы бы измерили жизненную энергию испытуемого субъекта...

Бухгалтер насторожился было при последних словах, но затем махнул рукой, как бы складывая с себя всякую дальнейшую ответственность за могущие быть с ним последствия и поплелся вслед за Стыкой в лабораторию.

«Измерение жизненной энергии» производилось посредством особого аппарата изобретения самого профессора Парсова. Бухгалтера соединили в разных точках его тела проводами со сложным записывающим прибором и затем последовательно подвергали действию различных раздражителей: заставляли пробовать сахар и красный перец, нюхать розу и нашатырный спирт, слушать камертоны разных тонов; через него пропустили электрический ток, ослепили на мгновение вспышкой магния, и в заключение Стыка предельно уколол его иглой в икру левой ноги, так что бухгалтер заорал во все горло.

— Великолепная реакция на неприятные раздражения! — констатировал Парсов. — И при полном почти равнодушии к приятным... Поразительная односторонность! Вы, молодой человек, прямо созданы быть пессимистом и самоубийцей...

Профессор долго и с наслаждением рассматривал вынутую им из аппарата полоску бумаги, на которой появилась «кривая жизненной энергии» бухгалтера. Особенно его восхищал резкий скачок кривой в момент укола иглой. Наконец он оторвался от графика и сказал, обращаясь к Червякову:

— Здесь, молодой человек, записаны все приметы вашей души; истинный ее паспорт, так сказать. Если бы ваша душа вздумала от вас убежать, хе-хе! то мы бы ее изловили по этому документу-с, как преступника по отпечатку его большого пальца... хе-хе!

Стыка беспокойно бегал по комнате.

— Начнемте же, профессор! — заговорил он чуть не в десятый раз.

Лицо профессора вдруг изменилось. Улыбка разом сбегала с него, уступив место выражению торжественности, которая постепенно перешла от него и к Стыке. Оба помолчали несколько секунд.

Наконец профессор произнес дрогнувшим голосом:

— Что ж? Начинать, так начинать...

Червякова уложили на диван. Ассистент сел рядом с ним. Профессор повернул выключатель; в комнате наступила тьма. В ту же минуту Стыка начал пассы, а перед глазами Червякова как бы в воздухе вспыхнула ослепительно яркая точка, к которой невольно приковался его взор. Им постепенно начала овладевать сонливость. Опыт профессора Парсова по сравнительному методу остатков и сопутствующих изменений начался с гипнотического сеанса.

.
.

III

Первые впечатления бухгалтера

«Некоторое время после того, как меня положили на диван, я думал о разных предметах, например, о предстоящем мне получении места, об опыте и т. п.; затем я начал впадать в забытие и, наконец, как будто потерял сознание. Первое, что могу после этого вспомнить, были мои сонные грезы... Так как сны, которые мне снились, были не совсем

обычны, то я позволю себе остановиться на них хоть немного.

Наряду с обыкновенными зрительными и слуховыми образами, во всех моих снах почему-то играли несоразмерно важную роль запахи, причем преобладали запахи съестные: жареного мяса, сырого мяса, какой-то жирной вкусной каши; были и другие запахи, с которыми определенно соединялись мысли о тех или иных предметах, людях и животных. Как это ни странно, были запахи симпатичные и несимпатичные; некоторые вызывали во мне сладкое биение сердца, другие возбуждали гнев, страх или тоску. Сны были отрывочные. Я видел, например, в одном из снов какого-то великана-мужчину и великаншу-девочку. Великан внушал мне страх и глубокое почтение, переходившее в преклонение, девочка — нежную любовь. Когда она положила мне на голову свою руку, я думал, что сердце мое разорвется от радостной гордости и восторженного обожания. Затем мне снилось, что я преследую в безумной скачке какое-то огромное хищное животное, ростом с теленка, но внешним видом близко напоминающее тигра или кошку. Запах этого животного раздражал меня до безумия. Я готов был растерзать его на куски... Это был мой последний сон.

Проснулся я от легкого укола, вроде укуса какого-нибудь насекомого, в шею. Не открывая глаз, я ловким, привычным движением поднял на воздух левую ногу и кончиком ее почесал укушенное место. Уверяю вас!.. Мне и в голову не пришла мысль о всей нелепости и неприличии моего поступка. Я даже не задумался ни на секунду о том, с каких это пор я стал способен на такие акробатические упражнения! Я не задумывался ни над этим, да и ни над чем другим, а просто, так как спать мне больше не хотелось, то я открыл глаза, сладко зевнул и лениво обвел вокруг себя взором.

Я находился в комнате (лежал на полу) и, надо сознаться... комната эта была довольно-таки оригинальна. Она, несомненно, предназначалась для великанов: не говоря уже о высоте стен, даже мебель по размерам казалась годной разве для людей раза в четыре выше ростом, чем обыкновен-

ные люди. Курьезны были стены комнаты, как бы наклоненные наверху к наружу; но всего забавнее оказались картины: такую нелепую и бессмысленную мазню трудно было даже себе представить!

И вот, как это ни странно и ни противоестественно, — но вид такой изумительной комнаты не возбудил во мне ни малейшего любопытства; мне эта комната показалась самой обыкновенной... Как же, значит, изменились в силу непонятных причин мои собственные точки зрения!

Впрочем, я так же не замечал никаких перемен в самом себе, как не замечал и странностей в окружающей меня обстановке. Изменились не только мои взгляды на вещи, но несомненно, и притом коренным образом, изменилось мое самосознание. Самой важной переменной было исчезновение памяти о прошлом. Я в те минуты решительно ничего не помнил о своей прежней жизни. Поверите ли, я забыл даже, что я — бухгалтер Червяков!

Но вместе с тем, я отнюдь не воображал себя и кем-либо другим. Я просто не задавался вопросом о том, кто я, откуда взялся, почему лежу па полу; такие вопросы для меня не существовали уже по той одной причине, что я не замечал ничего необычайного или заслуживающего какого-либо внимания в моем настоящем положении. Я принимал факты без критики и без всякого к ним интереса. Я думаю, самое верное будет, если я определю свой душевный мир в то время как *чрезвычайно бедный мыслями и какой бы то ни было психической работой*. Изредка мелькали в моем мозгу какие-то коротенькие мысли о пище, о прогулке и еще о чем-то таком же несложном... Они вспыхивали и сейчас же гасли, так как сосредоточиться на чем-нибудь я положительно был не способен.

Впрочем, извиняюсь за все эти подробности и возвращаюсь к фактическому изложению событий.

Я лежал, — как говорил уже, — на полу в странной, чтобы не сказать больше, позе: свернувшись полуколыцом и опираясь на локти, я ухитрился положить голову подбородком на пол. Поза эта, несмотря на ее явную противоестественность, была весьма удобна, и я собирался было дол-

го так пролежать и, быть может, снова уснуть, как вдруг... чуть заметный шорох привлек мое внимание. Хотя он раздавался из противоположного угла комнаты, но мой необычайно утончившийся слух ясно различил его. *Моментально* с меня слетела всякая сонливость. Чувство напряженного внимания, беспокойства и страстного любопытства овладели мной. Я почему-то уверен был, что шорох производит живое существо; и во мне с неудержимой силой загорелся *охотничий* инстинкт, которого я никогда и не подозревал в себе раньше.

Как на пружинах, поднялся я с места и в несколько прыжков был уже там, где раздавался подозрительный шорох. При этом я заметил, что я привязан, так как что-то удерживало меня, сдавливая шею. Впрочем, я лишь мельком обратил на все это внимание, потому что весь был поглощен тем, что увидел перед собой.

По ножке дивана полз... таракан!

И такое по существу ничтожное обстоятельство оказалось способно взволновать меня настолько, что я... нет, просто не могу продолжать, такая это была гадость, такой стыд!.. Я... одним словом, я схватил таракана зубами, с веселой жестокостью несколько раз грызнул его и потом бросил на пол!

И в тот же самый момент, опустив случайно глаза вниз, я увидал... что вместо рук у меня маленькие, тоненькие...»

IV

Неожиданный оборот событий

Сеанс гипнотизма, по-видимому, немало стоил труда ассистенту Стыке; он сидел в кресле совершенно изможденный, отирая пот с лица.

Бухгалтер Червяков, или, вернее, то, что было только что бухгалтером Червяковым, а именно его бесчувственное и неподвижное тело, лежало на кушетке. Профессор вторич-

но соединил это тело с аппаратом измерения жизненной энергии; но напрасно он пускал в ход механизм, напрасно колол и щипал бухгалтера, — карандаш чертил только совершенно ровную черту. Тогда профессор, который был, очевидно, вполне доволен именно таким результатом опыта, так как радостно потирал руки, отцепил проволоки и оставил бездыханного Червякова в покое.

— Энергия — нуль! — кратко резюмировал он и прибавил, обращаясь к Стыке:

— Теперь, раз с телом человека нам нечего делать, то мы немедленно же можем приступить к опыту над собакой... Станислав Сигизмундович, потрудитесь, пожалуйста, приступить к опыту!.. Не забывайте, что здесь не спальня, а лаборатория-с! Прежде всего, измерим жизненную энергию собаки...

Профессор, несомненно, не любил терять времени и не окончив, видимо, одного опыта, брался за другой. Так, вероятно, подумал Стыка, но он ничего не ответил своему раздражительному патрону и со вздохом поднялся с кресла. Он взял было собаку за ошейник, но тотчас же отдернул руку, так как пес весьма недвусмысленно оскалил зубы.

— Гм... гм... Как же бы это ее взять? Пес, по-моему, совсем не интеллигентный! — замылся ассистент. — Знаете что, профессор, может быть, вы, как изучавший столько лет зоопсихологию, используете теперь свои знания и сами попробуете взять собаку?

Однако это вовсе не входило в планы профессора.

— Вы с ума сошли, милейший, — возразил он холодно. — Где же это видано, чтобы ассистенты вваливали на профессора приготовление животного к опыту!.. И, кроме того, вы же сами откуда-то привели этого пса, следовательно, он ваш пес и несомненно должен вас слушаться.

— Мой пес... — проворчал Стыка, — да я его первый раз сегодня увидел! И, кроме того, нельзя отрицать, что субъект, продавший мне собаку, был очень подозрителен; я ставлю сто против одного, что собака была краденая!..

Стыке, однако, пришлось-таки взяться за собаку, и хотя

он через несколько минут и обмотал ее проволоками вроде вестфальской колбасы, но она успела раньше укусить его за руку.

Началось измерение жизненной энергии собаки. Профессор внимательно следил за записью аппарата и то и дело потирал руки от удовольствия. Время от времени он сравнивал график с той кривой, которая осталась от предыдущего опыта над Червяковым.

— Поразительные результаты! — шептал он и вдруг, когда бумажная лента окончилась, не выдержал — бросился к Стыке и, тыча ему в самый нос бумажную полосу, вскричал:

— Вы видите этот скачок кривой? Понимаете вы все его значение?!

Стыка, очевидно, видел и понимал, так как восхищался таинственной записью не менее профессора; однако ему волнение не мешало делать дело. Он промыл и забинтовал свою руку и пошел развязывать собаку.

— Что с ней теперь делать? Снова на цепь? — спросил он. — Может быть, опять примемся за бухгалтера?

— Нет, — отвечал профессор, — бухгалтера пока оставим в покое. Посадите собаку на пол и давайте-ка наблюдать за ней спокойно и терпеливо часа этак два подряд... Может быть, она окажется и не такой уже «неинтеллигентной», как вам показалось, что? Ха-ха!

Собака оказалась действительно умнее, чем думали Стыка и профессор. Едва ассистент успел посадить ее перед профессором, как она, точно угорь, скользнула между их ногами, стрелой пронеслась к чуть прикрытой двери, открыла ее лапой и с радостным лаем кинулась по коридору.

Стыка, озадаченный было на секунду, бросился затем за ней с криком неподдельного ужаса; сзади побежал и профессор, ковыляя на своих коротких ножках.

Собака миновала коридор, спустилась с черной лестницы и, так как наружная дверь оказалась тоже незапертой, то выбежала во двор. Напрасно профессор и ассистент кричали: — Держи! Лови! — Собака мимо оторопевшего дворника выскочила на улицу, стрелой пронеслась по ней и скры-

лась за поворотом. Преследователи остановились в отчаянии: дальше улицы расходились в четыре разные стороны, и куда побежала собака — отгадать не было никакой возможности. Неудачные ученые вернулись с пустыми руками.

Уныние обоих было безгранично. Ассистент лежал в кресле и стонал. Профессор после шибкого бега и от волнения был близок к обмороку.

— Погиб! — шептали трепетные уста Парсова. — Погиб несчастный, доверившийся мне, и с ним погибла вся моя научная работа! О-о... Погибло великое научное открытие, которое могло всколыхнуть все человечество! Погибло все!.. Все, ничего не осталось!

Стыка пробормотал что-то в утешение, но тотчас же снова умолк. В комнате воцарилась мертвая тишина...

Вдруг Парсов вскочил с места.

— Но что же нам теперь делать? — вскричал он. — Нельзя же оставить дело в таком идиотском положении! Мы должны, во что бы то ни стало, найти собаку!

Стыка слабо вскинул глазами.

— Но как? — пролепетал он. — Что мы можем сделать?

— Мы напечатаем объявление в газетах, что пропала собака...

— Боюсь, профессор, что она краденая. Теперь пес, очевидно, вернется к своему настоящему хозяину, если только... его не свезут раньше на Гутуевский остров!

Профессор посмотрел вопросительно на своего ассистента.

— Как вы сказали? — переспросил он. — На Гутуевский... остров?

— Эго такое место, куда свозят бездомных собак, — пояснил Стыка.

— А что с ними там делают?

— Топят или вешают, — хладнокровно отвечал ассистент. Профессор схватил себя за волосы и со стоном повалился на ковер. Стыка не на шутку испугался, что его поразил апоплексический удар. Он кинулся было к профессору, но тот вдруг сам вскочил на ноги.

— Сейчас же, не медля, не теряя ни секунды! — заговорил Парсов хрипло, надевая на голову шляпу задом наперед и с трудом натягивая на себя пальто Стыки, которое первое попало ему на глаза. — Бегу, пока не поздно!

— Но куда, профессор?

— Туда, на этот ваш... как его, к черту? Гутуевский остров! А потом в редакцию.

— Слышите, вы, — прибавил он с решимостью отчаяния, — если даже ваш дьяволов остров находится посредине Атлантического океана, я и тогда через час буду на нем! А вы извольте-с стеречь здесь тело бухгалтера... О, несчастный!

С этими словами профессор исчез. Стыка посмотрел на часы, с беспокойством взглянул на спящего Червякова, послушал его пульс, пожал плечами... снова еще послушал сердце, подставил даже зеркало к его губам, попробовал разные пассы: тело оставалось недвижимо...

Тогда Стыка в мрачном раздумье опустил в кресло...

V

Редакция, сыскное бюро и Гутуевский остров

Редакция «Столичной газеты» видала немало чудачков и оригиналов, но когда в нее ворвался растрепанный, толстый и маленький человечек в явно чужом пальто, доставшем ему до пят, то редактор в изумлении приподнялся с места.

— Вы — редактор? Я желал бы поместить объявление, — заявил хрипло незнакомец.

— На послезавтра, конечно? — осторожно спросил редактор.

— К черту послезавтра! — возразил тот. — В завтрашнем утрени.

— Невозможно, — отвечал редактор и сел было.

— Пятьсот рублей! — произнес незнакомец, и глаза его свирепо сверкнули.

Редактор подумал, спросил о чем-то находившегося здесь же метранпажа и затем решительно ответил:

— Нельзя. Газета сверстана.

— 1000 рублей!

— Нельзя-с. Дело не в цене...

— 2000!

Редактор посмотрел на метранпажа, тот на него, и оба обменялись шепотом несколькими словами.

— Деньги с вами?

— Здесь.

Снова разговор шепотом.

— Вот что, — ответил редактор деловым тоном, — за две тысячи мы разошлем при завтрашнем утреннем выпуске ваше объявление на особом листке. В вечернем же выпуске и послезавтра можно будет напечатать уже в самой газете...

— На первом листе, по самой середине и не меньше, чем вот такого размера...

Незнакомец отмерил руками расстояние вдвое больше газетного листа...

— Никак не меньше, — успокоительно заявил редактор.

— Какое же будет ваше объявление?

И вот редактор и метранпаж с изумлением слышали:

«Пропал черный пудель, купленный накануне. Подозревается, что был краденый. Примет никаких. Кличка неизвестна. Доставившему в редакцию “Столичной газеты” — 3000 рублей вознаграждения».

Когда деньги были уплачены и незнакомец удалился, метранпаж многозначительно похлопал себя пальцами по лбу.

Редактор нее задумчиво произнес:

— Н-нет, пожалуй... Не спрятано ли у пуделя под шерстью что-либо *особенно ценное*?

Через несколько минут маленький толстяк в чужом пальто, сидя в сыском агентстве и окруженный пятью способнейшими сыщиками, сговаривался с ними об условиях

использования их услуг. Вознаграждение было настолько щедрое, что сыщики от удовольствия руки потирали.

— Но кого же мы должны ловить или искать? — спросил один из них, делая такое движение носом, как будто сейчас же хотел кинуться по следу.

Незнакомец посмотрел на него задумчиво.

— Пуделя! — выпалил он.

— Пуделя?... то есть как же это... пуделя?

— Так. Собаку... Сбежала... Поймать надо непременно.

— Позвольте, господин. Как же ее поймать, если она сбежала?..

Незнакомец заворочал гневно глазами.

— На то вы и сыщики, чтобы ловить.

— Но мы, господин, не для этого предназначены. Мы ловим только людей. У нас есть тоже свое... самолюбие!

— Удваиваю вознаграждение! — заревел незнакомец. — И к черту самолюбие!

Через четверть часа пять сыщиков, побрякивая в карманах щедрым задатком и насмешливо перемигиваясь, отправились искать пуделя. Толстяк же с большой головой летел на Гутуевский остров.

Стыка, утомленный пережитыми волнениями и трудом, храпел на кресле рядом с распростертым на диване, по-прежнему недвижимым Червяковым. Вдруг какой-то странный шум заставил его вскочить на ноги. Шум все увеличивался и как бы приближался. Скоро он раздался уже несомненно в соседней комнате. Похоже было, как будто рядом был не кабинет ученого невропатолога, а зверинец или, еще вернее, псарня. Стыка поспешил распахнуть дверь и остановился, как вкопанный. Перед ним стоял профессор, державший на привязи десяток черных пуделей.

— Принимайте первую партию! — воскликнул он деловито. — Надо их покормить. Который час?

— Откуда это? — лепетал озадаченный ассистент, принимая из рук профессора концы веревок.

— С Гутуевского острова... Я купил всех наличных черных пуделей и вошел в соглашение с администрацией, что мне будут доставлять в редакцию «Столичной газеты» все

вновь поступающие экземпляры по 10 рублей с головы. Я полагаю, Станислав Сигизмундович, что вы теперь же, не теряя времени, приметесь по очереди проверять их жизненную энергию, сравнивая ее с нашей записью. Других ведь признаков мы не имеем...

Но ассистент, оказывается, уже успел вспомнить еще два признака сбежавшей собаки: у нее около левого плеча был вырван клочок шерсти и на ошейнике остался небольшой кусок проволоки. Все пудели были тотчас же проверены, но, к сожалению, ни у одного из них не было налицо ни того, ни другого признака.

Профессор с шумом вздохнул и затем направился к телефону, чтобы переговорить с редакцией. Едва их только соединили, как он услышал:

— Редакция «Столичной газеты»... А! Эго вы, наконец?.. Приходите, прошу вас, немедленно! Доставлено сто шестнадцать пуделей... подводят еще новых... Если вы не явитесь тотчас, пошлю всех к черту!..

В редакцию поехал на этот раз Стыка. По дороге он купил только что вышедший вечерний номер. На середине первой страницы красовалось гигантское объявление профессора. Случайно Стыка заметил рядом с ним другое скромное объявление:

«Прошу лиц, видевших бывшего бухгалтера Червякова, сообщить об этом его жене. Ушел вчера с утра, сильно взволнованный и огорченный: был в сером пальто».

VI

Продолжение рассказа бухгалтера

«...черные лапки!

Да, господа, на месте рук у меня оказались маленькие, тонкие, покрытые черной шерстью лапы. И сам я стоял уже не на двух ногах, а на четырех лапах. Таковы были результаты невероятного, рискованного, безумного опыта двух

бессовестных ученых, который они не постеснялись произвести над живым человеком, даже не предупредив его о возможных последствиях.

Когда сейчас я рассказываю обо всех этих *прошлых* событиях, я уже знаю значение происшедшей тогда со мной перемены, знаю, что непонятным для меня способом профессор Парсов переселил мое сознание, или часть моего сознания, или, наконец, употребляя его собственное выражение — мое «чистое я» в животное (да-с, в животное... в собаку!). Но в тот момент, когда взгляд мой впервые упал на злосчастную лапку, я далеко не так ясно воспринимал значение совершившегося события. Ведь я приобрел не только наружность, но и мозг собаки. Мой собственный мозг остался инертным в парализованном теле бухгалтера, и я потерял всякую связь с ним, а следовательно, и мыслил исключительно мозгом собаки. Между тем, этот беспомощный жалкий мозг животного жил до этого своей собственной жизнью и продолжал ее и после моего непрошеного переселения в него, лишь постепенно и очень неохотно начиная повиноваться «мне». Конечно, мозг собаки не мог сколько-нибудь ярко и ясно осветить мне мое положение. Я смутно чувствовал, что со мной что-то произошло и что-то скверное притом, но что именно — я совсем не понимал. Памяти о минувшей моей жизни не осталось вовсе или почти вовсе. Для мозга же пуделя зрительный образ лапы был самым обычным и не вызывающим никаких беспокойных ассоциаций образом. При таких условиях неудивительно, что мое открытие, — если только можно назвать это открытием, — вызвало во мне лишь глухое, тоскливое волнение, без понимания даже причин его.

Быть может, вам все же не совсем понятно мое тогдашнее душевное состояние? В таком случае, постарайтесь припомнить, не было ли с вами вот какого переживания: вы попадаете в какое-нибудь совершенно вам незнакомое место, и вдруг... вам кажется, что вы *были* уже тут *когда-то*. Вспомнить, когда и при каких условиях — вы абсолютно не можете, но чувствуете, что вы здесь были наверное... А между тем, разум говорит, что вы здесь первый раз. Наверное,

с вами было это хоть раз в жизни?.. Так вот, по мнению теософов, это смутное воспоминание служит ясным доказательством того, что вы действительно были в этом месте, но были *до своего рождения*, то есть тогда, когда вы были еще не тем, что вы сейчас. Конечно, продолжают теософы, вы не можете вызвать в своей памяти отчетливых образов предметов, так как *не эти* ваши глаза их видели раньше и *не этот* мозг их запечатлел. Это есть явление исключительно *душевной памяти*.

Не знаю, правы ли вообще теософы, но ко мне их теория вполне приложима, так как я — единственный из людей — пережил действительно *научно запротоколированный факт метемпсихоза*...

Добавлю ко всему сказанному только еще одно: единственным внешним выражением моего душевного беспокойства было то, что я совершенно непроизвольно и неожиданно для себя закинул голову и завыл тонким, жалобным собачьим воем...

А теперь позвольте продолжать описание фактических событий.

Мое бытие было прервано совершенно неожиданно. Я увидел подходящих ко мне двух людей.

Оба были того огромного роста, какого казались мне все люди с тех пор, как я сам, превратившись в пуделя, уменьшился объемом в несколько раз. Ноги людей представлялись мне огромными и непропорционально длинными; тело кверху постепенно суживалось и увенчивалось совсем маленькой головкой; такую иллюзию давала перспектива.

Одного из приближавшихся ко мне людей я знал и... не навидел. Это был ассистент Стыка. Почему он внушал мне такую ненависть, не знаю, но она была несомненна. Другой был мне незнаком. (Вероятно, это был профессор Парсов.)

Увидев Стыку, я сразу почувствовал такой сильный прилив гнева и страха, что вся шерсть поднялась у меня на спине, зубы оскалились, и я яростно зарычал на подходивших ко мне людей.

Это, по-видимому, их испугало, и они ушли в противоположный угол комнаты. Я же продолжал лаять и рваться на цепи, к которой был привязан. Через несколько минут ко мне вернулся Стыка, на этот раз один. Он наклонился надо мной, не спуская с меня глаз. Очевидно, он ловил момент, чтобы удобнее схватить меня. Его взор обладал какой-то особой, мучившей меня силой, вызывавшей во мне просто бешенство. Вдруг, удачно извернувшись, я кинулся на него и впился зубами в его руку!

Конечно, мое нападение мало помогло мне. Через минуту человек уже зажал меня под мышкой, как клещами, и поволок к какому-то странному предмету причудливой формы, впутавшему мне дикий ужас... Сейчас я знаю, что этот страшный предмет был всего-навсего невинный аппарат для измерения жизненной энергии. Но если бы ученые могли представить себе, что переносят несчастные животные, обреченные на вивисекцию только от одного ожидания мучений, они, — я верю! — во многих случаях, когда это не вызывается безусловной необходимостью, отказались бы даже от сравнительно невинных опытов над животными. Вздор, что животные не понимают своей участи! Они так хорошо ее понимают, что, говорят, некоторые собаки перед опытом седеют от страха...

О! как я страдал... Такой ужас, такая смертная тоска, такое сознание незащитности! Я стонал, выл, слезы текли из моих глаз, и я взглядами умолял жестокого человека сжалиться надо мной, маленьким, слабым, беспомощным животным, которое не в силах защищаться и не может просить словами... Когда опыт кончился, я дрожал всеми членами, как в лихорадке...

Затем, благодаря рассеянности ученых, забывших запечатать дверь, мне удалось убежать от моих мучителей. Какое это было счастье! Какое ясное чувство свободы, простора, избавления от опасности охватило меня, когда я выбежал на улицу. Чудно хорошо было мчаться, опустив голову вниз, к самой земле, отыскивая верное направление пути то по еле уловимым запахам, то по какому-то еще другому особенному чувству, определить которое я не умею. Земля, как

длинная черная полоса, быстро уходила из-под моих ног, и я мчался — чем дальше, тем все более уверенный, что я на верной дороге. Но мере того, как я бежал, мною овладевало чувство непреодолимого стремления к цели. Я еще не знал ее, но уже предчувствовал: это были те неведомые прекрасные существа, которых собачья половина моего «я» любила горячей любовью. Я знал, что я приближаюсь к ним и что вот-вот сейчас увижу их! Так велико было желание поскорее достигнуть цели, что я нарочно обегал кругом все попадавшиеся на пути соблазны: встречных собак, булочные и мясные лавки и разные кучи мусора, от которых шел такой приятный, возбуждающий аппетит запах.

Постепенно я начал узнавать местность: вот улица, за поворотом которой будет другая, и там... я понесся как стрела!

Наконец я увидел небольшой деревянный дом с двориком, наполнившим мое сердце удивительно сладостным чувством. Уже издали слышался оттуда симпатичный звук собачьего лая и визга и родной запах многих знакомых псов... О, как я любил все это!

Все ближе и ближе... Бурей ворвался я на крыльцо и, наконец, увидел то существо, к которому так жадно стремился: это был он, тот самый прекрасный и величественный, как божество, великан, которого я видел во сне...

С восторженным лаем и визгом кинулся я лизать его руки...»

VII

Неожиданный аукцион у Дворяшкина

Владелец собачьего питомника Дворяшкин не очень огорчился, узнав о пропаже одной из своих собак. Это был человек тупой и опустившийся, непомерной толщины; его трудно было чем бы то ни было вывести из сонного равнодушия. Не так отнеслась к делу дочь Дворяшкина. Мару-

ся; она была немало огорчена, узнав, что бежал тот самый пуделек, которого она особенно любила, кажется, за его выдающуюся глупость. Когда же на другой день Каро вернулся, неся на ошейнике обрывок какой-то проволоки, девочка была положительно тронута и собственноручно накормила его остатками обеда на кухне (псы особенно ценили эту честь).

Каро прыгал вокруг девочки, лизал ей руки и жадно заглядывал в глаза. Девочка, больше ради того, чтобы не садиться сразу за уроки, начала учить пуделя разным штукам. Дворняшкин, между прочим, занимался и дрессировкой собак, продавая потом наиболее способных псов знакомому клоуну. У него были обручи для прыгания, высокие узкие табуреты, картонные с большими цифрами и буквами и прочие наглядные пособия собачьей педагогики.

Девочка попробовала две-три легких штуки и, заметив с удивлением, что Каро на этот раз, против обыкновения, очень легко идет на выучку, перешла к трудным фокусам. Оказалось, что и их Каро усвоил с какой-то исключительной легкостью. Тогда девочка взялась за карточки с цифрами...

Через час она не без торжественности позвала отца.

— Смотри, папочка, — сказала она ему, — ты говорил, что Карочка глупый пуделек. Ну вот, ты и увидишь, как ты был к нему несправедлив... Каро, принеси «три»!

Пудель пошел в угол и принес в зубах картон с цифрой три. Он умильно замахал хвостом и остановился. Дворняшкин тяжело дышал своим большим животом и молча подтянул брюки. Маруся погладила пуделя и велела ему принести «пять». Пудель принес и пять и снова остановился, не спуская преданных глаз с своей повелительницы.

— Теперь сложи... Каро, сложи три и пять!

Дворняшкин шевельнулся. На его жирном лице появилось что-то вроде слабого любопытства.

Каро быстро побежал в угол, разбросал там несколько картонов и схватил тот, который ему был нужен. Когда Дворняшкин увидал на картоне цифру «восемь», он сильно засопел носом. Это у него означало, что он думает. Посопев немного, он наконец проговорил:

— За такого пуделя в цирке двух четвертных билетов не пожалеют, — и ушел спать.

Поздно вечером дочь разбудила отца и, сверкая восхищенными глазками, потащила в соседнюю комнату.

— Смотри, папочка... Каро читает! — воскликнула она. Дворяшкин с изумлением увидел, что пудель стоит задними лапами на стуле, а передними опирается в развернутую книгу. Взгляд собаки, озадаченный и словно припоминающий, был устремлен на страницы. Дворяшкин засопел было, потянул кверху штаны и вдруг рассердился.

— Глупости, все глупости! — воскликнул он с досадой, обращаясь к девочке. — Только шалишь зря! Уроки-то выучила ли?

И затем он пинком сбросил пуделя со стула и, ворча про себя, ушел в свою спальню...

Он еще не знал тогда, какие сюрпризы готовит ему пудель на следующий день!

Дворяшкин вставал рано, часов в пять. Но не успел он еще окончить своего несложного туалета, как к нему явился уже первый покупатель.

Удивляясь такому раннему приходу, Дворяшкин вышел к нему. Это был довольно невзрачный и потертый господин, одетый, впрочем, не без претензии и с толстой золотой цепочкой на жилете. Он странно поводил носом, как будто нюхал что-то.

Незнакомец фамильярно кивнул Дворяшкину.

— Не ждали так рано покупателей? Хе-хе! Шел, гуляя, да и увидел вашу вывеску. Дай, думаю, зайду, посмотрю, нет ли и для меня чего подходящего... Ну, показывайте свой товар. Мне нужна полицейская собака. Я — сыщик! — представился незнакомец.

Оба вошли в питомник. Псы лаяли, выли, рвались за своей изгородью. Одного за другим выводил их Дворяшкин, но незнакомец, посмотрев на них, махал рукой: не годились!

— Да вы бы сказали лучше прямо: какой породы пес вам надобен, — сказал наконец раздосадованный Дворяшкин. — А то что же я вам всех собак-то водить буду!

Незнакомец снисходительно похлопал его по плечу.

— Полицейская собака может быть всякой породы, таково мое мнение, — сказал он. — А впрочем, покажите... черного пуделька, что ли?

В эту минуту сыщик заметил вертевшегося у него в ногах Каро.

Он наклонился над собакой и долго гладил и разбирал ей шерсть. Вдруг он вздрогнул и тотчас же подозрительно посмотрел на Дворняшкина: не заметил ли тот? Но Дворняшкин решительно ничего не заметил.

— Иной раз шерсть у пуделей лезет? — сказал сыщик осторожно. — Я смотрю, у этого будто на плече вылезла?..

— Нет, — перебил Дворняшкин, — это у него давно уже... подрался с собаками, так и вырвали клочок... Зато умен уж как! Не хотите ли посмотреть, какие он умеет штуки делать?

— Пуделек ничего себе, — сказал сыщик небрежно. — Только ведь они бедовые, пуделя, того и гляди сбегут, а потом за них и отвечай. Он у вас никогда не сбежал?

Дворняшкин сознался, что сбежал.

— Ну, вот видите. И давно?

— Да вчера всего и вернулся, — отвечал Дворняшкин. — Только я думаю, что не сбежал он, а не иначе, как украли. Потому что раньше за ним таких художеств не было.

— И очень просто, что украли, — подхватил сыщик. — Ведь до чего народ дошел, не поверите! Собак нынче ловят воры особым приспособлением из проволоки, которая их хватает за ошейники!

Дворняшкин засопел носом.

— Да что вы? А я-то думал, отчего это у пуделька на ошейнике проволока оказалась! И как же это они их ловят, расскажите, пожалуйста?

Однако сыщик, хотя весьма заметно обрадовался, узнав, что у пуделя на ошейнике был обрывок проволоки, но не пожелал рассказывать, как воры ловят собак, сославшись на профессиональный секрет, и перевел разговор довольно-таки неожиданно на печать и газеты. Осведомившись, что Дворняшкин мало читает газеты, а «Столичных ведомостей» никогда и в глаза не видел, сыщик по каким-то таин-

ственным причинам еще значительно повеселел.

— Ну, — сказал он, хлопая Дворяшкина по плечу, — счастье ваше! Покупаю пуделька... Сколько он стоит?

Дворяшкин чуть запнулся, но затем твердо ответил, что ввиду особого ума собаки дешевле 50 рублей продать ее не может.

Сыщик так и покатился с хохоту.

— Ну и шутник же вы! — произнес он, наконец, сквозь смех. — Однако шутке время, а делу час. Сколько стоит собака? — И он деловито вынул бумажник.

— Пятьдесят рублей.

Началась торговля, во время которой оба дельца так увлеклись, что не заметили, как к воротам подкатил автомобиль. Прежде чем Дворяшкин успел выйти навстречу новому клиенту, высокий красивый брюнет был уже во дворе.

— Кто здесь хозяин? Живо! Тащите сюда всех черных пуделей!

— Ваша милость... — заторопился Дворяшкин. — Пожалуйте сюда, на крылечко... я сейчас... или, может быть, в дом изволите войти?

Но гость не слушал. Увидев Каро, он быстро наклонился к нему, разобрал шерсть на шее и громко воскликнул:

— Покупаю этого! Что стоит?

— Извините-с, уже, — сказал спокойно, но нагло сыщик, выступая вперед.

— В таком случае, покупаю у вас! — не смущаясь, возразил брюнет. — Даю триста рублей. Согласны?

Но тут уже вступился Дворяшкин.

— Когда же это вы его купили? — обратился он с негодованием к сыщику. — Мы с вами еще и в цене-то не сошлись. Пудель мой и я сам продаю пса его милости за... триста рублей. (На этих словах Дворяшкин немного поперхнулся.)

— Даю четыреста! — завопил незнакомец.

— Пятьсот двадцать пять!

— Тысяча!

— И рублик!

- Две тысячи!
- И... и... рублик!
- Три тысячи!

Сыщик отступился. Дворяшкин совсем ошалел. Он не верил своим ушам и, когда таинственный покупатель сунул ему пачку сотенных ассигнаций и, подхватив визжавшего пуделя под мышку, бросился в автомобиль, то Дворяшкин был близок к удару. В довершение его растерянности на крыльце появилась Маруся и, увидев происходившее на дворе, бросилась со слезами на глазах к автомобилю с криком: «Каро! Каро! отдайте моего Каро!»

Но было уже поздно. Автомобиль тронулся и, дав сразу полный ход, быстро скрылся из виду.

Дворяшкин стоял с разинутым ртом, а сыщик неистовствовал:

— О, дурак я, дурак! Упустил дубину... совсем ведь в руках была! А-а... О-о...

Затем он вдруг задумался и злобно добавил:

— Ну, и этот длинный черт тоже не жирно попользуется. Ведь награды- то назначено *всего-навсего* три тысячи!

VIII

Пробуждение и конец рассказа бухгалтера

Было уже 10 часов вечера, когда профессор Парсов и его ассистент, оба утомленные бессонной ночью и страшной тревогой, бледные и осунувшиеся, хлопотали, склонившись над расprostертым и все еще недвижимым телом Червякова. Пудель Каро сидел в углу комнаты, привязанный на веревке, и удовлетворенно облизывался после съеденной тарелки костей.

Наконец труды ученых увенчались успехом: бухгалтер едва заметно вздохнул, у него стал прощупываться пульс, появился легкий румянец на лице. Червяков начал приходить в себя... хотя далеко не сразу. Его гипнотический сон,

продолжавшийся столько времени, был, видимо, очень глубок. Ученым, которые в первый раз за два дня вздохнули свободно, пришлось еще прибегнуть к разным возбуждательным средствам.

Наконец, после повторных впрыскиваний, Червяков резким движением поднялся с кушетки, а затем, пошатываясь, встал на ноги. Он сделал машинально шаг вперед, поднял руку к глазам и долго разглядывал ее с жадным любопытством, заговорил что-то быстро-быстро и невнятно, не dokonчил, обернулся к профессору, схватил его крепко за руку, долго смотрел на него пристально и недоверчиво, и вдруг, точно вторично очнувшись от какого-то сна, сжал себе руками голову и опустился на кресло.

Стыка подошел к нему и подал рюмку коньяку. Жадными глотками, расплескивая жидкость, он выпил коньяк.

— Как вы себя чувствуете? — спросил профессор осторожно.

— Ничего... хорошо... благодарю вас, — отвечал он глухо и рассеянно; затем озабоченно прибавил: — Есть у вас зеркало?

Стыка принес небольшое зеркальце. Червяков нетерпеливо схватил его и тревожно начал себя осматривать со всех сторон. Осмотр, видимо, удовлетворил и успокоил его. Он отложил зеркало и задумчиво обвел глазами комнату. На секунду взгляд его остановился на аппарате для измерения жизненной энергии, некоторое время сосредоточивался на пуделе и наконец упал на дверь в углу комнаты.

— Эта дверь у вас в коридор? — спросил он рассеянно. — Как вы это так... неосторожны, господа, в своих опытах, не принимаете даже примитивных мер предосторожности?..

Профессор и Стыка виновато заморгали глазами, но Червяков уже забыл, о чем спрашивал, и с жадным любопытством рассматривал висевшие на стене картины.

— Да, да, — шептал он, — эти самые... прекрасные картины! Ландшафт, портрет и жанр: очень выразительные и *простые* по сюжету картины... Послушайте, — вдруг перебил он сам себя, — неужели вы в самом деле превратили меня в собаку?

Ученые переглянулись.

— Не превратили, а временно переселили ваше «я» в собаку, — мягко ответил профессор.

— С научной целью?

— С научной целью.

— И что же, достигли цели? Узнали, что хотели?

— Как же... Мы с вашей помощью весьма обогатили науку, — сказал Стыка.

— Мы узнал, что «чистое я» существует независимо от мозга, — прибавил профессор, — но проявляется вовне исключительно через мозг и...

Но Червяков перебил:

— Какой же... породы была собака?

— Разве вы не догадываетесь?.. Пудель.

— Пудель! — горько повторил Червяков и зашагал по комнате.

Ученые снова переглянулись.

— Вы не очень утомлены? — осторожно спросил Стыка, подходя к бухгалтеру. — Может быть, вы желаете соснуть?

— Нет-с, увольте! — живо возразил Червяков. — Довольно с меня! К тому же сейчас я, кажется, совсем оправился...

— В таком случае, может быть, вы не отказались бы передать некоторые из впечатлений ваших от опыта?

Профессор сделал было знак протеста, но Червяков выразил свое согласие начать рассказ, и затем, изложив почти дословно все, что нам уже известно из предыдущих глав, перешел к описанию пребывания своего у Дворняшкина.

— Если вы думаете, господа, что знаете, что такое значит любить, — сказал бухгалтер, — то вы жестоко ошибаетесь... Обратитесь раньше в собаку, поживите у какого-нибудь человека, который будет кормить, поить, ласкать... и бить вас, и тогда вы узнаете, что такое любовь! Вы узнаете, что если любимое вами существо на пять минут уйдет из комнаты, то вами овладеет сначала беспокойство, потом скука, печаль и, наконец, такая отчаянная безумная тоска, что свет Божий покажется не мил. Вы познакомитесь со всей полнотой блаженства, когда ваш хозяин или хозяйка похвалят вас за что-нибудь, и со всеми муками ревности,

если они обратят при вас внимание на другую собаку. Вы, как нищий, будете искать их ласки и униженно просовывать свою голову под руку человека, чтобы он только вас погладил немного. Вы будете самоотверженным и преданным не за страх, а за совесть рабом человека, которого надо любить даже за побои! Вы, наконец, не пожалеете своей жизни за них!

Впрочем, позвольте, я вам расскажу маленький эпизод, имевший место со мной сегодня ночью...

Дом, в который я бежал от вас, находится, кажется, в чертовски глухом месте? По-видимому, у старика есть денежки и об этом было известно... Так или иначе, но сегодня к нам в дом забрался вор...

Кроме меня, старика и девочки в доме находилась еще только глухая прислуга. И вот, когда все уже спали, я слышал тихий и подозрительный шорох. Я тотчас же проснулся, и уши мои поднялись. Какое-то неопределенное и доселе мне непонятное чувство подсказало мне, что в соседней комнате происходит недоброе, что там находится *враг*... Я вскочил и с рычаньем бросился в соседнюю комнату. Там, в этой комнате, находилась та, которую я любил больше себя, больше жизни, милая девочка... (дочь, кажется, моего хозяина?)

— Да, кажется, — отвечал Стыка.

— И вот что я увидел, — продолжал Червяков. — В углу на кровати мирно спала, свесив беленькую ручку, девочка, а над ней стоял огромный человек в лохмотьях, показавшийся мне совершенно черным... Он был бос, а в руке держал блестящий при тусклом свете луны топор. Он поднял топор над головой девочки... но не успел опустить его, ибо я впился зубами в его ногу. Человек застонал и, обернувшись ко мне, с бешенством взмахнул топором. К счастью, топор повернулся и только скользнул по мне боком. Было мучительно больно от удара, страх перед вторым готовившимся ударом был безумно велик... но вид девочки, беспокойно повернувшейся от произведенного нами шума, и мысль, что злодей убьет ее, если я его выпущу, прекратила всякие колебания. *Я не разжал зубов и не выпустил ноги*

негодя! Да, господа, и поверьте мне, что этим поступком я считаю возможным гордиться больше, может быть, чем всем, что я сделал в качестве человека!..

Вор хотел ударить меня вторично, но в это время проснулись собаки в питомнике; они подняли такой лай, что вор испугался; оторвав меня от своей ноги, он кинулся к окну и в одну секунду перемахнул через него. Когда девочка через секунду проснулась, никого в комнате уже не было, и она даже не догадалась, в чем было дело. Заметив меня, она снисходительно дала полизать мне свою ручку и затем, повернувшись на другой бок, заснула... Она, впрочем, была хорошая девочка, господа, и очень плакала, когда меня уволили от нее...

Червяков печально вздохнул. Затем, как бы собравшись с мыслями, продолжал:

— Это, собственно, было последнее событие, случившееся со мной во время моей двухдневной собачьей жизни... Вас, вероятно, интересуют теперь мои общие впечатления за этот промежуток времени? Признаться сказать, очень трудно мне передать их вам так, чтобы вы живо могли их представить себе. Ну что, например, из того, если я вам скажу, что мысль моя была в то время *вяла и отрывочна*? Разве вы можете вообразить хоть приблизительно *настоящую степень* этой вялости и отрывочности? Можете вы вспомнить себя самих такими, какими вы были крошечными детьми, когда не говорили еще *ни одного слова*?..

Бухгалтер остановился на секунду. Вдруг какая-то новая мысль как будто пришла ему в голову.

— Слово!.. — сказал он. — Вот, пожалуй, то понятие, которое даст мне хоть некоторую возможность объяснить разницу между психической жизнью человека и животного... Да, именно, слово это и есть то самое, что составляет главную, если не всю разницу между животным и человеком. Ведь мы, люди, не только говорим, но и *думаем словами*. Слово в мыслительных процессах играет такую же роль, как... заголовки книг в библиотеке! Как найти необходимую книгу, если у нее нет заголовка? Как напасть мыслью на нужное понятие, если нет слова, его обозначающего?..

Когда вы называете какую-нибудь книгу, «Дворянское гнездо», например, вы соединяете в этом названии целый комплекс идей. Так и слово обобщает в себе массу отдельных впечатлений. Как книги мы можем сопоставлять и сравнивать между собой, так и понятия, выражаемые словами, могут служить материалом для дальнейших обобщений. А у животного этого-то материала и нет! Ведь у них нет слов не только на языке, но и в мыслях: следовательно, почти нет и самих мыслей...

Едва ли, однако, было бы верно считать, что животные вовсе лишены дара обобщения. Наоборот, факты опровергают это. Делая, например, проступок, собака *заранее* знает, что ее накажут. Разве это не обобщение? Но не будучи в состоянии назвать свои впечатления словом, то есть как бы наклеить ярлычок на книгу, животное часто теряет в памяти это впечатление и, когда нужно связать его с другим впечатлением, не может уже вызвать его, как библиотекарь — найти книгу без ярлыка. Мыслить без слов так же трудно, господу, как считать без чисел...

Между прочим, вы знаете, собаки вовсе не лишены способности счета; но они только не сознают при этом, что они считают. Когда передо мной положили раз две кучи костей, из которых в одной было девять, а в другой шесть костей, я ясно понял, что в первой куче есть три лишних кости. Я сделал таким образом вычитание, не зная, что это вычитание... Должен оговориться, впрочем, что этот процесс ничего общего не имеет с тем счетом, какой проделывают дрессированные собаки в цирках. Выбирая из кучи картонов тот, на котором написано число, дающее верное решение заданного сложения или вычитания, дрессированное животное основывается вовсе не на вычислениях, а только на механической памяти проделанных ранее упражнений. Тут математики и признака нет! Животное даже не понимает, что цифры, написанные на картонах, означают числа!

— Скажите, пожалуйста, — перебил в эту минуту рассказчика профессор, — есть какой-нибудь свой язык у собак, которым они разговаривают между собой?

— Нет, — категорически отвечал Червяков.

— Даже самого примитивного нет?

— Нет, — подтвердил бухгалтер. — Конечно, собаке понятны оттенки лая, визга и воя другой собаки. Я знал, например, что один лай радостный, а другой — злобный и трусливый... Но ведь разве это язык?..

— А инстинкт? Что вы скажете об инстинкте? — спросил Стыка.

Червяков немного помолчал, как бы собираясь с мыслями. От рассказа ли или от пережитых впечатлений, но он чувствовал себя очень утомленным. Его сильно клонило ко сну, и он с трудом уже говорил.

— Не знаю, как вам сказать... Мне трудно в своих переживаниях отделить инстинкт от мысли, которая по своей слабой сознательности сама мало отличалась от инстинкта. Инстинкт — это вроде как бы шестого чувства, что ли... и он верно и целесообразно, хотя и бессознательно направляет поступки животного... Так, по крайней мере, я понимаю... да, да, нечто подобное я испытал... Только мне ужасно трудно почему-то стало вспоминать... Это было тогда... когда я...

.

Червяков решительно не помнил, как и когда он закончил свой рассказ ученым. Было ли то действие сильного утомления или Стыка опять прибегал к гипнозу, но Червяков незаметно для себя впал в глубокий сон.

.

IX

Приемная финансового короля и заключение

Он проснулся оттого, что кто-то настойчиво тряс его за плечо и говорил на ухо в высшей степени убедительные слова.

Бухгалтер очнулся, спустил ноги, сел и протер глаза. Затем он снова открыл и закрыл их, как бы пробуя, что из этого выйдет; нет, все та же картина, как и раньше: улица большого города, дома, набережная какой-то реки, прохождение на тротуарах, извозчики, перед ним стоит городской и ласково повторяет:

— Нехорошо-с. С виду господин, а... такие поступки-с!

«Что это: новая метаморфоза? Кто же я сейчас?» — подумал Червяков и поспешно осмотрел самого себя. Осмотр привел к довольно утешительным выводам: на нем оказались червяковские сапоги, червяковские брюки; червяковская шляпа лежала рядом на тротуаре. Рука оказалась рукой, а не лапой и не копытом. Даже и город оказался знакомым. Это был Петроград; несомненно, бухгалтер сидел на набережной, на той самой скамейке, с которой собирался прыгать в Неву и где он в первый раз увидел Стыку.

Городской подал ему шляпу и, преподав еще пару назидательных и весьма полезных советов, ушел. Червяков минут с пять просидел на скамейке, медленно приходя в себя.

Вдруг неожиданная мысль сразу подняла его на ноги.

— Проверить! — чуть не закричал он на всю улицу. — Немедленно проверить! Или я с ума сошел, или через полчаса я буду знать истину. Я не позволю так шутить над собой. Я — человек, я — бухгалтер! К профессору! Немедля на квартиру Парсова, и там я потребую открыть мне истину: кто я?!

И полный горячей решительности, он быстрым шагом направился в путь.

Однако он тотчас же наткнулся на затруднения, — куда идти? Он не знал ни улицы, ни дома профессора. Напрасно он силился вспомнить направление, в котором вез его Стыка, напрасно обегал одну за другой все ближайшие улицы, — они смотрели на него целым рядом незнакомых домов, совершенно не похожих на дом профессора Парсова. Червяков заглядывал даже в лица швейцаров, но ни одни усы не напоминали великолепных усов профессорского швейцара.

Тогда Червяков кинулся в кофейную и потребовал «Весь Петроград». Лихорадочно вертел он его страницы, но ни профессора Парсова, ни просто Парсова, ни Стыки в числе жителей не оказалось. Червяков приуныл и энергия его ослабла, тем более, что он почувствовал сильнейший аппетит, а в кармане у него оказалось лишь три копейки. В эту минуту он вспомнил про Петроградера. У него он найдет объяснение волнующих его вопросов.

— К Соломону Соломоновичу! — решил он.

Через два часа, выждав установленный искуc в приемной (за каковое время его пыл еще значительно остыл), Червяков входил в кабинет финансового короля. Этот знакомый ему роскошный кабинет, уставленный массивной дубовой мебелью, увешанный тяжелыми порттьерами, покрытый толстыми коврами, заглушавшими шаги, как-то сразу, против воли Червякова, вызвал в его душе чувство привычной робости.

Так всегда бывало и раньше. Достаточно ему было услышать тот сильный и характерный запах смеси дорогих духов и сигарного дыма, каким был пропитан кабинет всемогущего директора, чтобы сразу исчезло какое бы то ни было иное настроение и чтобы в коленях почувствовалась некоторая слабость, а голова склонилась вперед и несколько набок.

Так и сейчас, вступив в кабинет с твердой решимостью разъяснить истину, он вдруг почувствовал, что здесь, в этом кабинете и он сам, и все его приключения совершенно ничтожная величина перед великими финансовыми делами, какие тут творятся. Даже его собственные желания как-то непроизвольно изменялись в финансовом святилище: Червяков неожиданно вспомнил, что главный его интерес заключается, в сущности, тоже в одной простой финансовой операции, именуемой получением места, а выяснение истины можно было свободно отложить и далее произвести какими-либо другими более удобными путями и в другом месте, не тревожа и не смущая важный покой финансового святилища.

Соломон Соломонович чуть-чуть приподнялся и благосклонно протянул Червякову свою мягкую, как подушечка, руку. Затем он терпеливо выслушал просьбу Червякова, с которой тот обращался к нему уже в третий раз, дать ему место «хотя бы счетного чиновника» и, наконец, сказал:

— Место хотя бы счетного чиновника? Гм... гм... Но вы ведь, кажется, раньше были бухгалтером? Зачем же такая де-гра-дация? Мы... гм... гм... кажется, действительно несколько немиловисто обошлись с вашими прежними просьбами. Я пересмотрел сегодня ваше дело... (Соломон Соломонович выразительно потрогал бронзовую статуэтку пуделя, которая стояла на его письменном столе в качестве пресс-папье и тонко и многозначительно улыбнулся). Да, пересмотрел и думаю, вернее, иду навстречу вашему справедливому и... вполне заслуженному (новая выразительная улыбка в сторону бронзового пуделя) стремлению получить место именно бухгалтера... Бухгалтера! — вдруг закричал Соломон Соломонович, так что у Червякова задрожал подбородок, а Соломон Соломонович, любивший иногда озадачить подчиненного, остался вполне доволен. — Мы, то есть банк, решили вас назначить бухгалтером, а не счетным чиновником! Да-с. И... и прошу не перебивать! (Червяков и не думал перебивать грозного начальника.) И я прошу вас забыть все прошлое... все-с без остатка, *как будто ничего не было!* (Улыбка стала такой многозначительной, что у Червякова моментально пропало всякое желание выяснять истину.) Что с? Вы что-то заметили?

— Нет-с. Ничего-с. Я... не замечал-с.

— В таком случае, через три дня прошу вас приступить к занятиям, а сегодня можете получить аванс в счет жалования и... отдохнуть. У вас вид *несколько утомленный*.

Червяков рассыпался в благодарностях и помчался с авансом в кармане домой.

На этом рассказ, как правдивое изложение фактов, собственно говоря, и оканчивается, так как фактов больше никаких не было. Можно ли назвать, например, фактом, заслуживающим внимания, случай, когда Червяков дня через

три после описанных событий сидел как-то раз вечером дома и в глубокой задумчивости посматривал на свою жену, и вдруг подошел к ней, внимательно понюхал ей нос и нежно начал лизать ей руку, пока она, наконец, не вывела его из странной рассеянности? Едва ли заслуживает также интереса публики оригинальный и даже несколько болезненный интерес Червякова (на что он сам жаловался) ко всем кучам мусора, тумбам, фонарям и прочим предметам, которые вовсе не должны бы интересовать бухгалтера солидного банка.

Но что, казалось бы, заслуживает безусловно интереса общества, так это дальнейшая судьба опытов искусственного метемпсихоза! Между тем автор лишен, к сожалению, возможности дать в этом отношении хоть какие-либо сведения.

Профессор Парсов и его ассистент Стыка не нашли нужным опубликовать свое поразительное открытие. Соломон Соломонович Петроградер, который, несомненно, мог бы пролить некоторый свет на опыт, предпочитает также молчать, придерживаясь какой-то двусмысленной системы улыбочек и недоговариваний.

Червяков, запуганный тяжелыми обстоятельствами, да и от природы робкий человек, хотя и говорит, что он добивается и добьется «выяснения истины», но дальше вступления в члены общества покровительства животным пока не пошел, да, по мнению многих, и не пойдет. Таким образом, все осведомленные в истории опыта по методу остатков и сопутствующих изменений лица до сих пор молчат. Между тем, казалось бы, для человечества далеко не безразлично знать секрет производства этого опыта! Не говоря уже о чисто научном значении его, этот опыт мог бы принести, при применении его в широком масштабе, огромную практическую пользу...

Действительно, пусть читатель только вдумается в сущность этого открытия. Человек, или, вернее сказать, «чистое я» человека получает возможность переселяться временно в чужой мозг; при этом, пребывая там, как бы в чужой квартире, совершенно незамеченным, он до такой степени сли-

вается с посещаемым мозгом, что ознакомляется со всеми сокровеннейшими мыслями, чувствами, желаниями и инстинктами визитированного субъекта. Представьте себе теперь, что душой-посетителем является, например, пылкий юноша, собирающийся сделать предложение руки и сердца молодой девице, а объект визитации — мозг избранной им подруги... Какие последствия может иметь опыт профессора Парсова? Да просто-напросто конец раз и навсегда всем несчастным бракам! Жених, ознакомившись ближайшим образом с мозгом своей невесты, тотчас же разбирается во всех ее качествах и недостатках и взвесит, с одной стороны, ее склонность к капризам, взбалмошность, самоуверенность, невежество, сварливость и т. д., а с другой — ее доброе сердце, мягкость, преданность, доверчивость, откровенность и т. п. В результате юноша безошибочно разрешит вопрос о своей женитьбе, как арифметическую задачу.

А какое колоссальное значение мог бы иметь опыт профессора Парсова для дипломатов! А коммерция и вся область делового, финансового и биржевого мира? А педагогика! А юстиция? Да мало ли еще в каких областях могут быть применены опыты искусственного метемпсихоза!

Словом, значение открытия профессора Парсова настолько громадно, что сейчас трудно даже и предусмотреть все его последствия и влияния на различные стороны человеческой жизни; вся она, может быть, направлена под влиянием указанного открытия на новый путь значительного усовершенствования и прогресса. Для этого необходимо только, чтобы экспериментаторы вели дело честно, в открытую и руководились в своих действиях соображением исключительно о благе человечества, а не личными выгодами. И, кроме того, обставлять опыты следует, ввиду их опасного характера, особенными предосторожностями, отнюдь не забывая закрывать двери и т. п.

Прежде все мы просим, мы настаиваем, мы требуем, наконец, от профессора Парсова, Стыки и Соломона Соломоновича Петроградера открыть нам тайны опыта...

А. Числов

ИСТОРИЯ ОДНОГО ИНТЕРВЬЮ



От уважаемой редакции журнала «Мир и человечество» я получил почетное поручение интервьюировать посетившего проездом Петербург английского писателя У., пользующегося всемирной известностью.

Выбрив первым делом начисто усы и вообще «англизировав» свою наружность, поскольку это оказалось возможным, — я решительным шагом вышел было из дома, направляясь к У., когда вспомнил, что не знаю его адреса. Пришлось прибегнуть к телефону. Спросить в редакции было проще всего, но хорош интервьюер, который не может сам узнать адрес интервьюируемого лица! Я обратился сперва в английское посольство, затем к консулу, потом в двести гостиницы и, наконец, соединившись с «English Home», напал на следы великого писателя. В это самое время проклятый телефон начал шуметь и выстукивать отчаянную дробь в мое левое ухо. Но разве молодого интервьюера можно остановить таким пустяком?

Поссорившись с тремя обыкновенными и одной старшей телефонной барышнями, я с грехом пополам установил, что У. остановился у своего родственника Грина, англичанина-фабриканта.

Через несколько минут я уже беседовал с супругой мистера Грина.

— Вы желаете видеть нашего гостя?... Интервью? Сейчас я спрошу его... Да, он согласен... Что? Писатель ли он? Конечно... (сильный шум в телефоне, несколько стуков: ток! ток! ток!)... посвятил спорту и охоте. Что? Я говорю о его последней книге... Прежние книги? Вы о них уже сами знаете? Читали? Ну, конечно... Горячий поклонник?.. Сегодня, в три часа. До свидания.

С немалым энтузиазмом покинул я телефонную будку. Результаты переговоров превзошли мои ожидания.

Во-первых, *сегодня же*, через какие-нибудь два часа я увижу *его*! А во-вторых, я узнал уже немаловажную новость: великий писатель-фантаст написал *новую* книгу о спорте и охоте; этого даже наш редактор не знал!

Собственно говоря, я предчувствовал, что У. напишет когда-нибудь нечто в этом роде. Ведь у него поразительно разносторонний и слегка капризный талант: сегодня он пишет роман на интересной психологической основе, завтра выпускает юмористический рассказ, послезавтра печатает фантастическую повесть из жизни марсиан или людей каменного века, потом, неожиданно — социальную утопию. Такие-то именно таланты зачастую кончают чем-нибудь совершенно непредвиденным, например, охотой!.. Эту мысль стоило упомянуть при описании интервью...

Кстати, по поводу интервью. Я не одобряю тип американского интервьюера. Они действуют нахрапом. «Как вам нравятся наши края? Ваше мнение о Толстом? Об аэроплапах Сикорского?»... Так нельзя. Нужно вести себя с величайшей деликатностью, чтобы не спугнуть настроения интервьюируемого лица и не заставить его спрятаться в скорлупу.

Ровно в три часа я был уже у Грина. Познакомившись со своей недавней собеседницей, я не без волнения вхожу в кабинет к У.

Комната обставлена изящно. На столах куча английских книг и журналов. На полу ковер из шкуры белого медведя, несколько ружей и пара рапир.

Навстречу поднимается с кресла господин средних лет. Наружность корректная и типично английская. Лицо благородное и высоко-одухотворенное.

Представляюсь. Жмем друг другу руку сдержанно, но тепло, как люди, хотя незнакомые, но связанные общей профессией и притом представители двух великих дружественных наций.

— Как вы себя чувствуете в нашей столице, глубокоуважаемый коллега?

Мне кажется, что я сразу взял верный тон, так как гениальный писатель ответил мне весьма любезно:

— Благодарю вас, я чувствую себя у вас так же хорошо, как и везде, где могу бывать часто на свежем воздухе.

— Долго ли предполагаете пробыть в нашем городе, сэр?

— В общем, довольно продолжительный срок. Но, конечно, я намерен возможно чаще покидать его, разъезжая на охоту.

— На охоту?

— Да. Мой родственник, мистер Грин, и некоторые из его друзей устраивают для меня ряд великолепных зимних охот в окрестностях Петербурга. Конечно, зайцы и даже медведь после тигров...

— Вы говорите... тигров? (читатель может быть спокоен: и тени удивления в моем голосе не дал я заметить великому писателю при этом вопросе).

— Тигров. В джунглях Индии. Я прямо оттуда. О слонах не упоминаю просто потому, что охота на тигров затмевает всякую другую; это поистине королевская охота! Возвращаясь к нашей теме о зимней охоте, я должен сказать, что и в ней я — не новичок. В Сибири, близ Якутска...

— Я поражен, — вставил я драматическим шепотом. — Такие обширные путешествия и в то же время такая блестящая и плодотворная литературная деятельность!

Мистер У. задумчиво потер пальцами верхнюю часть переносицы и сказал:

— Литература, да... Говоря вообще, если бы литература отнимала у меня столько времени, сколько охота, может быть... Но не будем отклоняться от предмета нашей беседы. Вы ведь намерены меня интервьюировать. Ну что ж, хотите, я сообщу вам один эпизод, который еще неизвестен прессе...

Я выразил свой восторг, конечно, в пределах английской сдержанности.

— Этот эпизод, дорогой сэр, имеет отношение, несомненно, к вашей литературной деятельности? — спросил я.

— Нет, — ответил У. скромно, — не к литературной, а к охотничьей деятельности. Это было в тундрах Сибири...

Истинные таланты, когда коснутся их произведений, долго уклоняются от разговора о них со скромностью и застенчивостью, которые можно назвать поистине целомудренными. Я оценил эту сдержанность У. и решил безропотно прослушать его охотничий рассказ, чтобы затем уже осторожно навести разговор опять на литературу.

Мистер У. пустился рассказывать, а я слушать. «Эпизод» происходил, видимо, в каком-то чертовском захолустье. У. повез меня (конечно, в переносном смысле) сначала по Сибирской железной дороге, потом на лошадях, наконец, на собаках. Мы стремились добраться до одной весьма редкой породы лисицы. Мороз стоял ниже 40° (или 80°, не помню). Мы ехали по двенадцати часов в день и ночевали у якутов. В пути отморозили себе палец на ноге.

— Девятьсот шестьдесят пять ваших верст мы проехали без одной большой остановки! — воскликнул У.

Наконец, мы приехали к цели нашего странствия, в какое-то селение, где жило около ста русских и сотни три якутов. Оттуда опять поехали, отморозили еще два пальца и ухо. И наконец... убили-таки проклятую лисицу!

Похлопав меня дружески по плечу, писатель прибавил с детской гордостью:

— Можете смело описать эту охоту в вашем журнале; этот случай еще нигде не был напечатан.

Я решил, что пора действовать энергичнее.

— Конечно, я не премину воспользоваться вашим любезным разрешением, дорогой сэръ. Позвольте же мне заодно спросить вас... Я конечно, и сам охотник... в душе, но для ваших русских читателей... литературная ваша деятельность...

— Вы хотите меня спросить о моей книге?

— Да, — ответил я, становясь смелее, — но не о вашей последней книге.

Последние слова я подчеркнул, так как охоты, откровенно говоря, с меня было довольно! Но английский писатель, к сожалению, не вполне меня понял.

— Свои предыдущие книги я, признаться, сам не очень люблю; это произведения моей молодости. В таком случае, давайте поговорим о моей будущей книге.

ГЕРБЕРТЪ УЗЛЬСЪ ВЪ РОССИИ.

Еще январь прибылъ въ Петербургъ знаменитый англійскій романистъ Гербертъ Узльсъ. Знаменитый авторъ „Машинъ времени“ и „Борьбы мировъ“ прожилъ въ Россіи около двухъ недѣль. Литературное Общество пригласило его къ чтенію слѣдующимъ адресомъ:

„Всероссійское литературное общество пригласило знаменитаго писателя Г. Д. Узльса. Вы уже знаете, что въ Россіи читаютъ ваши произведенія въ русскіхъ переводахъ, одинъ изъ которыхъ вы украсили своимъ предисловіемъ. Мы хотѣли бы также говорить съ вами по-русски и мы учтемъ ваше время, когда посѣдимъ болѣе или менѣе продолжительнаго пребыванія въ Россіи, васъ не смутятъ рѣдкіе, обращенныя къ вамъ по-русски, и по возвращеніи въ Петербургъ мы почтите вновь наше общество своимъ посѣщеніемъ. Теперь позволимъ сказать вамъ, насколько мы цѣнимъ ваши плѣнительныя произведенія—эти

чарующія сказки, такъ по юношески бодрмы и такъ мудро дальновѣдныя по глубинѣ анализа современныхъ социальныхъ проблемъ и общественныя языкъ. Вы къ намъ явились нежданно изъ другаго міра, подобно какому-нибудь изъ вашихъ марсіанъ, но надѣемся, безъ всякаго опасенія за насъ. И все-таки мы побѣждаемъ силой вашего таланта, дѣйствующаго неограниченно на насъ. Позвольте надѣяться, что путешествуя по Россіи, узнавая положительныя и отрицательныя стороны русской жизни, вы не подвергнетесь опасности со стороны какого-нибудь русскаго микроба и благополучно вернетесь въ вашу великую свободную Англію, отъ которой мы получили столько высокаго, столько мудраго общественаго устроения, столько примѣровъ чудесныхъ культуръ

и цивилизацій, полный непревзойденныхъ никакой иной страной“.



Гербертъ Узльсъ.

Наконец-то!.. В какой новый мир унесет нас его прихотливая фантазия? Снова на Марс? Или в XXX век? В четвертое измерение? Или, быть может, даровитый романист готовит произведение, в котором нас пленит глубокая психология, яркость типов, живость рассказа? Я собирался уже засыпать У. всеми этими вопросами, но он сам предупредил меня, сказав:

— Это будет книга... о ружье.

Я едва не утратил своего душевного равновесия, но... неожиданная догадка озарила мой ум. Улыбнувшись тонко, как человек, собирающийся состричь, я спросил:

— О ружьях будущего, дорогой сэръ? Что-нибудь вроде скорострельного электрического ружья тридцатого века, не правда ли?

Но У. почему-то не понял моей шутки и даже как будто обиделся.

— Речь идет не о ружье будущего, а о современном ружье. Не понимаю, собственно, почему...

Надо было спасти положение. Я решил это сделать посредством новой остроуты.

— Ружье, пожалуй, и обыкновенное, — сказал я, подмигивая ему глазом, — но владелец его окажется, конечно, жителем Луны или подводного царства?

Писатель, признанный тонким юмористом, стоял сейчас передо мной, заложив руку за борт сюртука с холодным изумлением и вопросом на лице. Положение становилось неловким. Я решил отказаться от шутки и спросил серьезно, почтительно и задушевно:

— Вот вы советуете мне напечатать сообщенный вами эпизод в нашем журнале. Но отчего вы сами не опишете этот... замечательный случай в одном из ваших блестящих рассказов?

Мистер У. посмотрел на меня пристально и необыкновенно выразительно:

— Я не за-ни-маюсь беллетристикой, — отчеканил он.

Если известный писатель, романами которого зачитывается весь мир, заявляет вам, что он не занимается беллетристикой, — то это достаточно ясное указание, что интер-

вью кончено. Я отклонялся глубоко и низко...

.

Редактор, пробегая мое интервью, был поражен. У. увлекается охотой? Вот неожиданность! Целый эпизод из его охотничьих походов, нигде еще не напечатанный — великолепно-с! Тайга, якуты, лисица, восхитительно-с!

Он положил рукопись на стол.

— Вы счастливец! — проговорил он с завистью. — Какая жалость, что я сам не говорю по-английски... Ну, рассказывайте, каков он? Как он устроился в Европейской гостинице?

— Он остановился не в гостинице, а у своих родных, — поправил я его с рассеянной снисходительностью,

Редактор стал задумчив. Он перелистал мою рукопись, заглянул зачем-то в свою записную книжку, потом посмотрел на меня. Я начал положительно убеждаться, что зависть способна преобразить самого добродушного человека. Вдруг он спросил:

— А как фамилия тех родственников, у которых У. остановился?

— Грин, — отвечал я равнодушно.

Редактор начал хохотать и смеялся минуты три, внушая мне опасение за состояние своего здоровья. Наконец, я услышал:

— Вы были, мой ангел, не у писателя У., а у известного охотника и спортсмена по фамилии...

Зачем вам, читатель, знать его фамилию? Она отличалась от фамилии великого писателя всего на три буквы, да и то две из них в английском языке не произносятся...

И. де Рок-Казбеков

НОВЕ КОВЧЕГ



Странный край эта Малая Азия! На побережье Черного моря — в Гаграх, Сухуме, Батуме — почти никогда снег не выпадает, а рядом, южнее, в областях Карской и Эрзерумской, его хотя отбавляй. Жестокие морозы и сильные метели. Бури проходят с такой силой, что крыши сдирает с саклей. Прямо, надо сказать, самый удивительный климат.

Авиатор поручик Д. с наступлением зимы должен был поставить свой ньюпор в ангар впредь до более благоприятного времени.

Стоянка здесь, в углу Закавказья, была тогда, в мирное время, скучная. Офицерский кружок развлекался, чем мог, а всего больше разговаривали.

Однажды капитан Казанцев возьми, да и скажи авиатору:

— Вот вы, Петр Дмитриевич, хорошо летаете. Что вам стоит взлететь на Арарат и посмотреть, где Ноев ковчег находится!

— Вы шутите, — ответил авиатор. — А я как раз уже давно собирался посетить Арарат и именно с той целью, о которой вы говорите.

— То есть поискать первый корабль прародителей?

— Почему же нет? Я твердо уверен, что ковчег существует и посейчас. А раз он существует, его можно найти, — убежденным тоном произнес летчик.

Поручика Д. знали за человека религиозного, притом начитанного в священном писании. Поэтому к его предложению взлететь на Арарат все отнеслись серьезно.

А он, между тем, продолжал говорить веско и авторитетно:

— По-видимому, после потопа, бывшего тысячи лет тому назад, климат Малой Азии стал резко меняться в сторону понижения температуры. Когда ковчег остановился на горе Арарат и семейство Ноя вышло из него, климат на горе был сносный. Теперь же мы видим, что вершина ее, как корона, сияет снегами. Думаю, что оставленный ковчег впоследствии обмерз, покрылся снегом. Мороз же сохраняет даже органические тела необыкновенно долго. Как только выберется хорошая погода, непременно взлечу осмотреть гору, и увидите — привезу вам обломок ковчега!

Летчик говорил совершенно серьезно; мысль о шутке с его стороны никому не могла прийти в голову.

Присутствующие принялись его отговаривать. Лететь зимой на гору с вечными снегами было чистейшим безумием. Но летчик оставался непреклонен.

— Полечу!

Арарат считается священным во всем крае. Армяне, турки и курды одинаково чтут его, как место, где по повелению Бога, остановился прародитель человеческого рода. Они твердо уверены, что ковчег Ноя сейчас находится на горе под вечными снегами, как уверены и в том, что видеть его можно только тем, на ком лежит милость Аллаха.

До ковчега, говорит местная легенда, смертному нельзя добраться. Восхождение на гору требует не менее трех суток. Следовательно, ночью путник должен отдыхать. А в это время неведомые духи, охраняющие ковчег, переносят его вниз, к подножию горы. И проснувшись, путник видит себя на том же месте, откуда он двинулся на гору. Один любознательный мулла решил во что бы то ни стало взобраться на Арарат с целью осмотреть священный корабль. Три раза поднимался он, благодаря настойчивости, до половины горы, — и все три раза, после сна, оказывался у того места, откуда начинал подъем. Он решился подняться в четвертый раз. Тогда в сонном видении явился ему Азраил, ангел смерти, и, грозно сверкнув очами, спросил: «Желаешь ли ты, сын земли, проникнуть в ложе спасения рода человеческого, охраняемое небесными силами? Ты увидишь его, но заплатишься за это жизнью!..» — «О, небесный послан-

ник, — воскликнул испуганный мулла, падая ниц пред ангелом, — разреши мне лучше увидеть мою семью». — «Да будет по-твоему», — сказал Азраил. И отважный мулла проснулся дома на своей постели. Он вознес хвалу Аллаху, хранителю всего сущего, и подниматься на Арарат более не решался*.

Однако, наш летчик не думал следовать его примеру. Твердое намерение лететь не покидало его.

В одно прекрасное утро, когда солнце, сияя на небесной лазури, отражалось на свежем снегу миллионами скачущих цветных огоньков, поручик Д. решил подняться. Слегка морозило. Аэроплан, выведенный из сарая, выделялся на белой скатерти, как допотопное чудовище.

Запорхал мотор, пчелой зажужжал пропеллер; аэроплан плавно отделился от земли и стрелой понесся в голубую высь, как бы поднимаясь по хрустальной горе.

Скоро он стал казаться величиной с ласточку, несущуюся к сияющим склонам сахарной головы Арарата. В полевые бинокли офицеры некоторое время различали не только аэроплан, но и фигуру авиатора.

Летчик обещал возвратиться через шесть часов, если все будет благополучно. Назначенный срок истек, а летчик не возвращался.

К вечеру, как на грех, разразилась метель. Снег, правда, теплый, крутился в воздухе столбами, в ушах выло.

Разложили костры, чтобы указать авиатору путь для спуска. Он не появлялся. Тогда капитан Кульчицкий не выдержал и, взяв с собою конный отряд, пустился отыскивать следы авиатора, не задумавшись перейти границу, чтобы подняться к подошве Арарата.

Отряд блуждал всю ночь. С полуночи буря утихла. Отряд немножко отдохнул, а с первыми проблесками зари уже стоял у подошвы горы.

Нашли широкую отлогость и стали по ней взбираться на каменные бока Арарата. Подъем через несколько часов

* Эту легенду автор слышал в Закавказье.

сделался очень затруднителен. Следов летчика не отыскивалось.

Уже хотели возвращаться обратно, чтобы вовремя добраться до лагеря, как один из солдат обратил внимание на скалу странной формы, белевшую вдаль, направо:

— Будто человек сидит с протянутой рукой!

Кульчицкий схватился за бинокль: на высокой, обрывистой скале висел аэроплан, полузанесенный снегом. Одно крыло выдавалось над пропастью и придавало ей странный вид человека с протянутой рукой.



С большими трудностями нескольким лицам удалось чуть не ползком пробраться к скале. Вот и аэроплан. Чернеет что-то! Авиатор сидел неподвижно, опустив голову на грудь. «Разбился? — подумали спасающие. — Нет».

Летчик мирно спал в своем аэроплане. Лицо его отражало усталость и страдание.

Когда его разбудили, он смотрел на окружающих ничего не понимающими глазами, словно вышел из другого мира. Он долго не мог уяснить себе, зачем он здесь находится и как попали сюда другие.

Наконец, как бы вспомнив что-то, сказал:

— Я сдержал свое обещание. Вот кусок дерева, из которого построен Ноев ковчег.

И пошарив у себя под сиденьем, он подал Кульчицкому небольшой обломок дерева, источенный червями. Кусок был тяжел, сероватого цвета с желтизной. Дерево слегка походило на дуб.

С любопытством взирали мы на каменное дерево. Рядовой Колесниченко потянулся в обломку. Хотел лучше рассмотреть, да поскользнулся и, взмахнув, выпустил обломок, чтобы схватиться за товарищей.

Кусок бесшумно свалился в стремнину.

— Что вы наделали?!.. — вскричал авиатор с отчаянием в голосе. — Его теперь не сыщешь.

— Где уж сыскать, — сокрушенно откликнулись солдаты.

Через несколько часов все были дома. Авиатор, опередивший отряд на своем ньюпоре, по прибытии тотчас же завалился спать.

На следующий день все ждали момента, когда летчик приступит в рассказу. И он не обманул этих ожиданий.

— Вылетел я при попутном юго-восточном ветре. Ветер был силен и порывист, аэроплан бросало из стороны в сторону; он клевал носом, и мне стоило большого труда его выровнять.

Когда вблизи оказалась снежная, искрящаяся под солнцем громада Арарата, мне пришлось употреблять все усилия, чтобы правильно маневрировать: в руках не было энергии, нужной для управления аппаратом; глаза смыкались. Я понял, что утомился, но сдаваться так скоро не хотел. Выпив глоток рому, почувствовал себя бодрее и стал подниматься ввысь, чтобы с высоты увидеть место, где остановился ковчег Ноя.

Ковчег ведь должен представлять солидную величину: длина 300 локтей, ширина 50 локтей, высота — 30. Такое сооружение, будь оно даже все под снегом, должно выдаться близ вершины.

Рассуждая так, я медленно кружил над Араратскими горами.

Сделав бесплодно десяток кругов, я был уже близок к отчаянию, как, решив еще раз пролететь над главной вершиной, заметил около большого утеса холм, казавшийся сверху большой рыбой. Я покружился над ним: очертания были симметричны. Мое сердце усиленно забилося.

Стал приземливаться, не спуская глаз с загадочного холма. Еще раз пролетел, низко-низко, чтобы видеть его форму. И мне показалось, что в одном месте его выпуклый бок обнажен и, вместо светлого ледяного покрова, виднеется темная впадина.

Тогда я выбрал площадку в спустился довольно благополучно. Солнце уже начинало заволакивать тучами. Я не обратил на это особого внимания, а, захватив топорик, быстрыми шагами направился к холму.

Твердый наст хрустел под ногами. Ветер шуршал по ледяной коре мелкими снежинками и бросал их в лицо. Бледный луч солнца из-за облака скользнул по холму и осветил в бок темную продолговатую впадину.

Я подошел, прерывая дыхание. Во впадине, образованной толстыми закройками льда и снега, оказалась шероховатая ледяная стена.

Я ударил обухом топора по льду. Послышался тупой звук, как от удара по пустому чану. Бешено стал я долбить лед... И вдруг оторвалась большая ледяная глыба, оставив позади серое пятно.

Предо мной была стена из дерева! Я находился пред ковчегом... Мне суждено было первому из современников увидеть корабль Ноя...

Было холодно; хотелось скрыться куда-нибудь от пронзительного ветра. Мелькнула мысль об аппарате. «Не улетит», — подумал я и сейчас же забыл о нем, всецело увлеченный мыслью проникнуть в ковчег.

Вы знаете, что ковчег выстроен из дерева гофер. Закаленное тысячами лет, дерево это страшно твердо и почти не поддавалось ударам моего топора. Но, несомненно, это было настоящее дерево, а не камень.

Я стал наносить удары по открывшейся стене, думая, что мне удастся прорубить в ней отверстие для прохода внутрь. Но после каждого взмаха топор звенел и оставлял на стене очень незначительные следы. Ясно, что рубить бесплодно.

Старательно осматриваясь, я начал обходить ледяной холм, хранивший останки первого корабля. Заметно было, что ближе к вершине он значительно суживается. На западной стороне я нашел огромный ледяной нарост, разделенный посередине небольшим ложком. Там, где он уходит в холм, зияет отверстие.

«Вот и вход», — подумал я. И не ошибся: это был вход в ковчег. Было скользко, и я должен был ползти, хотя отверстие было так велико, что в него свободно мог бы войти слон.

Очутившись во тьме, я зажег взятый с собой электрический фонарик и увидел, что нахожусь в обширном высоком помещении вроде сарая, сколоченном из грубо тесанных стволов невероятной толщины. Оно служило здесь как бы прихожей. Огромные ворота, ведущие в него, состоявшие, очевидно, из двух половинок, были распахнуты наружу.

На полу валялось что-то вроде мягкой сенной трухи, а в одном углу я нашел подобие очага, сложенного из дикого камня. В нем находилась зола.

Вправо и влево открывались входы, настолько огромные, словно по ним надо было водить мамонтов. Недолго думая, я пошел направо, горя желанием видеть внутренность допотопного корабля.

На покатых промерзших стенах шли, как ребра, шпангоуты, укрепленные балками и распорками. Настилы из досок заменили лестницы. В ковчеге было несколько этажей. Я взобрался в верхний. Там я нашел несколько мелких помещений, наподобие стойл для лошадей. Тут же стояла масса клеток, в которых валялось много птичьих перьев.

Среди безмолвия гулко раздавались мои шаги. Было жутко в этих древних огромных сараях. Я подумывал, не пора ли вернуться к аэроплану, но желание побольше увидеть заставляло меня войти через исполинскую дверь в соседнее отделение.

Я наткнулся на бревно, лежащее на полу, — оно было расщеплено и помято. Дальше оказался большой обломок доски, воткнувшийся в одну из распорок, потом — массивная балка, переломленная, как тростинка, надвое. Что здесь произошло?

Я шагнул дальше — и почувствовал, что мои волосы становятся дыбом: в луче света показалась невероятная, до ужаса огромная звериная голова, украшенная белыми рогами!.. Я в страхе хотел отскочить и не мог: сзади помешала балка. Исполинская голова не шевелилась. Это был мамонт, но каких размеров!.. Мамонты, которых мы видим в наших музеях, показались бы рядом с ним кошками.

Покрытое длинными бурыми волосами туловище зверя находилось в нижнем этаже. Оно как-то странно осело на задние ноги. Очевидно, чудовище провалилось сквозь наклонный помост. Перед его грудью торчали острые углы изломов, покрытых темными пятнами. Должно быть, перед смертью колосс неистовствовал; следующий, верхний настил был превращен им в щепы и сам он стоял словно в выемке, над которой возвышалась его голова. Балки, распорки, настилы — все разбито вдребезги. Вглядываясь в тьму, я заметил еще пять или шесть гигантских туш, находившихся на полу нижнего помещения. Итак, здесь погибло целое стадо мамонтов! Разбушевались ли эти живые горы во время плавания и, сломав преграды, пытались выбраться наружу? Или во время высадки под ними подломился помост и выход был отрезан навсегда?

Я долго смотрел на страшную картину разрушения. Наконец, мне пришло в голову, что пора уходить. Вырубив из обломка доски кусок дерева и бросив прощальный взгляд на замерзших великанов, я стал пробираться в выходу.

Долго ходил я по этим четвероугольникам, так похожим одно на другое, пока не понял, что заблудился. Нап-

расно бродил я взад и вперед по отделениям ковчега, отыскивая выход. Я пробовал идти по одной стороне корабля, придерживаясь шпангоутов. Бесполезно!..

Страшная усталость сковала мои члены. Я выпил остаток рома, присел на пол, прислонившись спиной к толстому столбу. Отчаяние овладело мной. А снаружи выла буря, и эти звуки холодили кровь. Усталость, голод и холод взяли свое: я заснул. Разбудил меня капитан Кульчицкий. Остальное вам известно.

— Как?! — вскричали мы. — Вы не помните, каким образом добрались до аэроплана?

— Да. Я заснул в ковчеге, а проснулся в своем аппарате на скале, — подтвердил летчик серьезно.

Все переглянулись.

— Может быть, вы запомнили? — сказал один. — Проснулись, нашли выход и сели на аэроплан?..

— Нет, нет, — твердил авиатор, — я хорошо помню малейшие подробности пребывания на горе. Но как я очутился на ньюпоре — этого не постигаю. Могу сказать только одно: все, что я вам передал — совершенная правда от начала до конца.

А. В-ский

ДНЕВНИК АНДРЕ

Путешествие на воздушном шаре
к Северному полюсу

ДНЕВНИКЪ АНДРЕ.



ПУТЕШЕСТВІЕ НА ВОЗДУШНОМЪ ШАРѢ къ сѣверному полюсу.



ВЫПУСКЪ ПЕРВЫЙ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Народная Типографія М. М. Розенбергъ. Интеллигент., 43
1897.

Вместо предисловия

В последнее время и печать, и публика очень много занимались вопросом об участии знаменитого воздухоплователя Андре, рискнувшего отправиться на воздушном шаре к неведомому до сих пор Северному полюсу. Интерес к этому смелому путешествию выражался далеко не всегда одинаково, — иногда он ослабевал чуть ли не до совершенного забвения и самого Андре и полярных стран, а иногда доходил до такого напряжения, что даже вполне нормальные люди галлюцинировали, видели какие-то несуществующие воздушные шары, слышали мнимые крики и т. п. Ввиду такого положения этого вопроса, мне кажется, не только важно, но даже необходимо обнародование всех мало-мальски достоверных данных об участии злополучного путешественника. С этой точки зрения напечатанное ниже начало дневника, имеет несомненно громадное значение, так как дневник этот есть до сих пор единственный документ, взятый из реальной действительности и по всем признакам принадлежит перу знаменитого воздухоплователя. Впрочем, не вдаваясь пока в критическую оценку достоверности дневника, я прежде всего расскажу историю его находки.

12 ноября, поздно вечером, ко мне совершенно неожиданно явился мой хороший приятель Николай Иванович Ф. и привез с собой целый багаж следующих, чрезвычайно любопытных предметов. Во-первых, здесь был шар, не фантастический какой-нибудь, вроде «челябинского», а самый настоящий, хотя и небольшой, объемом всего около 200 кубических метров; шар этот бледно-серого цвета, имеет обычную, почти яйцевидную форму и сделан из плотной шелковой материи; снаружи он обтянут пеньковой сеткой, служащей для прикрепления к шару небольшой ивовой корзины. Во-вторых, мой приятель привез с собой маленький из просмоленного брезента мешочек и, наконец... две рукописи на французском и шведском языках.

— Что это такое?.. Откуда ты взял шар?.. Уж не от Андре ли все это?— невольно взволновался я.

Николай Иванович согласился с моей догадкой. По его словам, шар этот был пойман в лесу его имения 8 ноября.

— Так ты ради этой находки и приехал сюда? — удивился я.

— Что ж тут удивительного?... Олонецкая губерния не за горами, всего трое суток езды до Питера, — объяснил Ф. — Наконец, и находка того стоит... Знаешь что, — добавил он после некоторого молчания, — я думаю даже дня через два ехать со всем этим багажом в Швецию, — там знают почерк Андре и, конечно, лучше всего разберут, принадлежат ли ему найденные рукописи.

Я вполне одобрил план Николая Ивановича. Однако прежде, нежели он уехал, я постарался сделать перевод интересных рукописей и теперь представляю его на суд просвещенной публики.

При этом необходимо заметить еще следующее. Обе рукописи, шведская и французская, по содержанию своему совершенно тождественны и каждая из них выше заголовка начинается письмом или, скорее, запиской. Записки эти, как и дневник в верхней части рукописей, очень попорчены сыростью. Правда, не только смысл, но и содержание записок, благодаря сличению двух дневников, удалось восстановить вполне, но подпись, к несчастью, в обоих текстах вымокла настолько, что лишь с большим трудом можно прочесть прописную букву А. Конечно, впоследствии с помощью фотографии и некоторых химических средств подпись будет восстановлена, но теперь, к сожалению, этого еще не сделано за недостатком времени. Тем не менее, я уверен, что и в настоящем виде дневник неизвестного А. (без сомнения, Андре), наверно будет прочитан с удовольствием всеми образованными людьми, интересующимися наукой и одним из самих самоотверженных ее представителей.

Переводчик дневника А. В-ский

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

По непредвиденным обстоятельствам напечатание всего дневника не может состояться ранее декабря месяца текущего года. Вследствие этого, желая по возможности удовлетворить вполне естественному любопытству публики, я решил издавать «Дневник» небольшими выпусками, назначая за каждый самую доступную цену. Купивших настоящий, первый выпуск, прошу сохранить его, так как он составляет лишь начало чрезвычайно интересного и безусловно ценного сочинения о полярных странах. Если позволят обстоятельства, следующие выпуски будут иллюстрированы найденными в рукописях рисунками. Второй выпуск выйдет после первого в самом непродолжительном времени.

Издатель

ЗАПISKA HA ЗАГОЛОВКЕ

Северный полюс
Главный город
18 ноября 1897 года

Я имею очень мало надежды, что пускаемый мною шар с дневником достигнет своего назначения попасть в руки цивилизованных людей. Размеры шара так невелики и само устройство его так несовершенно, что скорее всего он не достигнет даже материка. Но без надежды жить нельзя, и я отправляю его, несмотря на самые незначительные шансы на успех. Вскоре сделаю и вторую попытку. Прошу тех, кому, может быть, попадутся в руки мои записки, опубликовать их во всеобщее сведение. Кроме того, прошу не разыскивать меня и не снаряжать для этой цели никаких экспедиций до тех пор, пока я сам когда-нибудь не извещу об этом тот мир, к которому я принадлежу по своему естественному происхождению и духовному развитию. За мной следят, но... (далее записка испорчена)... шлю мой искренний привет моей родине, друзьям и всем, кто помнит обо мне.

А...

ДНЕВНИК

11 июля, н. с. Слава Богу, путешествие началось при самых благоприятных условиях. Ветер был не очень силен, но, тем не менее, в течение дня мы пролетели к северу около четырехсот миль. Направление ветра почти не изменялось, и в общем мы уклонились к западу градуса на два долготы, что, конечно, в здешних широтах составляет расстояние почти незначительное.

Трудно передать то чувство, которое мы испытали, потеряв из виду наших друзей и очутившись над необъятным, безбрежным океаном. Какое-то жуткое, щемящее ощущение одиночества невольно закрадывалось в наши сердца. Позади остался близко знакомый и дорогой по пережитым событиям мир, впереди — одна неизвестность, таинственное будущее с возможными невзгодами и сравнительно слабой надеждой на успех затеянного предприятия. Вообще и я, и мои товарищи были так взволнованы в течении этого дня, что не ощущали потребности ни в пище, ни в наблюдении интересных явлений полярной жизни. Даже заметки о состоянии погоды, давлении воздуха, температуре и направлении аэростата делались нами скорее машинально, нежели сознательно.

Только около 10 часов вечера явилась усиленная потребность и в сне, и в пище. Сейчас мы пообедали и вместе с тем поужинали. Клонит ко сну. Но, не желая делать пропусков в дневнике, я взял на себя первую ночную вахту, к великому удовольствию моих товарищей. Теперь мы идем на гайдропе футах в 70 над поверхностью океана. Земли не видно. Ветер слабый. Завтра надеюсь несколько сосредоточиться, успокоиться и вообще отнестись более внимательно к окружающей меня обстановке.

13 июля, н. с. Вечером. Кажется, мы теперь вошли, наконец, в настоящую колею. И вчера и сегодня время наше распределялось следующим образом. В шесть часов утра, вместе с началом первой дневной вахты, кофе и легкий завтрак

рак, затем в девять часов закуска, в двенадцать, с началом второй дневной вахты, обед, в шесть — кофе и в десять часов вечера ужин. Время от шести часов вечера до шести утра делится нами на три ночных четырехчасовых вахты. Такой порядок очень удобен, так как каждому из нас приходится и спать и бодрствовать в разные часы суток. На обязанности вахтенного лежит производство метеорологических наблюдений и, смотря по времени, исполнение обязанностей повара; вахтенный же управляет, насколько это возможно, и полетом аэростата.

Говоря о распределении времени, я прежде всего упомянул о еде. Это вполне понятно. Несмотря на интерес, представляемый самим путешествием, завтрак, обед и ужин играют далеко не последнюю роль в нашей однообразной жизни. За едой как-то невольно завязываются разговоры и споры; сидя внизу, на самом дне нашей корзины, невольно забываешь суровую, реальную действительность, и будущее начинает рисоваться в привлекательной сказочной дымке; осуществляется сон наяву; кажется, что не бодрствуешь, а грезишь, и тогда, смею всех заверить, можно провести немало приятных минут и в уютной ладье под аэростатом, над безбрежной пустынной равниной Ледовитого моря.

Кстати, не мешает заметить, что, несмотря на качку и отсутствие активного движения, у всех нас аппетит превосходный. Происходит это, по всей вероятности, как от побуждающего действия свежего воздуха, так и от общих, точно еще не исследованных свойств климата здешних широт. Питаемся мы, как я уже заметил, во-первых, кофе и во-вторых — разного рода консервами. И то, и другое готовится вахтенным на спиртовой лампе и, к слову сказать, далеко неодинаково. Лучшим поваром оказался Стриндберг и самым плохим — Френкель; я по кулинарным способностям занял между своими товарищами золотую середину. Интересно смотреть, с какой серьезностью и вниманием относится солидный Стриндберг к своим поварским обязанностям. Еще за час с лишком до еды он достает нужные в данное время припасы, осматривает их, измеряет и дози-

рует, как самый внимательный аптекарь самое сложное лекарство. Одна варка кофе — целое священнодействие. Глядя на него, Френкель обыкновенно острит и хохочет, а я, придерживаясь нейтральной почвы, только улыбаюсь, сижу и жду, когда наконец истощатся кулинарные ухищрения добряка Стриндберга.

В море нет ничего достойного особого внимания. Повсюду однообразная темная водная равнина, белая пена на гребнях небольших извилистых волн и больше ничего. Вчера Френкель, во время моего сна, заметил на горизонте какое-то небольшое судно, по всей вероятности, китолова, а сегодня, около двух часов пополудни, мы все видели целую стаю, штук в пятнадцать, китов. Как это ни странно, но шар наш не произвел на них никакого впечатления, несмотря на то, что шел очень низко, всего футах в 200 над поверхностью океана.

Из пернатого мира попадались неизвестных мне пород чайки и альбатросы. Кстати, заговорив о птицах, следует упомянуть, что в течении всего нашего путешествия нами выпущено четыре пары голубей. Первая пара пущена без особой надобности несколько часов спустя после отлета с твердой земли. Таким образом мы хотели невольно хоть чем-нибудь восстановить общение с оставленными на берегу людьми. Вторая пара выпущена вчера после полудня, а третья и четвертая сегодня — утром и вечером. Эти голуби понесли уже не сентиментальный привет друзьям на родину, а сообщения чисто делового и научного характера, короче говоря — выписки из корабельного журнала нашего воздушного судна. Все выпущенные голубя сразу же взяли южное направление и быстро скрылись из виду.

Теперь я поймал себя на странном, хотя и глупом стремлении замолчать неприятное. Но я помню, что я не страус, прячущий голову в песок от опасности, и, скрепя сердце, все-таки запишу неутешительные события последних двух дней. Первая беда заключается в том, что, благодаря набежавшей туче, охладившей воздух и опустившей азростат, вчера вечером мы попали в ток воздуха, имевший совершенно нежелательное для нас направление, с востока на

запад. Терять балласт в самом начале путешествия было чересчур рискованно, и вследствие этого нам волей-неволей пришлось пролететь к западу более двухсот миль, что совершенно изменяет весь план нашего путешествия, и вместо Америки конечным пунктом полета являются теперь негостеприимные пустыни северной Сибири. Вторая неприятность схожа с первой, с той лишь разницей, что, благодаря непроизвольному изменению высоты полета, мы целый сегодняшний день последовательно то подвигались к северу, то возвращались назад, и только последние три-четыре часа летим, наконец, довольно быстро и, что самое главное, к северу, почти по меридиану. Теперь мы находимся, приблизительно, под $30^{\circ}40'$ западной долготы и под 82° северной широты. Скорость полета — около двадцати пяти миль в час. Если условия погоды не изменятся, можно рассчитывать на... на то, что Бог даст. Жалкое положение!.. Несмотря на видимо благоприятные данные, мы все-таки решительно ни на что не можем рассчитывать.

Температура + 10. Влажность — нормальная. Высота полета — 450 футов.

Несмотря на полночь, солнце светит так же ярко, как днем, хотя и имеет несколько багровый оттенок.

15 июля. Утром, 7 часов. Да, загадывать вперед нечего. Вместо полюса — опять та же широта, что и два дня тому назад, вместо западной долготы — восточная и, наконец, вместо ветра — полнейший, решительно ничем не объяснимый штиль.

Зато накануне нам пришлось выдержать настоящий шторм. Начался он утром, в 4 часа, в то время, когда мы шли на высоте около 1000 футов, во время моей вахты. Сначала я думал управиться собственными силами, но вскоре увидел, что положение наше чересчур серьезно и что рисковать лишними шансами на успех благодаря лишь своей самонадеянности я не могу. В самом деле, погода разыгралась не на шутку. В какие-нибудь четверть часа все небо покрылось темными клочковатыми облаками. Ветер с каждой минутой крепчал, постоянно менял направление и, на-

конец, превратился в какую-то нелепую, противную всем законам метеорологии бурю. Барометр быстро упал. Температура понизилась. Скорость движения воздуха была так велика, что ветер свистел и шумел в снастях, словно на парусном фрегате. Я стал будить товарищей. Впрочем, они и сами сквозь сон чувствовали, что дело неладно, так как, увлекаемый бурей, шар все время был впереди корзины, вследствие чего, вместо обычного горизонтального положения, дно ее постоянно наклонялось то в ту, то в другую сторону. При перемене направления наклонно устойчивое положение всей системы нарушалось и корзина начинала раскачиваться, словно гигантский маятник, делая нередко углы до 90° .

При таких критических обстоятельствах решено было подняться выше пояса бури. К этому нас понуждало еще и то крайне неблагоприятное условие, что вследствие сильного понижения температуры аэростат опустился почти к самой поверхности океана; можно было опасаться, что какой-нибудь шальной ток воздуха погрузит нас в воду.

На первый раз выбросили два мешка балласта, по 100 килограммов в каждом. Аэростат быстро рванулся вверх, несколько раз метнулся к западу и к востоку, наконец достиг сферы облаков и быстро пошел по северо-восточному направлению. Море исчезло из глаз. Вокруг был густой, дышащий сыростью туман. Высоту полета точно определить не удалось, так как вследствие сильного падения барометра нужно было делать значительную поправку, а величина этой поправки нам не была известна. Только по приближительному расчету можно полагать, что тогда мы летели на высоте от 2000 до 2500 футов. Часов в 7 утра облака кое-где разорвались и мы увидели, что все море до самого горизонта было покрыто разбитыми остатками ледяных полей. Несмотря на большое расстояние, до нас ясно доносился шум сталкивающихся льдин. Около 8 часов мы наткнулись на жалкую жертву свирепствующей бури. Небольшой китолов, совершенно затертый льдами, с поломанным рангоутом и порванными снастями, отчаянно боролся с неминуемой гибелью. Видно было, как экипаж рубил мачты

и старался установить временный руль из двух полубочек. Увидев нас, китолов выкинул североамериканский флаг и сигнал о помощи. Сердце обливалось кровью при виде гибели храбрых моряков; но что же мы могли сделать? Вельсчак Френкель не мог выдержать тяжелого зрелища и заплакал, как маленький ребенок. Через полчаса мы потеряли несчастное судно из виду. Встреча с китоловом произошла приблизительно под $12^{\circ}15'$ восточной долготы и $80^{\circ}30'$ северной широты.

6-го августа. Я долго ждал, ждал целых три недели, возможности передать в дневнике свои последние впечатления. Теперь возможность эта есть, но зато нет ни сил, ни умения выразить словом пережитые ощущения. Одно только могу сказать: я живу в совершенно ином мире, мире настолько фантастическом, настолько странном, что создать его не может даже самое смелое воображение. Но на самом деле все окружающее меня далеко не фантазия, а самая настоящая, живая, реальная действительность. И сам я не грежу, а живу, мыслю и чувствую; я сам несомненный обитатель нового странного мира; короче говоря, я живу на Северном полюсе, среди странных, населяющих его существ.

Что такое полюс?.. Для всякого мало-мальски образованного человека, вопрос этот совершенно пустой, хотя вполне точно и неразрешимый. Прежде всего полюс, конечно, известная математическая точка, частица земли, вращающаяся вокруг самой себя, такое место, где солнце не заходит летом и не показывается зимой ровно по шести месяцев. С физической точки зрения, полюс одно из двух: или море, или суша... Так скажет всякий, так думал и я до тех пор, пока сам не очутился на полюсе.

Как это ни странно, но определения поэтов гораздо точнее и ближе к действительности, — полюс на самом деле есть таинственный фантастический мир, совершенно особый и не похожий ни на что земное...

На другой день после шторма погода была теплая и ясная. Изменявшийся накануне ветер принял снова прежнее северное направление и дул настолько сильно, что, по моим

расчетам, мы пролетали в час около сорока итальянских миль. При такой скорости мы ожидали достигнуть полюса в этот же день, и расчеты наши были близки к осуществлению, так как секстан показал нам в полдень, что мы находимся приблизительно на 85° 55' северной широты.

Сначала, с утра, аэростат наш держался на высоте 400-500 футов, но потом, сильно разогретый солнечными лучами, он поднялся на высоту 1.000 футов с лишком. Термометр (Цельсий), показывал в тени +12 и на солнце +20,5.

Вообще, условия полета были самые благоприятные. Конечно, за последнее время мы достаточно уже разуверились в легкости достижения цели, но, тем не менее, надежда не покидала нас, и самочувствие наше значительно улучшилось. После обеда радостное настроение дошло до того, что Френкель стал даже петь.

Голос у него прекрасный, хотя и малообработанный. Мы с истинным удовольствием прослушали несколько номеров соло; затем присоединился Стриндберг и безбрежная равнина океана огласилась впервые, как мы думали, от сотворения мира очень стройным и звучным дуэтом.

Странное впечатление производил этот импровизированный концерт. Внизу — пустынное море, сверху — бледно-синее полярное небо. Нигде ни единого живого существа. И только три человека, находясь в полной зависимости от произвола капризных стихий, дерзко нарушают тысячелетнее спокойствие пустыни своим легкомысленным, почти неуместным весельем. Мне даже грустно стало. Но товарищи мои не унывали и даже предлагали мне спеть вместе с ними трио из «Пророка». Я отказался.

Вскоре за тем мы были обрадованы новым, довольно знаменательным событием. Около трех часов пополудни с аэростатом встретилась небольшая, неизвестного мне вида морская чайка. Птичка направлялась на юг и, вопреки ожиданию, не только не испугалась нас, но совершенно спокойно уселась на край корзины и безбоязненно отдалась нам в руки. Сначала мы думали, что она сильно утомлена противным ветром, но оказалось, что причина ее смелости зависит от другой причины. Выскользнув из рук Френкеля,

чайка несколько миль летела вместе с нами к северу, потом описала вокруг азростата два больших круга и снова уселась на борт. Френкель вздумал ее накормить. К великому удовольствию всей экспедиции, доверчивая птичка совершенно безбоязненно позволяла гладить себя, ела из рук рыбные консервы, размоченные в кофе сухари и даже проглотила предложенный ей Френкелем кусочек сахара.

Вообще птичка эта казалась нам радостным вестником земли, и притом земли не бесплодной, но несомненно заселенной живыми существами.

С другой стороны, можно было наверное сказать, что полярный материк необитаем людьми, иначе милая птичка не проявила бы к нам такого поистине трогательного доверия.

Будущее рисовалось нам в самом радужном свете.

— Если на полярном материке существует жизнь, то, очевидно, физические и климатические условия этому благоприятствуют, — резонировал степенный Стриндберг, — а, следовательно, весьма вероятно, что мы открываем новую арену жизни для переполняющего землю человечества.

Весельчак Френкель, бывший в это время на вахте, по обыкновению подшучивал над мечтаниями Стриндберга, острил и смеялся.

— А что, господа, не основать ли нам на полярном материке совершенно независимую колонию? — предлагал он. — Право, идея недурная... Новое государство, на новых условиях жизни. Как ты думаешь, Стриндберг?

Я невольно взглянул к таинственному неизвестному северу и... чуть не уронил подзорной трубы в море, — под ветром, милях в двадцати перед нами, совершенно явственно обрисовался низкий темный берег.

— Земля!!! — крикнул я, вне себя от охватившего меня волнения.

— Земля!.. — повторили, как эхо, мои товарищи, хватаясь за бинокли.

Мне кажется, что ни Христофор Колумб, ни другие жаждавшие открытий мореплаватели никогда еще не встречали желанную землю с таким восторгом, с каким встретили ее

мы.

В первые минуты после радостного открытия мы почти обезумели. Состояние нашего духа в то время можно сравнить только с ощущением преступника, приговоренного к смертной казни и неожиданно получившего полное помилование.

Между тем, расстояние от нас до земли с каждым мгновением все уменьшалось и уменьшалось. В половине четвертого берег отстоял от нас уже не более чем на пять миль. Принимая во внимание сделанное в полдень наблюдение, скорость и время движения аэростата, можно было с большой вероятностью заключить, что встреченная нами земля (на $20^{\circ}24'$ восточной долготы) начинается с 88 северной параллели, т. е. всего в двух градусах от полюса.

Каждому понятно, с каким интересом рассматривали мы приближающийся берег. Наша лучшая подзорная труба ежеминутно переходила из рук в руки. Всякому хотелось хотя взором проникнуть прежде других в неведомую, вновь открытую страну; всякий чего-то ждал, что-то предвидел и предчувствовал...

Да, мне кажется, что ничем иным нельзя объяснить нашего непостижимого, с каждым мгновением увеличивавшегося волнения, как только инстинктивным предчувствием. Но пока довольно.

7-го августа. В самом деле, чрезмерное волнение наше можно было объяснить только предчувствием.

Берег, как я уже заметил, был низкий и темный. Такой колорит его, оказалось, зависел от массы густой, приземистой полярной растительности. Впрочем, кроме осок, мхов и низкой северной березы, мы, к великому своему изумлению, заметили еще и какие-то, очевидно, культурные растения. Я говорю «очевидно» потому, что растения эти волновались подобно наших колосовым хлебам и, кроме того, росли на правильных, строго геометрической формы участках.

Аэростат перелетел береговую линию в 3 часа 46 минут и 34 секунды пополудни. Среди нашей экспедиции царило самое глубокое молчание. Чувства наши были так потрясе-

ны неожиданным открытием, что никто из нас не мог произнести ни одного слова. Да, впрочем, разговоры были совершенно излишни.

— Но где же, однако, хозяева этих полей? — заговорил наконец более других сохранивший присутствие духа Стриндбергъ.

Френкель, не говоря ни слова, взял его за руку и сделал жест по направлению к северо-востоку.

Там, на небольшом, поросшем низкими деревьями плато, возвышались какие-то удивительные, чрезвычайно странного вида постройки. В общем они напоминали отдельную усадьбу; только предназначенные для хозяйственных целей строения были непомерно велики, а жилой центральный дом чересчур высок и почему-то с башней, видом своим напоминающей вышку метеорологической обсерватории. Башня оканчивалась шпицами, флюгерами и целой массой каких-то неведомых физических приборов. В стороне, на отдельной колонне, помещалось нечто вроде гигантского конденсатора. Все постройки были сооружены из однообразной желтовато-белой массы; только приборы и шпицы, очевидно, были сделаны из металла и ярко горели на солнце, как настоящее, хорошо полированное серебро.

Ветер значительно стих. Аэростат немного опустился и продолжал свое движение к северу со скоростью не более 10 миль в час.

— А где же люди? — невольно вырвалось у Стриндберга.

— И люди есть, — снова указал зоркий Френкель.

Действительно, внизу, на земле, неподалеку от построек показалась и небольшая группа людей. Аэростат пролетел около них довольно близко, так что мы без труда могли рассмотреть этих первых, встреченных нами, обитателей Полярной Земли. Все они были одеты в однообразные костюмы, очень рослы и белокуры. Были ли здесь женщины, трудно сказать, хотя по очертаниям некоторых фигур можно было сильно сомневаться в их принадлежности к мужскому полу.

— А вот и стада их, — заметил наконец Стриндберг.

— Какие стада? — удивился Френкель. — Это слоны; их,

насколько я знаю, и в Индии не пасут стадами.

— Нет, это не слоны, — возразил я, — а самые настоящие мамонты.

— Мамонты!..

Однако сомнения относительно породы встреченных животных быть не могло. На самом деле, внизу, на большом травянистом выгоне, паслось целое стадо, голов в пятьдесят, этих давно уже исчезнувших с наших материков толстокожих. Колоссальные, покрытые длинной бурой и темно-серой шерстью животные, стоя на коленях передних ног, мирно пощипывали сочную зеленую траву. Далее мы заметили, что на одном из мамонтов сидел с небольшой палочной в руках бородастый пожилой туземец, по-видимому, пастух странного стада. Аэролат летел далее.

Вскоре характер местности несколько изменился. Вместо плоской и низменной равнины стали попадаться холмы и небольшие пологие углубления. Отдельные усадьбы сразу выдвинулись в пяти или шести местах. Земля везде была возделана и представляла собой то поля неизвестных нам растений, то обширные, тщательно культивированные выгоны с пасшимися на них стадами мамонтов, рослого рогатого скота, громадных свиней и колоссальных мохнатых животных, похожих на оленей. Стриндберг, изучавший когда-то палеонтологию, решил, что странные олени представляют собой также исчезнувший ныне с наших материков вид оленя, называемого «торфяным». Такое название дано этому животному вследствие того, что кости его находят преимущественно в торфяниках Ирландии.

— Ну и сторона!.. — заговорил Стриндберг, — допотопные животные и рядом с этим — культура выше нашей, европейской.

Мнение моего товарища о высокой культурности вновь открытой земли, по-видимому, было совершенно справедливо. Кроме прекрасно возделанных полей и, если можно так выразиться, идеально научных построек, мы всюду видели отличные дороги, шоссе и рельсовые, водопроводы и другие, соединяющие отдельные поселки сооружения. Сотни труб и всевозможных проволок тянулись через

поля решительно по всем направлениям. Назначение некоторых труб мы угадывали: судя по диаметру, это были, должно быть, проводники газов или жидкостей. Но рядом с этими были еще какие-то гигантские бесконечные цилиндры диаметром до трех метров и даже более. Затем, повсюду, и вдоль дорог, и просто на полях, стояло очень много фонарей. Предполагая, что все они электрические, легко можно было себе представить, как освещается вся эта местность в течение шестимесячной полярной ночи.

— И ночь, и день здесь одинаковы, — выразил вслух наши общие мысли Стриндберг.

— Да... я полагаю, что здесь, близ полюса, можно жить гораздо лучше, нежели у нас, при более благоприятных климатических условиях, — согласился Френкель.

Признаться, я не разделял мнения моих товарищей. Если сравнить культуру этих островитян с нашей, то окажется, что мы перед ними не более ни менее, как настоящие дикари, думал я; и каково же тогда будет наше положение при встрече с ними?.. В музей нас здесь посадят только... Другого места для нас среди этого народа нет, да и быть не может. Я высказал свои соображения товарищам.

— Конечно, здесь есть некоторая доля правды, — согласился Стриндберг, — но только — некоторая... Кто знает, может быть, они во всем остальном, кроме этих сооружений, стоят неизмеримо ниже нас; техническая образованность очень часто уживается вместе с поразительным духовным невежеством.

— Во всяком случае, надеюсь, что здешние туземцы не людоеды, — заметил весельчак Френкель, — остальное же меня очень мало интересует... Вот увидите, как мы хорошо проведем здесь время — будем лакомиться допотопными животными, наслаждаться великолепной иллюминацией...

— Они могут, и не будучи людоедами, совершить над нами какое-либо насилие, — возразил осторожный Стриндберг.

— Ну что же, тогда постараемся сначала узнать их намерения; и, если заметим что-либо подозрительное, сейчас... два мешка балласта — и кверху.

— А если они вслед за нами? — не унимался Стриндберг.

— Вряд ли... До сих пор мы не встретили ни одного летательного снаряда. Кажется, что эти ловкие строители дурацких труб и нелепых голубятен не особенно сильны в воздухоплавании.

— А это что?..

Я и Френкель взглянули в указанном направлении, на запад, и увидели, что с одной из этих «голубятен» следователи, один за другим, человек десять-двадцать туземцев.

Быстро и легко, словно стая гигантских белых птиц, поднялись они в уровень с аэростатом, затем описали в воздухе большой круг и направились прямо по направлению к нам.

Несмотря на вполне естественное волнение, мы, однако, успели рассмотреть, что островитяне летели при помощи громадных белых искусственных крыльев, очень похожих по форме на крылья обыкновенной летучей мыши. Кроме того, у каждого из них был прикреплен к ногам длинный двухлопастный руль.

— Ну, с чем-то они к нам пожалуют? — тревожно заметил я.

— С чем ни пожалуют, а вооружиться все-таки не мешает, — отозвался Стриндберг, доставая из нашего арсенала револьверы.

Я колебался и не знал, что делать.

Вдруг аэростат наш сильно рванулся вверх..

— Балласт!.. Кидайте балласт!.. — слышался в то же мгновение голос Френкеля.

Мы машинально повиновались.

В одну секунду за борт полетели мешки с песком, сначала один, затем другой, третий, четвертый... Аэростат стал подниматься с невероятной, никогда еще не виданной мною быстротой. Даже дух захватило.

— Четыре тысячи восемьсот, пять... пять с половиной тысяч футов, — слышался спокойный голос Стриндберга, — и, наверное, еще на столько поднимемся... Надо сле-

дить теперь за шаром... Исправен ли клапан?

— Исправен, — отозвался Френкель, тронув веревку, прикрепленную к клапану. — А где же наши милые островитяне?..

Я взглянул за борт. Внизу, на расстоянии менее тысячи футов, описывая в воздухе громадную спираль, островитяне летели кверху вслед за аэростатом, с каждым мгновением быстро нагоняя его.

Владимир Барятинский

ПИСЬМА С МАРСА

Повесть

Вступление

Однажды ночью, часов так около двенадцати, *mademoiselle Clairette*, барон Зюнде и я ехали на тройке. Куда и откуда мы ехали — положительно не могу сказать; дело, кажется, происходило на Крестовском острове. Во всяком случае, утверждать берусь лишь тот факт, что мы возвращались с какого-то обеда, спешили на какой-то ужин, и что крутом было много снега, сверкавшего под лучами улыбавшейся и даже, как будто, показывавшей нам язык луны.

Тройка лошадей неслась, а тройка людей несла в это время всякий вздор; особенно, конечно, отличался на этом поприще Зюнде. Он поставил, между прочим, нашей веселой собеседнице такой затруднительный вопрос: если бы он, Зюнде, сорвал с одной из наших лошадей яблоко (лошади были серые в яблоках) и предложил бы ей, *Clairette*, отдать это яблоко в знак своего серьезного влечения одному из присутствующих мужчин, то кому бы она отдала предпочтение — барону Зюнде, мне или... кучеру.

При таком вопросе *Clairette* смутилась; впрочем, смущал ее не столько пикантный вопрос, сколько недостаточно твердое знание русского языка.

И вот, пока она недоумевающим взглядом посматривала на нас, стараясь придать своему веселому, раскрасневшемуся от мороза личику сосредоточенное выражение, произошло нечто совершенно изумительное.

На небе показалась светящаяся точка.

— *Tiens! une étoile filante!** — произнесла *Clairette*, подняв носик кверху.

— Надо пожелать чего-нибудь, пока она еще не скрылась, — заметил я.

— *Désirer quelque chose?***

* Смотрите! Падающая звезда! (*фр.*). (Здесь и далее прим. сост.).

** Здесь: Пожелать что угодно? (*фр.*).

— *Oui, chérie! desire... moi**, — с чарующей улыбкой посоветовал барон Зюнде.

Между тем, светящаяся точка, к нашему большому изумлению не исчезала, а наоборот, становилась все больше и больше и, теряя постепенно свой блеск, превращалась в темную массу, летевшую по направлению к нам с необычайной быстротой.

— *Sapristi! qu'est-ce donc?*** — с изумлением прошептала Clairette.

Мы промолчали, сами не отдавая себе отчета в происходящем. А темная масса все росла и росла, придвигалась к нам все ближе и ближе и, наконец со свистом грохнулась в нескольких шагах от дороги в снег и зашипела. Ямщик, только что заметивший таинственный предмет, сразу осадил лошадей и испуганно прошептал: «С нами крестная сила!»

Мы переглянулись и, движимые все трое одной и той же мыслью, выскочили из саней.

— *Allons voir****, — прошептала Clairette.

Мы молча кивнули головой в знак согласия и храбро зашагали по снегу.

— Смотри, укусит еще, чего доброго! — предупредительно заметил Зюнде, когда мы подошли почти вплотную к темной массе, лежавшей черным пятном на сверкающей белизне снега и встречавшей нас неприязненным шипеньем.

— Фу! какой скверный запах! не то серой воняет, не то порохом, — отозвался я.

Было слишком темно, чтоб разглядеть таинственную массу. Нужно было «света! побольше света», как говорил покойник Гете. Зюнде крикнул ямщику достать свечу из фонаря тройки.

Ямщик, испуганно следивший за нашими движениями и крайне недоверчиво относившийся к предмету нашего любопытства, начал отнекиваться, основываясь на том, что «нельзя, мол, оставлять лошадей без присмотра».

* Да, дорогая. Пожелай... меня (*фр.*).

** Проклятье! Что это такое? (*фр.*).

*** Пойдем, посмотрим (*фр.*).

Тогда я сам вернулся к экипажу, вынул свечу и, защищая пламя рукой, пошел обратно на место происшествия.

Пламя извивалось, замирало, стеарин капал мне на руки и на шубу, но, тем не менее, нам кое-как удалось рассмотреть то, что нас интересовало. Кстати, и луна благосклонно приняла участие в наших занятиях, озарив нас своим белесоватым светом.

Пред нами лежала большая черная глыба с неправильной поверхностью и с более или менее правильными очертаниями овала: издавая сильный серный запах, она все еще продолжала шипеть, хотя и слабее, чем в первый момент своего падения. Крутом нее снег стоял и небольшими ручейками грязноватой воды орошал наши галоши.

Зюнде, оказавшийся смелее нас всех, решился ткнуть концом палки грязную массу: масса оказалась совершенно твердой и притом положительно неодушевленной.

— Берем этот машин домой *avec vous**, — расхрабрилась Clairette, любившая иногда блеснуть своими крайне неудовлетворительными сведениями по русскому языку.

— *Tu es folle, ma chère!*** — возмутился я. — Куда же мы положим такую громаду? да и весит то она, наверное, изрядно.

Черный предмет был действительно порядочных размеров, около сажени в длину и аршина два в ширину.

Пришлось отказаться от проекта везти на буксире нашу находку. Тогда я предложил моим спутникам спокойно продолжать нашу *partie de plaisir****, а завтра приехать на это место со всеми необходимыми принадлежностями, как-то: топоры, ломы, веревки и т. п.

Предложение мое было принято, и мы, к величайшей радости ямщика, водрузились обратно в тройку и поехали... не помню куда.

На следующий день, в три часа дня, Clairette, Зюнде, я и старый князь Уржумский, которого мы застали у Clai-

* с нами (*фр.*).

** Ты с ума сошла, дорогая! (*фр.*).

*** вечеринку (*фр.*).

rette, заехав за ней — прибыли к месту происшествия в сопровождении двух рабочих.

Рабочие начали было уже обвязывать черную массу веревками, как вдруг барону Зюнде пришла поистине гениальная мысль.

— Позвольте! — вскричал он. — Не лучше ли сначала исследовать, что это за штука, прежде чем обременять себя такой тяжелой ношей?

— Исследовать? как исследовать?

— Да очень просто: раздробить эту глыбу при помощи ломов и посмотреть, нет ли в ней чего-нибудь интересного.

— Раз, что она упала с неба, значит, это не что иное, как аэролит, — важно и притом весьма резонно изрек князь Уржумский.

— Совершенно верно! и как это нам раньше в голову не пришло! — закричал Зюнде. — Ура! виват! Уржумский, ты — гений! — и, обращаясь к рабочим, добавил:

— Ломай эту штуку, братцы.

«Братцы» пустили в ход ломы; осколки каменистой массы посыпались градом. Оказалось, что верхний черный слой был очень тонок — не более миллиметра, — излом сероватого цвета и зернистый.

Лица присутствующих изобразили разочарование.

— Самый обыкновенный аэролит! — недовольным тоном заметил Уржумский.

— Зато какой большой! — утешил я.

Работа шла успешно: аэролит оказался каменистый и не слишком твердый.

Вдруг один из ломов, вонзенный сильной рукой рабочего, застрял, издав предварительно звук удара металла о металл.

Все насторожили уши.

Изнутри глыбы послышался писк.

— Вы слышали? там кто-то визжит! что за черт! — произнес Зюнде.

Рабочие перекрестились и отказались продолжать работу. Пришлось пообещать им крупный «на чаек». Как известно, такое обещание магически действует на русского че-

ловека. Работа опять закипела.

Кончилось дело тем, что каменистая масса была разломана, и нашим глазам представился большой металлический цилиндр, герметически закупоренный со всех сторон; в верхней части его оказалась дыра — след лома — через которую слышалось какое-то ворчание.

Всех присутствующих охватила какая-то робость; переминались с ноги на ногу, молчали и растерянно смотрели друг на друга.

— Il y a quelqu'un dans cette machine*, — произнесла Clairette.

Ее голос подбодрил нас: мы приблизились к цилиндру и начали его постукивать. Внутри что-то закопошилось и начало издавать жалобно-молящие звуки.

Наконец, Зюнде решился принять энергичные меры для исследования тайны: он взял из рук рабочего топор и осторожно вырезал дно цилиндра. Жалобные звуки приняли веселый характер. Положительно, цилиндр заключал в себе живое существо, которое необходимо было выпустить на свободу. Прибегли опять к топору; металлическая оболочка была разрезана, и... и... и нашим взглядам представился человек, или почти что человек.

Представьте себе десятилетнего мальчика, ростом с здорового мужчину во цвете лет, с руками длинными до колен, ртом на месте носа и носом на месте рта. Одет этот странный субъект был в какую-то холщовую рубашку с небольшим вырезом на груди. Цвет его кожи был зеленовато-бронзовый, вроде того, как Поссарт гримируется в роли Мефистофеля.

— Miséricorde qu'il est laid!** — воскликнула Clairette.

— Д-да! — промычал Зюнде. — Ты бы и поцеловать его не могла! У него нос черт знает где.

Рабочие, между тем, побросав инструменты, пустились бегом бежать, до того страшное впечатление произвел на них наш внезапный гость.

* В этой машине кто-то есть (*фр.*).

** Какая жалость, такой уродец! (*фр.*).

Наступило мучительное молчание.

Странное существо приподнялось на руках, изумленно обвело взглядом всех присутствующих, потом встало на ноги, бросило беспокойный взгляд на свой туалет и направилось прямо к Clairette, которая, при его приближении, завизжала от страха и спряталась за мою спину.

«Существо» засмеялось смехом, похожим на хрюканье поросенка, и отчетливо произнесло:

— Good morning!

— Un anglais!* — вскричала Clairette, внезапно взыгравшись духом, и храбро протянула руку незнакомцу.

Они обменялись shake hands'ом**. Тогда и мы, трое мужчин, последовали примеру нашей дамы. «Существо» говорило по-английски и между нами тотчас же завязался на этом языке разговор.

— Где я?

— На островах.

— Островах? каких островах?

— Петербургских.

— А что такое Петербург?

— Столица России.

— А что такое Россия?

— Mais c'est un idiot!*** — не удержалась Clairette, слыша наивные вопросы «существа».

Получив объяснение, что такое Россия и Европа, «существо» произнесло:

— Это все Англия.

— Как Англия? — изумился Зюнде, говоривший от лица всех нас. — И каким образом вы знаете, что существует Англия, когда вам незнакома Россия и даже Европа? Да, наконец, откуда вы сами взялись?

— Я родом из города Swinstown королевства Kikimorland.

— Что такое? да вы не из сумасшедшего ли дома?

* Доброе утро! — Англичанин! (англ., фр.).

** рукопожатием (англ.).

*** Он идиот, однако! (фр.).

«Существо» обиделось при таком вопросе и предложило барону бокс. Мы поторопились успокоить его и разговор продолжался.

— Мы, вероятно, с разных планет? это какая планета?

— Земля.

— Ну так и есть, так и есть! All right! а моя планета — как вы, земные обитатели, называете ее — Марс.

— Обитатель планеты Марс! — изумленно повторили мы хором. — Да как вы сюда попали?

— Очень просто: не помню сколько времени тому назад — я потерял сознание о времени — я заболел, и болезнь моя кончилась тем, что я впал в летаргический сон. У нас на Марсе существуют особенные люди, которых называют докторами. Когда человек заболевает, то к нему приглашается такой доктор. То же было и со мной: ко мне призвали доктора, он осмотрел меня и решил, что я умер... у вас на Земле, надеюсь, нет докторов?

— О, и сколько еще!

— И они у вас тоже хоронят заживо?

— Сколько угодно!

— Это нехорошо! Ну, так вот: когда доктор сказал, что я умер, меня положили в гроб — вот этот металлический цилиндр, из которого вы меня вынули — и похоронили. Так я пролежал два дня приблизительно; на третий день я почувствовал, что куда-то лечу вместе с моей могилой... Вот и все. Затем я очутился на Земле, у вас.

— Понял, понял все! — вскричал Зюйде. — Вероятно, вас похоронили в таком куске почвы, которому предстояло, отделившись от вашей планеты, стать аэролитом и прилететь таким образом на Землю.

— Yes, yes! — обрадовался «марсовец» и, став вдруг снова серьезным, отвесил нам поклон и торжественно провозгласил:

— My name is Criks*.

Тогда мы, в свою очередь, поспешили ему отрекомендоваться, а покончив с официальным представлением, по-

* Мое имя Крикс (англ.).

любопытствовали узнать, откуда господин Крикс набрался сведений по английскому языку.

— О, это целая история! — ответил он. — Английский язык у нас считается интернациональным. Узнали же мы, обитатели Марса, его таким образом. Много, много лет тому назад к нам на планету свалился с неба странный предмет — воздушный шар, как мы потом узнали: в нижней части этого предмета находилась большая корзина, а в этой корзине лежал в бессознательном состоянии — «почти человек». Вы понимаете, что для нас, обитателей; Марса, вы, обитатели Земли, кажется только «почти» людьми. Привели мы этого человека в чувство, и, вообразите, как только он очнулся, то вытащил из своей корзины длинную жердь с прикрепленным на ней четырехугольным куском красной материи, воткнул эту жердь в почву и важно заявил: «Эта страна объявляется английской колонией. *Hip, hip, hurrah!*» Затем он поселился у нас и обучил нас английскому языку, боксу, крокету, а также пить виски и есть кровавое мясо. Политической роли у нас он не играл, хотя и страстно добивался оной: мы не решались доверить наши государственные интересы человеку, у которого нос был на месте рта, а рот на месте носа.

— То есть, как это — рот на месте? — изумился Уржумский.

— Ну, да! так, как у вас! строение вашего лица несогласно с принципами нашей анатомии, — пояснил г-н Крикс. — Однако, мне холодно.

Мы сейчас же укутали нашего нового знакомого в плед, усадили в тройку и повезли в город. На пути мы решили, что г. Крикс поселится у меня, так как никто из остальных участников нашей поездки не мог этого сделать: Уржумский — по семейным обстоятельствам, а Зюнде — по служебным. Впрочем, мне пришлось немного побороться с *Clairrette* из-за моего квартиранта. Коварная женщина хотела его приютить у себя, мотивируя свое желание тем, что ей надоела «земная любовь».

В конце концов г-н Крикс был доставлен ко мне на квартиру, где я ему и отвел особую комнату. Он моментально

завалился спать, утомленный, вероятно, своим оригинальным путешествием и заявив мне предварительно, что у них на Марсе сутки продолжаются тридцать семь с половиной часов и что, мол, сих ради причин, он менее двенадцати часов никогда не спит.

Ввиду такого заявления я оставил его в покое и даже собственноручно изгнал семнадцать репортеров и прочих ученых, явившихся ко мне за подтверждением потрясшего город известия о пребывании у меня на дому обитателя планеты Марс.

Под вечер и я отдался в объятия Морфея, лелея сладкие мечты о том, как я буду экзибировать моего жильца и как, тем самым, прослаблю самого себя...

Увы и ах! мечтам моим не суждено было сбыться!

Когда я проснулся на следующее утро и вошел на цыпочках, боясь встревожить драгоценный сон, в комнату г. Крикса, я усмотрел — пустоту, или, вернее, взамен «марсовца» я узрел исписанный и пришпиленный к подушке клочок бумаги. Можете себе представить, с каким лихорадочным нетерпением я набросился на эту записку.

— «Жалкая земная тварь! — значилось в оной на чистейшем английском языке. — Мне с первого же дня ваша планета показалась на столько ничтожной, что я поспешил уехать восвояси. Какой путь я избрал — не скажу, дабы вы, дураки (так-таки и было написано «дураки» — fools) не повадились шататься к нам. Но, дабы вознаградить тебя за представленное мне на эту ночь гостеприимство, я обещаю тебе ежемесячно писать письма с описанием нашего житья-бытья. Каким образом эти письма будут тебе доставляться — этого я тебе тоже не скажу, иначе еще, пожалуй, ты вздумаешь мне отвечать, а глупостей твоих читать я не намерен. Итак, прощай. Жди от меня на днях письма. Ущипни за меня единственную земную женщину, с которой я успел познакомиться. Сморкаюсь в твой платок (так принято у нас на Марсе заканчивать письма).

Твой Крикс».

Прочтя это выразительное послание, я снова взыгрался духом: у меня будет корреспондент на Марсе! ого-го-го!! До этого еще ни одна, даже американская газета, не доходила.

Если Крикс не надует, обещаю, господа, печатать переводы его писем в нашем журнале.

B.

HA MAPC!

— Нет, это положительно невозможно! — воскликнула очень юная девушка, прелестно одетая, подходя к другой, тоже прекрасно одетой молодой девушке, сидящей за отдельным столом, в то время как прислуга ставила на этот стол какое-то мясное кушанье. — Представьте себе, машер! Подхожу я к кассе брать билеты; впереди меня идет вон тот господин, — причем она круто повернулась и указала своей собеседнице глазами на господина средних лет, скромно, но прилично одетого, сидевшего около лампы за другим столом, самым большим. — Он подает кассиру бумажку в 25 р., кассир его спрашивает: «До Петербурга?», он слегка кивает головой. Ему дают билет II класса и сдачу; а он, не дотрагиваясь до сдачи, уходит! Кассир положил передо мной его деньги; звал его, звал — не слышит, просил меня передать их ему. Я принесла ему деньги, положила перед его носом и очень громко сказала: «Вот ваша сдача»! Он вытаращил глаза на меня, но до денег не дотронулся и даже «мерси» не сказал. Как это его родные пускают его одного? Он или глухонемой, или сумасшедший!

Взволнованная девушка говорила это так громко на московском Николаевском вокзале, что все, бывшие в зале, пассажиры обратили особое внимание на господина, сидящего перед лампой. Электрическое освещение падало сверху на погруженного в свои мысли господина; казалось, он внимательно рассматривает стоящую перед ним незажженную лампу; перед ним на скатерти лежала наделавшая шума сдача: золотой в 5 р. и 6 или 7 монет серебра; билет II класса до Петербурга он держал в руках.

— В вашем сундуке 3 п. 5 ф., — сказал подошедший к нему артельщик. — Надо заплатить за скорость и взять плац-карту, мой № 23-й, — добавил он, забирая со стола деньги, на котором остался один пятиалтынный.

Подошел к нему газетчик, рассеянный господин взял молча у него № «Нового времени» и указал глазами на ос-

тавшуюся монету, которая быстро исчезла в кармане продавца газет.

Заинтересовавший публику господин углубился в чтение, причем глаза его потеряли ту сосредоточенность, с которой он смотрел на лампу. Подошел опять № 23-й, сказав: «Билеты и квитанции я вам отдам в вагоне, а также и сдачу, а теперь пойду занимать место, а тогда приду к вам», — сказал он, забирая его ручной багаж. Все сидевшие за столами перестали обращать внимание на господина, читающего «Новое время», кроме юной девушки, которая, покончивши с порцией мясного, спрошенной для нее ее подругой, сказала ей вполголоса: «Вероятно, очень влюблен! Теперь это такая редкость...». Встав с своего места, она пошла к большому столу и, сев против незнакомца, начала задавать ему вопросы, на которые он отвечал хотя отрывисто, но довольно вежливо, не переставая смотреть в газету.

Девушка не унималась, все ее вопросы вертелись около главного: «Что он намерен с собой сделать?» В том, что он влюблен и влюблен безнадежно, что ему не отвечают взаимностью — это уже вопрошающая решила бесповоротно; а ей хотелось только узнать: на какого рода самоубийство решится несчастный?

Это любопытство в связи с сочувствием и соболезнованием начинало ему надоедать, и на неоднократно повторявшийся вопрос ее: «Нет, скажите мне правду; куда и зачем вы едете?» — он ей ответил: «Хочу получить командировку!» — «Куда? В Китай? Не правда ли, я угадала? Посмотрите на меня, ведь угадала?» — «Нет, немного дальше», — сказал он, оторвав свои глаза от газеты и окинув ими вопрошающую. — «Но куда же?» — воскликнула она с разочарова шел. — «В Китае идут переговоры о мире, — сказал он, тщательно складывая газету — и дипломаты в моей помощи не нуждаются; а вот с Марсом переговоры только начинаются, и я на Марсе буду для американских астрономов очень полезен!» — «Ах! Вы хотите, вроде этого француза Андре, лететь на воздушном шаре; не правда ли? Но ведь вы замерзнете. Это ужасно! Это прямо лететь на верную смерть!»

Пока шел этот разговор, некоторые из пассажиров и пассажирок приблизились к разговаривающим. Один из юных инженеров стал разъяснять вопрошающей, что между Марсом и Землей не более 1/10000000 пути наполнено воздухом и то очень редким, так что лететь на Марс на воздушном шаре нельзя. Раздался 1-й звонок, явились артельщики, а в их числе и № 23-й. Господин, читавший «Новое время», встал, оправил теплое пальто с барашковым воротником и, положив в карман газету, пошел за артельщиком.

II

Он едет в поезде между Нью-Йорком и Бостоном. Поезд идет не особенно быстро, от 40 до 60 верст в час; на пути часто приостанавливается для приема новых пассажиров, садящихся на ходу. Поезд громаден. Все знают, что в нем едет он — человек, решившийся отправиться корреспондентом на планету Марс. Любезно пожимая ему руку, помещается с ним господин сангвинического темперамента, весьма похожий на знаменитого медиума, бывшего в 70-х годах в Москве и Петербурге, американца Следа. Он говорит: «Я вас должен познакомить с устройством приготовленного для вас нашей компанией экипажа, вот его модель, уменьшенная в сорок раз». При этом он показывает нечто вроде артиллерийского снаряда. «Длина в натуре до девяти метров, считая сюда заострение спереди и утолщение сзади; последнее сделано из свинца, а снаряд из сплава платины с иридием. Окружающие пассажира внутренние стенки подпаяны вроде подкладки сплавом магния, кальция и алюминия. Все ваше помещение будет иметь два метра, включая сюда и пружины под ножными педалями. Двухметровая крышка будет совершенно герметически за вами закрыта, так как внутри снаряда будет достаточное количество жидкого кислорода для поддержания процесса дыхания в течение двух недель. Металл подкладки прикрыт сеткой, сделанной из гуттаперчевой трубки, которая, буду-

чи надута вполне, заполнит пространство между вами и внутренними стенками снаряда. Под вашими ногами устроены две педали, неподвижно укрепленные в стенки снаряда; они имеют под носками вырезки, сильно прижимаемые снизу пружинами; но вы можете носком их надавить. Когда вам будет очень жарко, действуйте правым носком, когда очень холодно, действуйте левым, но знайте: усиливая левым носком испарение жидкого кислорода, что усилит окисление металлической подкладки, вы сами должны усилить выделения из вашего организма угольной кислоты посредством учащенного дыхания, потому что металлы щелочных земель имеют едкие окиси и, если они не будут соединены с угольной кислотой, то достанется не только вашему платью, но и вашему телу».

— Не можете ли вы определить, сколько времени употребит мой экипаж для прохода от одной планеты до другой? — спросил он.

— Тринадцать дней, 13 часов, 28 минуты и 47,8 секунды.

— Все это время я должен поститься, приготавливая дыханием массу угольной кислоты для отопления?

— Как раз против вашего рта будет два резиновых соска. Вы сосете правый, когда чувствуете голод, левый, когда жажду.

Разговаривающие немного помолчали.

— Я не могу управлять моим экипажем? — спросил отъезжающий.

— В межпланетном пространстве управление совершенно немыслимо и даже дотрагиваться до ручек, которые будут немного выше ваших колен, я вам не советую, но, влетая в воздушное пространство Марса, вы должны, согнув со всей силы колени, достать ручки руками и потянуть их всеми мускулами рук и ног вверх; тогда откроется металлический парашют снаряда и ваше движение станет быстро замедляться. Когда оно прекратится, не без толчка, конечно, на поверхности планеты, то вы должны правую ручку передать в левую руку, а левую в правую и потянуть снова со всей силы; тогда крышка откроется сама.

— По чему же я узнаю, когда снаряд войдет в атмосферу Марса?

Представитель компании указал на два маленьких стеклышка, вставленные в противоположную крышке стенку снаряда.

— Если вы приблизите ваши глаза к этим впадинам, то вы будете видеть все пространство, впереди вас лежащее; когда вы приблизитесь к планете на стоверстное расстояние, настанет время открывать парашют.

— Какова будет средняя скорость моего движения? — спросил, немного помолчав, отъезжающий.

— В среднем снаряд пролетит 1 версту в секунду*. Наибольшая быстрота будет при выходе из дула, 9 верст, наименьшая — до 50 саженьей в секунду на полпути.

— При 9 верстах в секунду стенки снаряда расплавятся от трения об стенки орудия и при прохождении через земную атмосферу?

— Конечно, повышение температуры будет, но не долго, менее 20 секунд, к тому же и оно сильно уменьшится вот этой наружной сетью на заостренной части снаряда, вдавленной в тело снаряда, сделанной из полый серебряной трубки, наполненной жидкой углекислотой. Трубка эта исчезнет при прохождении вашем в дуле орудия, но понизит температуру всего снаряда при вашем прохождении по дулу и через атмосферу.

— Мой экипаж со мной поместят, конечно, в казенную часть орудия, так как канал орудия кажется очень «длиннен»?

— Да, канал орудия 1,200 футов длины. Вас туда не вложат, а вы влетите туда уже со скоростью, превышающей 1,500 метров в секунду, по известной кривой и своим прохождением откроете клапан в казенную часть, прикрытую поршнем, к которому с задней стороны прикреплен и боль-

* Заметка редакции. Астрономы точно определили, что планета Марс ближе 56 миллионов верст от земли не бывает, она дает среднюю скорость около версты не в секунду, а в терцию, т. е. не 1" и а 1".

шой патрон динамита, а громадная казенная часть наполнится жидким воздухом и жидким водородом. Весь пар из громадного паровика, который будет мчаться вместе с вашим вагоном к орудию, тоже посредством особого приспособления попадет прежде вас в казенную часть и, хотя обратится в лед, но даст порядочную энергию массе жидкого воздуха, обратив значительную часть его в газ, а происшедший непосредственно за открытием клапана взрыв гремучего газа даст снаряду 6-верстную скорость в секунду, от взрыва же динамита уже по выходе снаряда из дула скорость достигнет 9 верст.

Говоривший повернулся к окну вагона и сказал своему собеседнику:

— Смотрите, вот ваша станция отправления...

В окно было видно в полуверстном расстоянии нечто вроде громадной стальной ковриги, разрезанной пополам и поставленной разрезом книзу. От нее было отрезано 6 ломтей, держащихся на расстоянии друг от друга в параллельном положении какими-то спиралями, внутри которых была прямая медная трубка, наполненная стеклянными трубочками с жидким воздухом и жидким водородом. Спиральи же постоянно охлаждали прямую трубку, испаряя из себя жидкую угольную кислоту и жидкий аммиак. В неразрезанную часть стального холма был вставлен металлический цилиндр длиной в 1,200 футов. Его поддерживала почти в вертикальном положении ажурная железная постройка вроде Эйфелевой башни.

— Ваш поезд соединит эти ломти стали, но они его остановят, хотя он будет идти со скоростью 250 верст в час; но вас они не остановят, для вас в них имеется отверстие!

— Стало быть, мы поедем назад? — спросил отъезжающий, заметив, что поезд удаляется от стальной горы со вставленной в нее 180-саженной пушкой.

— Да, но назад вы поедете из города Нью-Марса в специально для вас приготовленном поезде, к которому прицепимся и мы, члены компании, желающие вас проводить. Расстояние от Нью-Марса до места отправления 25 верст. Этого расстояния вполне достаточно, чтобы дать поезду пол-

ный ход, а 5-ти секунд довольно, чтобы ваш снаряд получил внутри вашего поезда движение в 28 раз быстрее, чем двигается сам поезд, иначе говоря, до 2-х верст в секунду.

— Но, позвольте! — воскликнул отъезжающий, — из Нью-Марса я двигаюсь параллельно земной поверхности, а из вашей длинной пушки я полечу к ней перпендикулярно; как же это случится?

— О, это все рассчитано с математической точностью; при ходе 2-х верст в секунду, этот поворот в $86^{\circ} 18'$ сделать можно: во 1-х, эти стальные ломти или стенки, соединяясь под напором поезда и двигаясь по наклонным рельсам, не только внесут жидкий воздух и водород в казенную часть, но и изменят ваше направление на 26° . Остальной поворот произойдет при входе снаряда в дуло орудия. Вы замечаете это утолщение в снаряде? — показал он на модель. — Это свинец, он запломбирует оставленное для вас входное боковое отверстие и, отрываясь от стального снаряда из благороднейших металлов, даст ему поворот на остальные $60^{\circ} 18'$; имея же в виду, что в это время жидкий воздух уже будет обдан паром и начавшееся его обращение в газ, поддержанное электричеством, даст такой ток газа из холма, что поршень, направляющий ваши движения, двигаясь уже до 4-х верст в секунду, будет способствовать совершенно правильному движению снаряда в дуле орудия.

— А динамит! — воскликнул отъезжающий.

— Взрыв динамита произойдет только по выходе снаряда из орудия, для вас он вполне безопасен, ибо после взрыва гремучего газа он не может иметь никакого разрушительного действия, только увеличит быстроту движения еще одну треть!

— Но все-таки я думаю, что толчки при отрыве свинцового пластыря и взрывах гремучего газа достаточны, чтобы душа рассталась с телом.

— Да, — отвечал несколько замаявшийся дирижер, — теперь есть новые изобретения и доктор Сильверст позаботился приспособить их вашему экипажу.

III

— Искусственное дыхание и искусственное сердцебиение будут применены к вашему организму при помощи гуттаперчевой сети, и немедленно по взрыве патрона, помимо вашей воли, конечно, кровеносные сосуды могут разорваться: это зависит от плотности их стенок, но будьте покойны, вам будет сделан тщательный медицинский осмотр.

Тут в разговор вмешался другой американец:

— Толчков при повороте организм выдержать не может, лучше употребить на пролет более времени, но попасть на Марс вполне здоровым, а не трупом. Я печатал в «Daily News», что из колодца до тысячи метров глубины можно вылететь совершенно без толчков и достигнуть скорости 6 верст в секунду...

Но первый американец не дал ему договорить, перебив словами:

— ...и вернуться на землю холодной лепешкой. Я публиковал в «Нью-Йорк Геральд», что не признаю возможным с этой скоростью вылететь из района притяжения Земли.

— Но вы хотите убить этого господина, как француз Андре убил себя и своего спутника? — возражал второй американец.

Спор принимал острый характер и противники уже выхватили из скрытых карманов револьверы, но их разняли и было решено, что они дерутся через ½ часа после отправки корреспондента в небесные пространства. Противники почти успокоились, хотя были слышны сквозь зубы такого рода возгласы. Первый ворчал: «Эта штука стоит ½ миллиарда долларов, 18 миллионов пожертвовано, остальные в долгу и если нынче отъезд не состоится, компания пропавает». Другой, в свою очередь, ругался по-немецки: «Хундерт миллиард тейфель вас тут мир ире компани? Унзере ист шон ганц капут! Унд дер хер ист аух капут!» Но второй, очевидно, побаивался первого, избегая встречи своих глаз

с глазами противника и, наконец, был оттеснен в противоположный край вагона.

Поезд подходил к Нью-Марсу, нечего было и думать об отступлении. Все лица, его окружавшие, хотя и старались всеми силами ему утешать, но не было ни малейшего сомнения, что если бы он отказался поместиться в драгоценный цилиндрический гроб, то его (живого или мертвого), положат туда силой.

Новый город весь состоял из одних гостиниц, хотя домов было не менее сотни и все они были не менее 9 этажей. Много было народа и на крышах. 30 поездов необыкновенной длины отправлялись один за другим по рельсам в 3 пути к тому месту, где стояла стальная коврига станции отправления. Очевидно, все торопились. Рядом с этими рельсами на 4-м пути рельсов стоял вагон-локомотив громадной длины. К нему был прицеплен маленький вагончик в 12 мест. 28 колес, почти спрятанные внутри вагона в футлярах, были очень прочны и имели 2 метра в диаметре. Их оси, тоже в футлярах, помещались на $\frac{1}{3}$ высоты вагона, а футляры для колес достигали потолка. Вагон был наполнен брусьями с выемками и выпуклостями вроде того, как делаются брусья в раздвижных столах. Все эти брусья были из литой стали, прекрасно отшлифованные; были брусья и неподвижные, укрепленные в переднюю и заднюю стенки вагона; кроме того, были еще неподвижные брусья поперек вагона, и только из них одних и состояла задняя стенка вагона, так что все брусья подвижные могли выдвигаться только назад. Сдвинутые вместе брусья равнялись 25 саж., вытянутые 700 саж. Сдвигание производилось электричеством. Двигалась каждая пара общим двигателем, но все 27 пар имели свой отдельный двигатель и свою собственную ось. Каждая пара колес вместе со своими футлярами тоже отодвигалась друг от друга при растягивании брусьев. При растягивании задняя пара отставала далее всех, остальные за нею и останавливались друг от друга на расстоянии 26 саж. при полном растяжении вагона. Проход между двумя стенками брусьев был занят футлярами для колес и осей. Последняя пара имела рукоятки, вверх прохо-

дящая через крышу вагона, к которому прикреплена платформа, а на ней машинист и драгоценный снаряд. Пока отъезжающий осматривал содержимое вагона паровика и заглянул даже в пространство под осями, где помещались электрические батареи и динамо-машины, ему приходило в голову, что расчеты быстроты его полета сделаны не математически точно или, что вернее, от него умышленно скрывают истинную скорость, чтобы не напугать. Он думал: обыкновенные пушки дают скорость, приближающуюся к 24 тысяч фут., т. е. 4 версты в секунду. «Неужели же, если из такой пушки выстрелить вверх, то ядро улетит из сферы земного притяжения?» — вопрошал он себя мысленно.

Но вот снаряд при помощи крана спустили на землю и крышка была открыта.

К нему подошел какой-то господин с обритой кругом рта серой растительностью очень жесткого свойства, которая окаймляла его лицо, и протянул руку. Планетный корреспондент протянул свою. «Жмите сильнее», — сказал вновь явившийся. Он пожал ему руку со всей силы. — «Вполне здоров, для полета годен — оль-райт!» — воскликнул незнакомец, оказавшийся знаменитым доктором. Медицинский осмотр был кончен; кончились и предложения всевозможных услуг, просили сказать последнее пожелание — ручаясь, что оно будет исполнено. Представители разных фирм: ваксы, духов, шерстяных материй и проч. и проч. Просили только назвать их фирму, но были скоро оттеснены, просьбу же сказать свое последнее желание заявил сам дирижер, обращаясь к отлетающему. У последнего мелькнула в голове мысль оказать: «Желаю немедленно вернуться на родину». Но мысль эта промелькнула; ясное же сознание неисполнимости этого желания оставалось в голове; еще ему хотелось как-нибудь их всех покрепче выругать, но губы его машинально повторили последнее слово доктора: «Оль-райт!»

Две дюжины рук подняли его на воздух и стали укладывать в снаряд; он сделал какое-то движение правой рукой, закричали: «опустите руку», и крышка закрылась.

Снаряд, висевший поперек вагона, поднявшись, повернулся и поместился вдоль вагона, под самой его крышей, причем был вдвинут в назначенное для него место. Поезд тронулся без звонков и без свистка. Быстрота его движения быстро возрастала; громадный резервуар, наполненный паром под очень высоким давлением, выдавался много вперед, почти на третью часть всего вагона в сжатом виде, который двигался электрической силой; эта грудь должна была проникнуть через отверстие в стальных стенках до казенной части орудия; поступая туда, раскрыться спереди, передать весь свой пар массе с тонкими стенками стеклянных трубочек, часть которых наполнена жидким воздухом, а часть — жидким водородом, одновременно с паром попавшими сюда из медных труб среди спирали; задней же своей частью из литой стали со свинцовым кольцом заклепать наглухо оставленное отверстие в казенную часть.

Вагончик с провожающими затормозился на 17-й версте, будучи зацеплен за рукояти платформы, на которой прежде лежал снаряд, а теперь стоял машинист, и раздвижной вагон быстро растянулся до 700-саженной длины. Машинист (тоже акционер) быстро спрыгнул с платформы на крышу маленького вагончика, дав предварительно полный ход машине. Раздался легкий треск электрических искр и на всем ходу растянутый вагон стал сжиматься, а маленький вагончик сильно от него отставать.

Стальной холм был со всех сторон окружен публикой, прибывшей уже в тридцати поездах, которая стояла от него в почтительном отдалении, саженях в 20-ти. Стоявшие около металлической башни, поддерживающей длинное дуло орудия, два паровика, занятые выкачиванием воздуха из дула, уже перестали работать и верхнее отверстие дула было закрыто крышкой, состоящей из нескольких сегментов; открыть же эту крышку должен будет тот остаток воздуха, который снаряд погонит перед собой.

Вагон-паровик достиг, окончательно сдвигаясь, стальной стены или первого ломтя ковриги и вся сталь ковриги сомкнулась настолько быстро, что глазу трудно было проследить, как это случилось. Затем из дула показалось что-то

вроде молнии; все махали шляпами и платками, как будто отлетающий мог их видеть. Вся стальная масса холма дрожала, как в лихорадке, хотя она была поставлена своей ровной и нижней поверхностью на глубоко заложенном цокольном фундаменте.

В продолжение многих секунд холм издавал какой-то звук, похожий на отдаленную бурю с особенным треском, слышным внутри холма. Металлическая башня, вместе с главным цилиндром орудия, еле заметно качалась; но вот до ушей зрителей долетел звук динамита, как-то не особенно звонко, но вполне слышный. Этому звуку предшествовал громopodobный звук, производимый воздухом, заполнявшим огненный путь снаряда. Началось сильное течение воздуха снизу вверх; два-три облачка, проходившие вблизи от пути снаряда, быстро бросились на этот путь, а почти чистое небо как-то особенно тяжело вздохнуло — протяжным глубоким вздохом, причем стало покрываться мелкими восходящими облаками и вскоре пошел дождик, как бы воздух оплакивал случившееся. По расчету времени, прошедшего от сжатия стальной ковриги до момента, когда звук динамитного взрыва достиг слуха зрителей, оказалось, что взрыв последовал на третьей версте от стального холма, стало быть, и трехверстный огненный столб был моментально произведен взрывом гремучего газа, образовавшегося из смеси воздуха с водородом.

Теперь толпа сожалела исчезнувшего, мало надеясь на удачный исход его экскурсии, — особенно дамы, — не только слез, но и обмороков было вволю.

Из подкатившего вагончика выскочил режиссер, который отыскивал представителя противной фирмы, но тот куда-то скрылся.

Весь стальной холм страшно охладился от испарения оставшегося жидкого воздуха и стал покрываться белым налетом осаждавшихся из окружающего воздуха водных паров. Всякий счел своей неременной обязанностью поковырять этот налет — кто тростью, а кто просто ногтем.

Разносчики газет, в которых описывалась биография улетевшего (конечно, вымышленная), заработали тоже хорошие

деньги. Поезда стали наполняться отъезжающей в Нью-Марс публикой, где предполагался громадный митинг.

Около холма все опустело и только около пасти, в которую вылетел раздвижной вагон, торчали расщепившиеся стальные брусья, напоминая ту растительность, которую так тщательно обривает американец, и перед холмом валялись обломки футляров, колес и динамо-машин, валялись вокрут, как объедки от адского завтрака великана.

IV

— Господа! Подходим к Любани. Поезд стоит 20 минут, не угодно ли поправить туалет? — добавил кондуктор, дотрагиваясь до мечтателя и будя его. — Надо опускать верх!

Умывшись, влюбленный почувствовал какую-то особенную жизнерадостность. Гипноза как не бывало и Петербург, который он всегда называл противным болотом, просветлел в его воображении и получил привлекательную силу. Никогда он не пил кофе с таким аппетитом. Но вот прошла мимо него его московская знакомая незнакомка и снисходительно-лукаво улыбнулась; но окончивши с кофеем и доставая деньги, чтобы расплатиться, он вспомнил о приключении со сдачей и нашел нужным подойти и извиниться в своей невежливости, которая проходила мимо его воли. Это так обрадовало незнакомку, что она объявила, что хотя у нее билет 1 класса, но она сядет до Колпина во 2-й, чтобы ему кое-что сказать; предложение было принято. Во время совместной дороги они не только успели хорошо познакомиться, но незнакомка оказалась осведомленной о предмете его страсти и даже успела передать тричетыре приключения скабрезного свойства с ней. Вообще подействовала благотворно в смысле разоружения. Он же настолько почувствовал себя молодым, что даже принялся за занятие, которым не занимался 25 лет, ему было далеко за сорок, и по приезде в Петербург, хорошо позавтракавши, пошел гулять по Невскому, а зайдя к Рабону, купил кон-

фет в 1 ½ р. фунт и на специальной бумажке написал следующие 8 строк:

Как ангел легки и воздушны,
Подчас чертовски хороши!
Добру и злу равно послушны
Продажней в мире нет души?

* * *

Кто знает, где ее святыня?
А я скажу лишь ей одно:
Обжечь вы можете, графиня!
Но согревать вам не дано.

Конфеты со стихами он послал по адресу с посыльным, но адреса, господи, уж извините, я вам не скажу.

Николай Рубакин

**БОМБА ПРОФЕССОРА
ШТУРМВЕЛЬТА**

Министр сидел в своем кабинете перед широким письменным столом, заваленным бумагами, курил сигару и пил утренний кофе. Он усиленно втягивал в себя дым и затем медленно выпускал его. Его маленькая пухлая фигурка с отвисшим брюшком глубоко ушла в мягкое бархатное кресло, и на этом бархатном фоне вырисовывалась большая, наполовину лысая голова. Лицом министр походил на того старого кота, который, прищулив глаза, намеревается цапнуть докучного ребенка.

Министру было не по себе. Наклонив свою лысую голову на бок, положив руки на ручки кресла, он угрюмо смотрел по сторонам, выпуская облака ароматного дыма, а в промежутки между затяжками нервно грыз двумя единственными зубами кончики жестких щетинистых усов.

В отворенное, полузавешенное тяжелыми гардинами окно вместе со свежим утренним воздухом врывались волны звуков, наполняли комнату сверху до низу и глохли в книжных шкафах, этажерках, бюро, статуях, картинах и разнообразной пестрой блестящей дорогой дребедени, которой был заставлен кабинет министра. Мощным аккордом жизни гудел лес; не переставая, словно моля и взывая, трещал соловей. На подоконник окна уселся храбрый воробушек, раз-два молодцевато вертнул своей головкой, заглянул в кабинет и, не найдя там ничего привлекательного, спорхнул в ближайшую зеленую рощу.

Но министр не слышал этих звуков. Его уши были, так сказать, заткнуты его мыслями. Он смотрел на бумаги, которые лежали перед ним, на столе, и, перебегая взглядом с одной на другую, что-то усиленно соображал и что-то недоступное простым смертным видел. Перед его умственными очами где-то, не то далеко, не то близко, как будто вверху, а то и внизу, широкой панорамой расстилалась Европа, окруженная убегающей в даль перспективой колоний. Но

это была не материк-Европа с ее горами и морями и мыслящими и чувствующими людьми, а какой-то туманный, безжизненный символ, гигантская карта, распланированная, разгороженная, поделенная на части и частички и сплошь покрытая, как сшитое из лоскутов одеяло, трактатами, договорами, донесениями послов, консулов и агентов, видимых и невидимых; и с каждой частичкой в уме министра связывалось известное, очень определенное представление цвета, запаха, вкуса, симпатии и антипатии. Одно донесение гласит: «Спешу вас уведомить, что мною получены самые верные сведения о сосредоточении двух корпусов на нашей границе». Другое: «Вносится законопроект об увеличении на восемнадцать тысяч мирного состава армии...» Третье: «В крепость Пырфорт доставлены новой системы орудия, диаметр два фута, дальностью восемь километров...» «Профессор Дьелафе изобрел и представил на испытание разрывной состав необыкновенной силы "horrorit". Достать его рецепт пока невозможно».

Перебирая аккуратно сложенные бумаги, министр мельком уловлял однозначные, утомительно однообразные слова: «вооружение», «добавочный кредит», «палеин Ланфре», «взрывчатая смола Нобеля», «зеленый порох», «беллит Лама», «панкластит Тюрпена», «литокластит Рока», «меленит», «робурит», «громобой», «бездымный порох», «ружья системы Кабэ, Пате, Шпитцфус...» Затем соображения военного министра о постройке новых стратегических дорог, об укреплении крепостей, расширении казарм, о премиях унтер-офицерам; записки министра финансов о новых налогах для покрытия «чрезвычайных» расходов и о росте государственного долга... Затем толки газет «о непонятной уступчивости рейхстага, вследствие которой от народа потребуют все то, что у него можно будет взять», и «об угрожающем господстве солдатского духа», и т. д., и т. д. Длинный ряд страшных слов неся в голове министра, словно змейка, которая ползет уже давно, а хвоста которой еще не видно. Все донесения, все известия и телеграммы настроены на один тон и говорят об одном и том же: соседи не дремлют, их сила растет.

Министр делает нетерпеливый жест рукой и отбрасывает донесения и газеты в сторону. По его желтым, отвисшим щекам пробегает, как волнение по заплывшему зеленому пруду, не то улыбка, не то гримаса, и быстро исчезает под тиной. А в уме восстает в высшей степени неприятное ощущение, какое люди нередко испытывают во сне: нужно бежать, вот настигают, нужно защищаться, вот нападают, а ни бежать, ни защищаться не можешь... Тут уж не до рассуждения: «На кой черт все это совершается?» Министр мотнул головой, словно желая согнать навязчивую муху.

Из соседней комнаты доносятся звуки рояля, которые брызжут из-под опущенных портьер, льются и очаровывают. «И зачем этот глупый мальчишка Генрих вчера опять ездил в Кугельруэ? — вдруг встает в уме министра совершенно посторонний вопрос. — Она не пара ему. Вздор, глупости! Мой сын!.. О, черт возьми!..»

Положительно, в этот день логическое мышление не дается министру. Снова нетерпеливый жест. Снова какое-то неопределенное движение по лицу. И опять новое неприятное воспоминание:

«Он сказал: “Ваши планы будут разрушены полным финансовым разорением государства. У нас больше нет сил!” Он это сказал, и оппозиция ему аплодировала. О, эти господа аплодируют всем, кто делает мне возражения. Глупости, глупости! Остановиться нельзя. В нашей стране, наконец, больше сил, чем думают эти господа! Или мой законопроект будет принят, или — я выйду в отставку. Для царства мира нужны штыки».

— Чик-чирик, чик-чирик! — неугомонно где-то вблизи щебечет воробей, словно желая показать всему миру, как ему легко и беззаботно живется. Министр тяжело поднимается с кресла и, переваливаясь с боку на бок, подходит к окну. У ворот замка стоит солдат, который, увидев в окне министра, поспешно вытягивается.

К подъезду замка, украшенному гранитными кариатидами, подъехала изящная коляска на резиновых шинах, из нее выпрыгнул с легкостью резинового мячика пухленький господин в цилиндре, с портфелем, и легкой скачущей по-

ходкой исчез в дверях дворца.

Министр поморщился. Он не любил лишних посетителей и, ковыляя, снова подошел к столу и грузно опустился в кресло.

Через несколько минут лакей доложил о приезде «господина председателя медицинского совета и постоянной санитарной комиссии» профессора Штурмвельта, желающего говорить по неотложному делу.

Министр еще поморщился, но велел принять. В комнату вошел тоже скачущей походкой, но почтительно согнувшись, пожилой, хотя и юркий господин во фраке со светлыми пуговицами, украшенном орденами, с портфелем в руках, надушенный, изящный, с аккуратно расчесанными à l'anglaise рыжими баками, из-под которых выставлялись красные лоснящиеся щеки. На широком носу плотно сидели золотые массивные очки, и эти очки, вместе с пухлыми, красными губами широкого рта и носом с горбинкой придавали господину профессору вид ученого достоинства, величавой любезности и гордого самосознания. Вся наружность профессора давала понять, что он знает, с кем говорит, но вместе с тем, что он знает цену и себе.

Последовал обмен приветствий, и затем профессор начал говорить приятным тенорком, отчеканивая слова и сопровождая свою речь изящными жестами.

— Ваше превосходительство, я к вам приехал по одному важному, можно сказать, государственному делу. Мы, люди науки, считаем своим нравственным долгом служить государству.

Министр кивнул головой, не изменяя выражения лица.

— Я, собственно, имею честь сделать доклад о моей поездке в зараженные местности Испании и заявить о некоторых результатах моих работ, которые, смею надеяться, ваше превосходительство почтит своим сочувствием.

Профессор остановился и сделал изящный поклон, согнув свой стан в сторону, и при этом с любезным видом открыл длинные белые зубы.

— Вот, ваше превосходительство, — продолжал профессор, подавая министру объемистую тетрадь, — доклад о моих

работах. Ввиду того, что это дело государственной важности, я решился обратиться с ним прямо к вам. Вы мне позволите теперь вкратце изложить перед вами сущность дела?

Министр наклонил в знак согласия голову, но при этом посмотрел на часы.

— Во-первых, — начал профессор, — способ предохранительной прививки холерных бацилл — найден. Точная постановка опытов, некоторые усовершенствования в методе культур, сделанные мною, позволяют мне утверждать, что я в данном отношении не ошибаюсь. Мои предшественники в своих работах шли по ложной дороге. Они культивировали запятые доктора Коха, и в этих культурах искали антагониста болезни. Это совершенно неправильный путь. Основываясь на опытах Фелейзена, который вылечил *lupus* (разъедающий лишай-волчанку), вводя в кровь бактерии рожи, и на опытах Эммериха, доказавшего, что бактерии рожи предохраняют от многих заболеваний, я нашел вполне правильный путь борьбы с холерой. Он состоит в культуре одной из найденных мною бактерий, которую я назвал, с согласия моих испанских коллег, моим собственным именем, *Microspirula Sturmweiltii*. Это — маленькая спиральная бактерия, три микромиллиметра длины, один ширины, обыкновенно безвредная. Но путем длинного ряда культур в крови известных видов животных, можно усилить ее деятельность до желательной для вас нормы. Те субъекты, в которые она попадает, тогда подвергаются, смотря по ее силе, разным поражениям; этим она напоминает пневмококкус Френкеля, которая производит плеврит, бронхит, отит, эндокардит, перикор...

Министр сделал нетерпеливый знак рукой.

— О, я не буду утомлять ваше внимание патологическими признаками. Но осмеливаюсь заявить, что такая усиленная *Microspirula Sturmweiltii*, привитая в кровь человека, предохраняет его от заражения холерой. Вот мое открытие в чем состоит. Счастливый результат, добытый мной, уже проверен на опыте в институте Пастера. Вашему превосходительству, разумеется, не безызвестно, что мне назначена французским правительством премия, которой, быть может,

и не заслуживают мои скромные труды...

Профессор опять изящно перегнул стан и выразил на своем лице все, что бы и слепые поняли, какую цену он придает этим «скромным трудам».

Министр, процедив сквозь зубы какую-то любезность, по-прежнему сидел неподвижно и лишь правой рукой мерно отбивал такт по ручке кресла.

— Но это, ваше превосходительство, одна сторона дела, — продолжал профессор. — Бесспорно, человечество внесет меня в список маленьких, маленьких тружеников на великом поприще науки. Можно теперь сказать: холера не страшна. Зараженные ею умирать уже не будут, — я им этого не дам. Мы работаем на благо человечества, как умеем. (Профессор слащаво улыбнулся и победоносно посмотрел из-под своих очков на министра.) Но я пошел дальше, ваше превосходительство. *Microspirula Sturmweilii* — в этом ее достоинство — чрезвычайно поддается культуре. Способность ее усиливаться в своих действиях на животный организм, по-видимому, безгранична. Она меняется в виде, в цвете, в величине. Если вы возьмете III окуляр Зейберта, девятую систему иммерзион, окрасите же *Microspirula Sturmweilii* везувином или хозином...

— Гм! — кашлянул министр. — Что вы говорите?

Профессор опять сделал любезную гримасу и продолжал:

— О, я не буду утруждать ваше превосходительство технической стороной вопроса. Мы, люди науки, слишком преданы своему делу, чтобы подчас не увлечься. Так вот, за известной границей культур *Microspirula Sturmweilii* делается смертоносной. Животное, которому привита в кровь *Microspirula Sturmweilii* (профессор особенно выразительно произносил эти слова) теряет сознание, падает в судорогах, у него происходит паралич мышц лица, языка, глотки, неба, глаза выступают из орбит, легкие расширяются, животное дышит с трудом и так и остается с расширенными легкими. Затем полиурия, мелитурия — и через двадцать минут смерть. Очевидно, в данном случае, дело не обходится без поражения мозга.

— Какие мучения! — заметил министр, закуривая сигару.

— Так, — сказал профессор таким тоном, которым отвечают на вопросы, не идущие к делу и, не останавливаясь на этой стороне дела, пошел дальше. — Я не могу еще объяснить себе, чем обусловливается болезнетворное действие *Microspirula Sturmweiltii* на организм: вероятно, она выделяет какой-либо птомаин, как доказал доктор Ру для дифтерита. Но это все равно. Исследование *Microspirula Sturmweiltii* показало, что это за сильное орудие. Так, мой служитель едва не поплатился при этом. Случайно он царапнул моим ланцетом свою руку. И у него проявились все признаки отравы: он упал без чувств и в судорогах — это раз; у него стал наблюдаться паралич мышц языка, лица, глотки, — это два; глаза выступили из орбит — три; наконец, легкие расширились, и он стал задыхаться — четыре. Очевидно, действие усиленной *Microspirula Sturmweiltii* одинаково (если только не сильнее) и на человека. Мой слуга несомненно умер бы, если бы мне не пришла в то мгновение счастливая мысль впрыснуть ему под кожу значительную дозу холерной культуры. И действительно, припадки стали ослабевать, и через месяц он был почти здоров, остались одни следы паралича.

Министру уже начинало казаться, что господин председатель медицинского совета и постоянной комиссии слишком многоречив. Зачем так долго останавливаться на таких неприятных подробностях, как человек с расширенными легкими и выкатившимися глазами?

— Итак, — сказал он и быстрее забил такт по ручке кресла.

— Итак, — продолжал профессор, — я открыл ряд чрезвычайно интересных фактов, богатых выводами. И что удивительно, ни запятая доктора Коха, ни *Microspirula Sturmweiltii* уже не действуют на таких людей, которым впрыснута под кожу смесь их, которая сама по себе безвредна. Это раз. Затем, *Microspirula Sturmweiltii* на известной степени культуры способна заражать человека не только при впрыскивании ее под кожу, но и попадая в легкие, в пи-

щевой канал и т. д. Я определил эту степень культуры. У меня есть некоторый запас этой удивительной бактерии. И извольте видеть, ваше превосходительство, — она действует не больше, как через час после прививки, а через полтора часа человек уже не может ни ходить, ни стоять.

Министр опять усилил такт, а по его лицу пробежала какая-то тень и исчезла за занавеской, как мышь, выскочившая из норы и юркнувшая под диван. Министр уже не понимал, к чему ведет речь ученый профессор. В его душе поднималось неприятное чувство.

— Итак, — сказал он, похлопывая по креслу и показывая два желтых зуба, — вы обогатили мир новой болезнью?

Профессор широко улыбнулся, блеснув щеками и глазами и, оскалившись, сказал:

— Нет, ваше превосходительство, совсем не так. Я обогатил мир новым орудием добра. Это-то орудие я и осмеливаюсь предложить нашему великому государству для дальнейшей его славы и процветания. Долгом считаю предложить мое изобретение прежде всего моей родине, которая меня уже наградила столькими отличиями.

Он опять перегнулся, сделал умильное лицо, мельком взглянул на ордена, украшавшие его грудь, и поклонился министру с таким видом, как будто бы перед ним сидела в кресле его воплощенная родина.

Министр, в голове которого только что неизвестно по какой ассоциации возник вопрос: «Неужели мой Генрих опять у той?» — верный признак рассеянности, — министр насторожил уши. Какое такое добро можно ожидать от людей с выкатившимися глазами и расширенными легкими?

Профессор, прыгающей походкой, ступая на носочки, подошел к изящному столику эбенового дерева, грациозно положил на него портфель, развернул и достал из него два шарика из толстого стекла, дюйма три в поперечнике. Внутри шариков можно было видеть какое-то коричневое, порошкообразное, похожее на сухие дрожжи вещество. В одном месте шарика укреплена была трубочка, совершенно такая, как у разрывных гранат, металлическая.

Профессор взял каждый шарик двумя пальцами и с видом беса, соблазняющего Еву, подал их министру.

Тот взял шарик, прищурил глаза и, отодвинув сигару в угол рта, стал его рассматривать.

Профессор стоял пред ним, разглаживая рыжие бакенбарды и с самодовольным видом играл коленом правой ноги.

— Что это такое? — спросил, наконец, министр.

— Ваше превосходительство, — произнес профессор торжественным голосом, — имею честь предложить через ваше посредство нашему могучему государству приобрести у меня бомбу моего изобретения. Вам известны, разумеется, лучше, чем мне, разрушительные силы динамита, робури-та, мелинита и т. д. Осмелюсь думать, что моя бомба сделает войну положительно невозможной, даже немыслимой и даст в руки вашего превосходительства могучее орудие утешения врагов нашей родины.

Министр раскрыл глаза, и в них что-то отразилось. Он усиленно запыхал свою сигарой и еще внимательнее стал рассматривать шарики. Ему представилась в это время ненавистная фигура главы социал-демократов, который горячо возражает по пунктам на все уверения его, канцлера, что «законопроект не идет дальше абсолютно необходимого для защиты и неприкосновенности страны». В это время профессор стоял и с рассеянным видом осматривал роскошный кабинет министра. Сколько здесь драгоценных вещей! Сколько удобства и изящества! Бесспорно, и у него будет все это, если государство купит его изобретение. Вот он владелец такого же поместья где-нибудь в Вестфалии; у него прекрасная лаборатория; к нему, как к Вольтеру или Эдисону, съезжаются на поклон светила всего мира. Его жена, его маленькие Мальхен и Фриц... Ах, сколько будущих благ заключены в этих стеклянных шариках!..

— Что это такое? — повторил опять министр, вдруг взглянув на профессора.

— Этот стеклянный шар с трубочкой — бомба, наполненная культивированными до известной степени силы бактериями *Microspirula Sturmweiltii*. Именно, культура этой

бактерии доведена до той степени, что, попав в организм, она производит, правда, не смерть, но тяжелую, продолжительную болезнь. Этим она удовлетворяет требованиям человеколюбия, которые в наш век несомненно предъявляются ко всем орудиям войны. Эту бомбу можно положить в пушку, бросать ею в лагерь неприятелей; падая, она будет разрываться и осыпаться бактериями. Таким способом можно остановить в каких-нибудь два-три часа целую армию врагов, так как зараза распространяется чрезвычайно быстро. Но бомба не единственный способ распространять бактерии...

Даже на лице невозмутимого министра изобразились на минуту восклицательные и вопросительные знаки, чем профессор остался очень доволен. Гордый, сияющий, не замечая все более и более хмурящихся бровей министра, ученый доктор Штурмвельт незаметно возвысил тон своего голоса и, с видом опытного профессора, стал излагать свою теорию войны с помощью бактерий. Он говорил, что осыпаться такими бактериями хоть самое последнее местечко страны — значит заразить всю страну; войско, осыпанное бактериями, через два часа уже неспособно к битве: в нем открывается болезнь. Бактерии наводняют воздух, кишат в воде, облепляют платье; вместе с дождем падают сверху; вместе с пылью или парами воды несутся вверх; солнце, ветер, люди, вода, — носят, кружат их.

— Это, так сказать, маленькие, невидимые пульки, которыми мы можем стрелять в наших неприятелей. Для этого не нужно ни ружей, ни пушек. *Microspirula Sturm-weltii* не требует больших расходов на вооружение. Расходы на ее содержание входят не в государственный бюджет, а в бюджет природы. Для пользования ею не нужно даже бомб, — ничего не нужно, кроме знания. Враждебную страну, ваше превосходительство, вы каждую секунду можете запугать ужасом страшной заразы, которую два любых ваших агента могут занести туда в платье, в книге, в волосах. Да что агенты! Ее могут нести звери, птицы, мухи; санитарные меры и карантинны спасти не могут: мы всю страну закидаем микробами. Если и не все подвергаются опасно-

сти смерти, то все подвергаются опасности тяжелой болезни. У врагов нет средств бороться с эпидемией: тифозная бацилла живет полгода, а *Microspirula Sturmweiltii* — три года. Ей не страшен жар и сухость, ибо она высохнет, но не погибнет, не страшен холод, ибо она, по моим опытам, выдерживает мороз в 30 градусов. Правда, свет уничтожает ее, но ночью или в полутьме она размножается со страшной быстротой. Как теперь выделяются дрожжи, так мы будем фабричным путем готовить бациллы *Microspirula Sturmweiltii* и тысячами способов забрасывать ими неприятельскую страну. Вместо армии солдат мы пошлем на врагов, так сказать, армии бактерий; вместо видимого, дорогостоящего воинства летит на врага воинство невидимое, грозное, само себя питающее, неуничтожаемое, всепроникающее. По моим вычислениям, один миллиграмм этого бурого вещества, находящегося в шарике, содержит семьсот миллионов *Microspirula Sturmweiltii*; через каждый час каждая особь дает поколение в 900,000 особей; положим, половина их пропадает, но тем не менее граната, содержащая восемь граммов вещества, несет в себе пять триллионов шестьсот миллиардов бацилл. А сколько их будет через час? А через сутки? Сражаясь с неприятелем с помощью такой армии, мы, несомненно, должны одержать победу. По теории вероятностей, 98 против 2, что враг не допустит до того, чтобы мы начали войну; ведь все его пушки и ружья, мелиниты и робуриты бессильны, добавочные кредиты бесцельны: их страна не в силах ни нападать, ни защищаться. Она гибнет. А бактерии несутся все дальше и дальше; они достигают городов, они врываются в парламенты, палаты, дворцы. В стране начинается брожение. Общество требует, чтобы правительство уступило всем требованиям вашего превосходительства. Все кричат: «Довольно! Остановите эпидемию!» Победа, ваше превосходительство, победа! Все ваши требования удовлетворены, и вы даете приказание остановить мор *предохранительной прививкой*. И это делается немедленно.

Профессор становится в картинную позу, в которой, вероятно, стоял когда-то Цицерон, защищая Милона. Министр,

сдвинув брови, смотрит на оратора и постукивает рукой о кресло. Он мрачен. Он внутренне содрогается. Он видит эпидемию гуляющей по всему земному шару.

— Одно средство может остановить нападение, — продолжает профессор. — Это предохранительная прививка смеси бацилл — усиленных до определенной степени *Microspirula Sturmweiltii* и коховских запятых. Но это средство известно только нам, и мы его держим в секрете. У нас всем верноподданным его величества короля заблаговременно делается предохранительная прививка. Прививка эта обязательна. За этим следит правительство, рассылающее бацилл из особой лаборатории, которую я берусь устроить в больших размерах во всякое время. Мы в безопасности, но оружие страшнее всяких мелинитов и громобоев в наших руках.

Министр еще более нахмурился. Порыв ветра откинул на мгновение гардину окна, и яркие лучи солнца золотым снопом ворвались в кабинет министра и ударились в паркетный пол, который заблестел и потух.

Министр что-то соображал.

— Ваше превосходительство, — продолжал профессор, играя коленом и полусогнув свой пухленький стан, — никто не решится вам даже дать повод прибегнуть к бомбам из *Microspirula Sturmweiltii*. Поэтому я не стану входить в подробности того способа, как локализовать и остановить эпидемию; но и это возможно, с помощью тех же бацилл и прививок.

Итак, я считаю возможным утверждать перед лицом ученого мира, что благодаря моим бактериям вы несомненно сделаетесь владыкой вселенной, а это послужит к большей прочности мира и, как всякое сосредоточение силы в одних руках, надолго устранил войну. Бесспорно, ученый мир со временем найдет и помимо меня средство сделать и мою бактерию безвредной; настанет день, когда бомба моя утратит смысл, когда все будут знать средство против *Microspirula Sturmweiltii*. Бесспорно, моя бомба испытает, таким образом, судьбу всех военных изобретений. Но, ваше превосходительство, — это когда-то еще будет, а до тех пор мы

не станем напрасно терять время! Вашему превосходительству лучше, чем кому-либо, известно, что значит в дипломатии «уловить момент».

Профессор улыбнулся, откинул голову назад и замер, уставившись из-под очков на лысую, седую фигуру министра, сидящего в кресле.

Министр не только уже отбивал такт рукой, но кивал и головой, при каждой остановке профессора говорил одним тоном «да», «да», и только эти движения и слова показывали, что он в волнении.

— Итак, ваше превосходительство, — переменяя тон с ораторского на деловой, закончил свою речь профессор, — осмеливаюсь предложить через вас моей родине приобрести у меня секрет культивировки бацилл *Microspirula Sturmweiltii* и предохранительной прививки за восемьсот тысяч талеров. Я готов каждую минуту представить фактические доказательства того действия, какое производит моя *Microspirula Sturmweiltii*, и проделать опыты пред лицом ученой комиссии. Нет сомнения, вы мне предоставите для большей очевидности пользы моего изобретения возможность привить мою бациллу тем отребьям государства, которые за свои стремления и наклонности и поступки приговорены государством к смертной казни.

— Что-о? — спросил вдруг министр, поднимаясь с кресла. — Что вы сказали?

Глаза его сверкнули, желтые два зуба выдвинулись из рта, исказившегося гримасой.

На лице министра отразилось какое-то сильное чувство, не то презрение, не то гнев. Воображение нарисовало перед ним человека посиневшего, скорченного, спазматически втягивающего в себя воздух. В его душе мелькнуло нечто похожее на жалость и, посмотрев на изящную раздушенную фигуру профессора, разглаживающего баки и играющего коленями, розовую, цветущую, — министр вдруг почувствовал к нему омерзение.

— Что-о? — еще спросил он. — Вы хотите это... это... применить... на человеке... для опыта?.. так?..

— О, не пугайтесь, ваше превосходительство, я уже имел честь сказать, что один из признаков болезни, производимой *Microspirula Sturmweiltii* — потеря сознания. Заразившийся теряет всякую чувствительность и ровно-ровно ничего не чувствует, — самоуверенным тоном сказал профессор. — Сознание отсутствует в самый тяжелый период болезни, а затем... ну, затем сохраняются известные страдания. Но, ваше превосходительство, столько ли их, сколько причиняют пули, мелиниты и другие орудия современной войны? Война с помощью бактерий — война бескровная, смертность несравненно меньшая; моя бомба не только служит для войны, но и для человеколюбия!..

Рот министра еще более искривился. Он мелкими шажками зашагал по кабинету. Что-то поднималось и закипало внутри него. Оба кончика своих усов министр забил в рот и сосал их немилосердно. Его рука протянулась к звонку.

— Ну да, да, не страдает! — улыбаясь, говорил профессор. — Итак, ваше превосходительство, я всепокорнейше прошу вас доложить его величеству королю и военному совету о моем изобретении и о моем желании уступить его нашему славному государству... на тех условиях, о которых я сказал.

И профессор снова отвесил грациозный поклон, переступил с места на место и, отставив мизинец левой руки, погладил себя по бакенбарде; министр сморщил лоб, остановился перед профессором и, повинуясь какой-то волне внутреннего чувства, порывисто дернул за звонок. Он уже готов был закричать явившемуся лакею:

— Прогоните этого негодяя!..

Но...

Но... в эту минуту перед его глазами вдруг откуда-то развернулась знакомая панорама — Европа, та самая Европа, населенная не людьми с мясом и нервами, а какими-то отвлеченными существами, красными, черными, синими, белыми, не мыслящими, не чувствующими, которых можно и собирать и разбирать, вооружать, разоружать, стучать лбами и гладить по головкам; Европа-символ, Европа-кар-

та, Европа щетинистая, как еж, от стальных штыков, с ее оскаленными зубами и с недвусмысленными угрозами, облеченными в притворно-вежливый язык склизкой дипломатии.

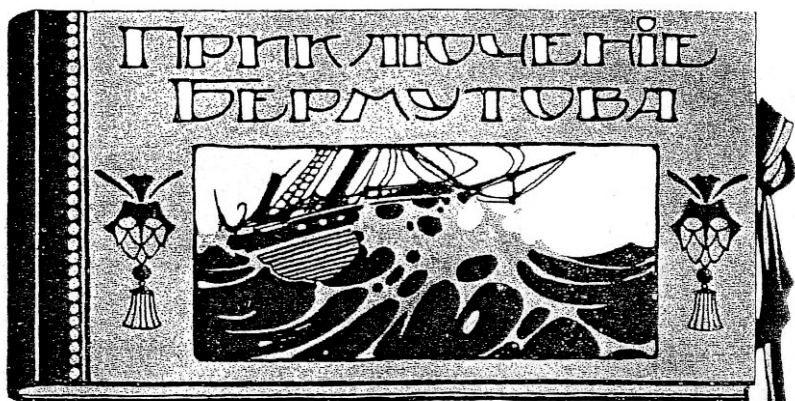
И слова замерли на языке министра. Он ничего не сказал лакею и, поклонившись ученому профессору, вежливым тоном произнес, пряча глаза за занавески:

— Хорошо! Я доложу о вашем изобретении!

Валентин Франчич

ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕРМУТОВА

Илл. С. Лодыгина



В апреле 1874 года английский военный крейсер «Адмирал Нельсон» встретил в южно-африканских водах никем не управляемую русскую яхту. Так как был штиль, крейсер свободно мог подойти к ней, чтобы исследовать причину отсутствия на ней каких-либо признаков жизни.

В каютах в кубрике (помещение для матросов) были найдены сильно разложившиеся трупы людей. Осмотром установлено, что смерть последовала от какой-то, неизвестной европейским бактериологам, эпидемической болезни.

Среди бумаг и документов, найденных в каютах и препровожденных русскому генеральному консулу в Лондоне, находились нижеследующие записки какого-то Бермутова. В записках отсутствуют даты.

ЗАПИСКИ БЕРМУТОВА

— Где достал Игренов документы, доказывающие существование какой-то неизвестной трехостровной колонии в Атлантическом океане, мы не знаем, однако, географические указания относительно местоположения так полны, что в правдивости их нельзя сомневаться.

Документы написаны на голландском языке и подробно рисуют быт колонистов, их богатство, большую благоустроенность города и, наконец, эпидемическую болезнь, которая в короткое время опустошает колонию. Я не буду останавливаться на мелких второстепенных фактах этой удивительной истории и сразу перейду к главному — экспедиции, предпринятой нами с целью отыскать эту, заброшенную в океане и вымершую колонию.

Инициатором, как всегда, явился Игренов, снарядивший прекрасную морскую яхту и пригласивший меня, Маркевича, Лебединского и Грановского в качестве спутников. Уже месяц, как «Мыс Доброй Надежды» разрезает своим горделивым носом волны океана.

ОСТРОВА

Как-то утром в кают компанию вбежал дежурный матрос и доложил:

— Земля!

Все высыпали на палубу и в матово-пурпурных лучах поднимавшегося солнца далеко на горизонте увидели едва заметную, извилистую полосу берега.

Извилистая линия в двух местах обрывалась.

Я обратил на это внимание остальных.

— Это — острова, — уверенно сказал капитан Лубейкин, — три острова, не больше и не меньше.

Слова эти заставили наши сердца забиться учащенным темпом. Если это так, то мы у цели. Легендарная группа трех островов не фикция, а чистейшая действительность, и скоро мы вступим на их таинственную почву, чтобы собственными глазами убедиться в существовании замечательного народа.

Между тем, извилистая линия постепенно вырастала, становилась определеннее и рельефнее. Скоро глазам нашим предстали три острова, расположенные почти на прямой линии один подле другого и разделенные довольно



узкими проливами.

Длиной вся группа островов едва ли достигала сорока верст.

Гористые берега их, поросшие лесом, были в некоторых местах очень высоки.

Средний остров, самый большой, изобиловал удобными бухточками, в одной из которых «Мыс Доброй Надежды» и стал на якорь.

Меня поразила необычайная прозрачность воды у берегов.

МЫ ОТПРАВЛЯЕМСЯ НА РОЗЫСКИ

Часов в двенадцать утра мы сели в шлюпки и высадились на берег.

Решено было разделиться на партии, причем каждая партия получала для исследования определенный участок острова.

К вечеру мы должны были собраться на берегу бухты, в которой стояла наша яхта.

Сигналы решили подавать ружейными выстрелами.

Мне поручили исследовать восточную половину острова, тогда как Игренов с другой партией должен был осмотреть западную.

Забрав необходимые съестные припасы, мы разошлись в разные стороны, оставив на берегу четырех дежурных матросов, на обязанности которых лежало стеречь шлюпки.



В моей партии, кроме матросов, — в том числе, Бадаева, — находился один лишь Маркевич; остальные были в отряде Игренева.

Около часа взбирались мы на гористый берег, поросший мелким лесом, пока, наконец, не достигли перевала, с которого начался спуск в большую, несколько холмистую долину.

То, что мы увидели глубоко внизу, в долине, могло поразить самого смелого фантазера.

Мы увидели обширный город, белые здания которого, симметричной и красивой архитектуры, правильными рядами тянулись вдоль прямых, как стрела, и вымощенных квадратными плитами улиц.

Посреди города высилась величавая башня необычайной формы, в четыре грандиозных этажа, причем каждый этаж положен был на нижний таким образом, что сторона его квадрата пересекала угол нижнего — получалась звездовидная форма.

Ни движения, ни людей, ничего, что бы напоминало о жизни, не было заметно.

Сон веков кошмаром висел над всем.

Вскоре мы уже шли по одной из улиц мертвого города.

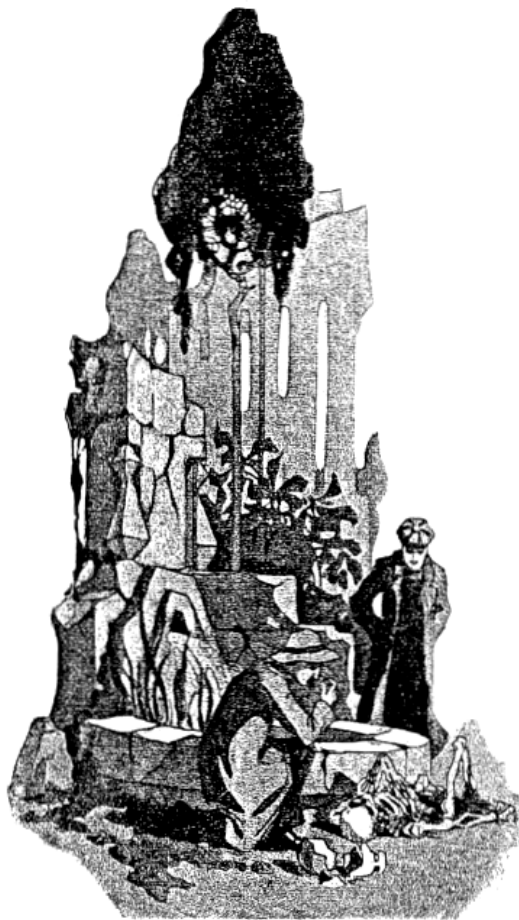
На каждом шагу нам попадались совершенно истлевшие скелеты людей. Подле некоторых из них мы находили иногда золотые браслеты, ожерелья, кольца с драгоценными камнями, и тогда можно было догадаться, что скелеты принадлежат женщинам.

Особенно заинтересовал меня один костяк около каменного водомета, по-прежнему струившего чистую холодную воду в небольшой бассейн; подле валялись черепки разбитого кувшина.

— Я думаю, — сказал задумчиво Маркевич, — что скелет принадлежит девушке. Наполнив кувшин водой и поставив его на плечо, — она собиралась идти домой; в этот момент ею овладела смертельная слабость, она упала, и кувшин разбился...

— Она могла быть и старухой, — возразил я.

— Вы ненаблюдательны, Бермутов. Взгляните на это обилие украшений — колец, браслетов и ожерелий, которые носила покойная, — и Маркевич, нагнувшись, поднял одно кольцо из матово-серебристого металла с каким-то, похожим на рубин, темно-красным камнем.



— Рубин? — спросил я.

— Да, может быть. Что касается металла, — то это платина.

Довольные результатами нашего исследования, мы успели до захода солнца осмотреть еще несколько наиболее интересных домов, кроме колоссального здания, высившегося посреди города, осмотр которого решено было отложить на завтра.

Было уже сыро по-вечернему, смеркалось, и вершины далеких гор, еще недавно бывшие розово-алыми от лучей заходившего солнца, постепенно гасли, когда мы решили возвращаться. Однако усталость и голод побудили нас сделать прежде короткий привал в одном доме, более других располагавшем к отдохновению.

Дом заключал в себе четыре совершенно одинаковых комнаты, полы которых были покрыты деревянным настилом, а стены сохранили бледные следы оригинальной живописи.

В сумраке наступавшего вечера фигуры, изображенные на стене, были плохо заметны, но все же можно было разобрать, что картина изображает какой-то большой зал и танцующих в нем девушек в красивых, цветных одеждах.

Когда же были зажжены свечи, картина предстала пред нами во всем великолепии поблекших, ветхих, но все же роскошных красок.

Лица девушек были строго симметричны, классически красивы; движения легки и грациозны.

Художник, расписывавший стены, обладал совершенной техникой, большим вкусом, знанием движения, краски, линии.

— Однако, — сказал Маркевич, — какое совершенное искусство было у этого народа.

И он был прав: картина могла бы удивить и восхитить любого современного эстета.

Обстановка комнат также отличалась стильностью и вкусом. Массивные столы черного дерева с резными ножками, такие же кресла и лежанки вдоль стен были покрыты многовековой пылью, птичьим пометом и сором. В шкафу, вделанном в стену, мы нашли оригинальную стеклянную и глиняную утварь, некоторые экземпляры которой приобщили к нашей, довольно уже богатой коллекции.

Темнота наступила так быстро, что мы даже не заметили.

Чувство жути постепенно овладевало нами при мысли, что нам для того, чтобы вернуться к своим, придется идти сперва по улицам мертвого города, а затем пробираться лесом, поднимаясь на гору.

— Заночевать бы здесь, — неуверенно предложил Бадаев.

— Конечно, куда в такую темь пойдем; — неровен час — с дороги собьемся, — поддержали его в один голос остальные матросы.

Признаться, предложение Бадаева как нельзя совпало с моим настроением; что касается Маркевича, то он даже не сделал ни одной попытки воспротивиться общему решению и сейчас же согласился, как только зашла об этом речь.

Итак, решено было заночевать в пустом доме.

Кто ни разу не был в этом положении, тот не может представить себе чувство, которое овладело нами, когда мы остались среди мертвого города, потонувшего во мраке, окруженные со всех сторон истлевшими скелетами людей, которые, казалось, взывали к нам неслышными, полными жалобы голосами; мы старались рассеяться, рассказывая друг другу занимательные истории — тесно придвинувшись один к другому и озаренные трепетным сиянием свечей, но жуть леденила наши сердца, капельку по капельке высасывала бодрость.

ОГОНЬ НА БАШНЕ

— Тушите свечи, — приказал вдруг Маркевич, смотревший все время в окно.

Мы с удивлением взглянули на него.

— Скорей тушите, — с тревогой повторил он и поспешно задул ближайшую к нему свечу.

Когда воцарился мрак, Маркевич шепотом сказал нам, указывая пальцем в окно на тяжелый массив громадного здания:

— Огонь...

Сперва мы ничего не видели, кроме величавого силуэта таинственного здания.

Несколько мгновений вглядывались мы, пока не заметили слабый мерцающий огонек во втором этаже, который медленно передвигался.

Потом огонек исчез и снова появился в третьем, а затем в четвертом этаже, где и остановился. Мы ждали, что будет дальше.

Прошло минуты три, а огонек продолжал оставаться неподвижным.

Внезапно около огонька вспыхнул синий, искрящийся свет, потом что-то повернули, и в окно башни глянул огромный огненный глаз.

Мы отскочили от окна, осененные одной и той же догадкой, и сделали это вовремя, так как сейчас же непроглядная тьма была пронизана яркими лучами прожектора, осветившими всю местность.

— Прожектор... Здесь, на вымершем острове... — вот мысли, которые обуревали нас в тот момент.

Лучи прожектора внимательно обшарили всю местность; на мгновение один из лучей остановился на нашей комнате, наполнив ее ярким, ровным светом, потом ускользнул, и мрак сомкнулся опять в непроницаемую графитную массу.

На башне по-прежнему маячил слабый, трепетный огонек. Затем огонек двинулся, исчез, появился снова в нижнем этаже и так дальше, пока не скрылся совсем.

Мы стояли, окаменев от изумления, и глядели на башню.

В городе мертвых, несомненно, были живые люди, по крайней мере, один человек.

И этот человек устроил свою жизнь так комфортабельно, что имел даже прожектор, для каких целей — это нам казалось загадочным.

Боялся ли он кого-нибудь? Имел ли основание ожидать чьего-либо вторжения в его мертвые владения? И наконец,

если это так, что заставило его жить на островном кладбище, — какое таинственное дело?

В ПЛЕНУ

Мы провели ночь, не зажигая свечей, и рано утром, когда еще вся долина была затянута синеватым флером предрассветного тумана, подкрепившись консервами и коньяком, который мы предусмотрительно захватили в дорогу, стали обсуждать дальнейшие наши действия.

Решено было исследовать внутренность башни, с вершины которой ночью посылались лучи прожектора.

Идти пришлось нам, приблизительно, минут десять. И вот перед нами передний фасад башни. Пять колонн той же странной звездовидной формы, поросших ползучими растениями и травой, которая выглаживала кое-где из щелей, поддерживали фронтон башни. Несколько мшистых ступеней вели к входу в нее.

Внутренность первого этажа не представляла ничего особенного, и после беглого осмотра мы стали подниматься по витой мраморной лестнице во второй этаж; только Маркевич и Бадаев на короткое время задержались внизу, рассматривая стенные фрески.

Осмотр второго этажа дал те же результаты, и мы начали было подниматься на третий этаж, когда я вспомнил, что Бадаев и Маркевич остались внизу. Подойдя к темному люку лестницы, я приставил ладони рупором ко рту и позвал:

— Бадаев! Маркевич!

Никто не отвечал. Заинтересованный, я спустился вниз; там никого не было.

В недоумении озираясь я по сторонам, стараясь понять, куда могли исчезнуть Маркевич и Бадаев, еще несколько минут назад созерцавшие стенные фрески.

То, о чем будет речь ниже, произошло так быстро, что я даже не успел что-нибудь сообразить. Каменная плита, на

которой стоял я, быстро и бесшумно опустилась в подземелье. В темноте меня схватили, потащили по коридору и толкнули в какую то комнату, захлопнув за мной дверь. Оставшись один, я вспомнил, что у меня есть карманный электрический фонарик, вынул его и нажал кнопку.

— Бермутов! — воскликнул кто-то. Я направил фонарь в сторону говорившего и увидел Маркевича и Бадаева, сидевших на вычурно-роскошном диване в позе самого безысходного отчаяния.

Я бросился к ним и услышал все то, что испытал лично.

— Кто эти дьяволы и что им нужно? — мрачно промолвил Бадаев, расцарапанное и окровавленное лицо которого доказывало, что он сдался после долгого и упорного сопротивления.

Конечно, мы не могли ответить, так как сами безуспешно пытались объяснить себе это странное происшествие. Придя в себя, мы при помощи карманного фонарика осмотрели наш каземат и были очень поражены, когда увидели спускавшуюся с потолка электрическую люстру.

Повернув выключатель, я осветил комнату. Роскошь обстановки удивила меня не менее, чем электричество.

На полу и стенах были восточные ковры, тигровые шкуры; по углам изящные бамбуковые столики, — этажерки с изящными фарфоровыми безделушками; качалки и кресла из бамбука дополняли остальное.

Все производило впечатление настоящего европейского комфорта, изысканно-тонкого, вычурно-роскошного.

Мы ожидали, что будет дальше.

И вот часть стены, завешанной ковром, бесшумно сдвинулась в сторону, обнаружив снабженную решеткой дверь в другую, ярко освещенную комнату.

За решеткой стоял маленький, седенький человечек, в пенсне, в сильно потертом и лоснившемся костюме, с мелким, язвительным, морщинистым лицом, на котором, вероятно, всегда блуждала ироническая улыбка. Лицо у него было такое, что даже сквозь темные стекла пенсне можно было угадать искрившееся в глазах злорадование и ехидство;

держался он утрированно-высокомерно и надменно.

Несколько мгновений он рассматривал нас с любопытством, с каким рассматривают на выставках разных премированных животных; потом повелительно позвал:

— Джемс!

Около него, словно вырос из земли, появился огромный негр.

— Как по-твоему — годятся?

— Хороший материал, г-н профессор.

— Теперь иди.

Негр моментально исчез.

Бадаев, которому вся эта комедия довольно не понравилась, угрожающе поднял кулаки и резко спросил:

— Послушайте, что за хамство — хватать людей и рассматривать их, как быков? Если вы не прекратите этой чепухи и не выпустите нас, мы начнем стрелять, — с этими словами Бадаев вынул из кармана револьвер; мы последовали его примеру.

Человек безгласно поморщился:

— Стрелять. Да, я не учел этого обстоятельства. Но зачем стрелять? Впрочем, если вы хотите стрелять, то пострадаете прежде всего сами, так как будете убиты моими слугами, или не найдете выхода из этого подземелья, смею вас уверить.

— Вы низкий, подлый негодяй, — сказал я, с невыразимым отвращением глядя на человечка.

— Допустим. Теперь я перейду к делу и начну с того, что представляю вам: я профессор Гардер, знаменитый бактериолог Англии, два года тому назад бесследно исчезнувший, чтобы поселиться здесь и заняться учеными трудами — помните? Здесь мне удалось открыть совершенно случайно новую эпидемическую болезнь, фактором которой является большая пестрая муха, незнакомая натуралистам Европы. Представьте себе, эта ничтожная муха погубила цветущую европейскую колонию этих островов. Каково? Но продолжаю. Периодически эта муха появляется здесь в огромном количестве, и тогда все гибнет, что имеет, как мы, сердце, легкие, желудок, теплую кровь. В обыкновенные

годы она здесь довольно редкая гостя, но все же мне удалось поймать несколько экземпляров ее и произвести опыты над животными. Мышь от укуса ее умирает моментально; то же самое с более крупными животными, собакой, кошкой. После некоторых усилий мне удалось добыть из нее яд чисто лабораторным путем. Этот яд — бесконечно малые и в то же время могущественные бактерии. Они хорошо поддаются культуре и у меня имеются уже несколько банок с их выводками. Опыты с животными проделаны. Остается произвести опыт над человеком... Вы понимаете, господа? — И профессор, саркастически смеясь, отступил вглубь комнаты, стена задвинулась, и мы остались одни в ярко освещенной комнате.

Первым высказал свою страшную догадку Маркевич:

— Неужели? Неужели этот негодяй хочет произвести опыт над нами?

— Но ведь это очевидно: он сказал, что очередь за людьми, — подтвердил я.

— Значит, мы...

— Рано или поздно умрем.

— Я лучше умру, чем позволю сделать над собой подобную пакость, — решительно процедил сквозь зубы Бад-аев. И воцарилось томительное молчание. Болезненно сжималось сердце, и в сознании, в котором несколько времени назад вихрем кружились разные мысли, медленно возникла темная пустота.

Но вот какой-то неясный шум коснулся нашего слуха. Шум раздавался где-то наверху, слабо проникая сквозь массивные своды подземелья.

— Стучат? — неуверенно предположил Маркевич.

Приложив ухо к стене, мы старались разобраться в характере донесшихся звуков, но шум то удалялся, то приближался, то совершенно стихал, оставляя нас в томительной неизвестности, дразня своей неуловимостью.

И вдруг над нашими головами послышался вполне отчетливо глухой стук. Казалось, чем-то тяжелым ударили по каменным плитам.

— Наши... ищут... — прерывистым шепотом, почти за-

дыхаясь, вымолвил Бадаев.

Но стук внезапно стих, и родился снова где-то далеко неясным заглушенным шумом. И надежда так же быстро, как возникла, исчезла.

В ту жуткую минуту сердца наши бились одним темпом; одна мысль, вернее, молитва горела в нашем сознании:

— О, если бы!

И, словно отвечая на наш молчаливый вопрос, в коридоре подземелья грянул револьверный выстрел, за ним второй, третий; слышался топот бегущих ног, проклятья, стоны, шум борьбы...

— Товарищи! Мы здесь! — закричал Бадаев, неистово колотя кулаками в дверь, которая трещала под его ударами; Маркевич и я не отставали от него.

* * *

— Нас очень встревожило ваше отсутствие, — рассказывал Игренов, идя рядом со мной, — и мы, не откладывая дела в долгий ящик, отправившись на розыски. Здесь мы встретили вот этих молодцов, которые нам и рассказали обо всем: и о прожекторе и о вашем таинственном исчезновении... Тогда мы принялись исследовать пол нижнего этажа и нашли, что под одной плитой пустота.

Мы вынули плиту и... ну, остальное вам известно. С неграми нам пришлось повозиться порядочно, а профессору предстоит... маленькое знакомство с правосудием...

Язвительный, маленький старичок, еще так недавно доставивший нам минуты настоящего ужаса, понуро шагал в сопровождении двух дюжих матросов, зорко следивших за каждым его движением.

Иногда он бросал на нас быстрые, почти неуловимые взгляды, полные ненависти и, как мне показалось, торжества и злорадства.

Через два часа мы были уже на яхте. В ярко освещенной кают-компании нас ожидал ужин, показавшийся нам

роскошным после испытанных нами лишений.

Что касается профессора, то он был заключен в отдельную каюту, дверь которой охранял часовой. Утром, на другой день, мы думали допросить его.

СТРАШНОЕ ПРИЗНАНИЕ

На рассвете яхта снялась с якоря, и вскоре только неясная, слегка синеватая линия указывала то место, где находились острова. Океан был спокоен, как поверхность горного озера.

Из пучины океана на половину выглядывало ало-золотое солнце. После завтрака в кают-компанию ввели профессора, который, казалось, ничуть не изменился за ночь и так же спокойно, как вчера, смотрел на нас своими хитрыми, коварными глазами.

— С вашего позволения, профессор, — обратился к нему по-английски Игренов, — я задам вам несколько вопросов...

— Хотя сотню.

— Какие цели преследовали вы на вымершем острове?

— Научные.

— Если научные, то почему выбрали именно этот остров?

— Я знал о существовании на нем неизвестной эпидемической болезни...

— Знаете ли, что грозит вам за покушение на человеческую жизнь, хотя бы и с научной целью?

— Конечно, знаю: тюрьма, каторга...

Вдруг профессор громко расхохотался, и лицо его, искаженное отвратительной гримасой, сделалось необыкновенно похожим на обезьянье.

— Что значит ваш смех? — сердито спросил Игренов.

— Извините... ха, ха, ха..., господа... но, право, это смешно... Дайте же успокоиться... Вот так... Теперь, если найдется, я с удовольствием закурил бы сигару: два года отка-

зывал себе в этом удовольствии.



Профессор с наслаждением затаился и многозначительно взглянул на свободный стул.

— Вы устали? Подвиньте профессору стул, — приказал одному из матросов Игреньев.

— Благодарю вас. Господа, когда вы меня допрашивали и я смотрел на ваши строгие, спокойные лица, я думал:

— Неужели так могут говорить обреченные на смерть? Суд на корабле, где через три дня не останется ни одной живой души?.. Это казалось чрезвычайно смешным.

— Оставьте ваши шутки, — стараясь говорить спокойно, сказал я, тогда как Игренов и остальные продолжали сидеть в каком-то оцепенении.

— Шутки?! Вы говорите, шутки? — и дьявольский старичок, поднявшись, начал выкрикивать тонким, пронзительным голо сом:

— Знайте, что каждая пядь вашей проклятой яхты кишит моими союзницами-бактериями; каждый атом вашей одежды содержит бесчисленное множество их; все: мебель, тарелки, из которых вы едите, стаканы, из которых вы пьете — жилище моих страшных бактерий! Я рассеял их всюду — и вам не уйти от смерти! Вы обречены на смерть!! обречены на смерть!! обречены на смерть!! — продолжал выкрикивать, как помешанный, профессор, бегая по каюте.

КАЗНЬ ПРОФЕССОРА

Трудно описать то безумие, которое охватило экипаж, когда страшная истина, несмотря на все наши старания скрыть ее, сделалась известной. Рассвирепевшие матросы, не обращая внимания на окрики капитана Лубейкина, бросились в кают-компанию, схватили профессора и поволокли к мачте, где уже один матрос, сидя на перекладине мачты, мастерил виселицу.

Окровавленное лицо профессора было страшно. Когда шею его захлестнула петля, он успел еще крикнуть:

— До свиданья!!

Затем несколько пар сильных рук дружно взялись за веревку, и тело профессора быстро взвилось в воздухе, покачиваясь из стороны в сторону.

После казни ужасного старика на яхте воцарилась полная анархия. Всем розданы были изрядные порции коньяка, и пьяные матросы бессмысленно орали, циничной браблелью и песнями стараясь заглушить нараставший животный страх смерти.

Я сижу в моей каюте, пью коньяк стакан за стаканом и пишу, пишу, как загипнотизированный.

У окна моей каюты появился Лебединский и, прильнув лицом к стеклу, прокричал:

— Бадаев и один из матросов скончались!!

Лебединский отошел от окна и вдруг, зашатавшись и схватившись рукой за сердце, упал на пол.

— Падучая! — сразу догадался я, увидев, как Лебединский в припадке сильных конвульсий бился на палубе.

Так вот она, таинственная, страшная болезнь! Симптомы этой болезни вполне совпадали с симптомами падучей.

К вечеру одной трети экипажа не было в живых; Игренев, Лубейкин и Грановский были тоже мертвы.

Я чувствую приступы необыкновенной слабости; в висках стучит... Пора кончать...

Приложение

РЕСПУБЛИКА «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

К Северному полюсу — на воздушном шаре!.. Эту идею еще в XVIII веке выдвинул португалец Бартоломео Гузмао. Но первую серьезную попытку добраться до Северного полюса воздушным путем лишь в конце XIX века предпринял швед Соломон Август Андрэ. Многочисленные неудачи предшественников, использовавших с той же целью собачьи упряжки и пешие переходы, заставили Андрэ выбрать именно этот — казавшийся тогда наиболее перспективным — способ путешествия. В 1895 году Андрэ сделал в Шведской Академии наук подробный доклад о своем проекте, который был горячо поддержан учеными и широкой общественностью. Проект шведского инженера встретил сочувственное внимание и в России: в следующем, 1896 году в Петербурге вышел перевод доклада с обширным предисловием издателей.

Наконец, после долгих и тщательных приготовлений, 11 июля 1897 года большой воздушный шар «Орел» поднялся в воздух. На борту его были командир корабля Андрэ, физик Нильс Стриндберг и инженер Кнут Френкель. Судьба отважных аэронавтов исполнена глубочайшего трагизма. Почтовый голубь, выпущенный 13 июля, принес первую и последнюю весть с борта «Орла»: Андрэ сообщал в записке, что полет проходит вполне благополучно. После этого в течение 33 лет о воздушном корабле и его пассажирах ничего не было известно. Они, казалось, исчезли бесследно... Только в 1930 году норвежское судно «Братваг», случайно пристав к острову Белому (к востоку от Шпицбергена), обнаружило последний лагерь экспедиции Андрэ. На острове были найдены дневник самого Андрэ, записные книжки его спутников, остатки воздушного шара, вещи. Здесь, на острове Белом, в октябре 1897 года (последняя запись в дневнике Андрэ датирована 17 октября) разыгра-

лась до сих пор не вполне разгаданная трагедия. Дело в том, что, судя по всему, аэронавты умерли почти одновременно, имея при этом все необходимое для многолетней зимовки на острове: запасы продовольствия, спички, примус и керосин, теплую одежду...

Но вернемся в 1897 год.

Пожелтевшие страницы русских газет того времени свидетельствуют о необычайном интересе к судьбе экспедиции Андрэ, проявленном в России. «ГДЕ АНДРЭ?». «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С АНДРЭ?» — этими и подобными им тревожными заголовками буквально пестрели русские газеты летом и осенью 1897 года. Срочно и на редкость оперативно была переведена и издана в Киеве книга французских ученых Анри Лашамбра и Алексиса Машюрона «Андрэ. К Северному полюсу на аэростате». В книге подробно рассказывалось о подготовке полета, о корабле «Орел», опубликован текст единственной депеши, полученной с его борта...

Ученые разных стран высказывали различные суждения об исходе экспедиции; некоторые из прогнозов были весьма пессимистичны. Любопытен в связи с этим такой факт. Французский журнал «Научное обозрение», который с большим интересом отнесся к проектам межпланетных путешествий К. Э. Циолковского, отметил в это время: «Если бы г. Андрэ познакомился с этой книгой (речь шла о книге “Аэростат металлический управляемый”, изданной Циолковским еще в 1892 году. — А. Б.), то никогда бы не предпринял своего безумного полета», — настолько ощутимым было превосходство цельнометаллического дирижабля над всеми иными конструкциями аэростатов... Этот штрих очень красноречив: как известно, в условиях царской России гениальные идеи К. Э. Циолковского замалчивались, официальные деятели науки с иронией и высокомерным пренебрежением относились к «проектам» великого мечтателя, проложившего дорогу в космос.

Через два-три года после исчезновения шведской экспедиции пресса успокоилась. По-видимому, все смирились с мыслью о том, что аэронавты погибли...

Но, оказывается, в России произошел любопытнейший эпизод, связанный с загадкой Андрэ: в 1898 году в Петербурге был издан... дневник шведского аэронавта Андрэ!

Однажды, занимаясь в Центральном государственном историческом архиве СССР в Ленинграде, я просматривал опись специальной коллекции рукописей, запрещенных С.-Петербургским цензурным комитетом. Одна запись (под 1898 годом) показалась мне странной: «Рукопись “Дневник Андрэ. Путешествие на воздушном шаре к Северному полюсу”»... Позвольте, как же так! Ведь дневник был найден в 1930 году — через 32 года!.. По моей просьбе рукопись с заинтриговавшим меня заглавием вскоре была извлечена из архивных недр и легла на мой стол.

Передо мной была тетрадь, исписанная мелким почерком. Даже беглый просмотр дневника не оставлял сомнений в том, что он ВЫМЫШЛЕН и представляет собой не что иное, как научно-фантастический рассказ. В форме дневниковых записей, сделанных якобы самим Андрэ, русский автор рассказывает о том, как шведская экспедиция, приблизившись к Северному полюсу, неожиданно обнаружила среди ледяных просторов океана обитаемый остров. Через некоторое время навстречу «Орлу» вылетели невиданные серебристые машины, и люди, сидевшие в них, пригласили аэронавтов посетить их страну.

Аэронавты застают на острове счастливый народ, создавший республику «Северный полюс», общество будущего, каким оно рисовалось воображению передовых людей России того времени. В республике полностью ликвидировано социальное неравенство. Невиданное развитие получили на острове наука и техника. Правда, многие фантастические изобретения, о которых мечтал автор, ныне уже вошли в повседневный быт людей. В рукописи, например, сообщается, что все заседания общественных организаций в республике транслируются, говоря современным языком, через особое устройство, напоминающее «фонограф и кинематограф, вместе взятые». Это, конечно, телевидение... Впрочем, таков удел почти всех технических фантазий XIX века: они сбылись в десятки раз быстрее, чем предполагали

ли их авторы. Однако другая идея, высказанная в «дневнике Андрэ», интересна и сейчас: на острове ничто не пропадает зря, все отходы утилизируются, превращаясь в различные необходимые предметы. Даже звуки, «издаваемые машинами, превращаются во вспомогательную движущую силу».

Но, конечно, вовсе не техническими идеями интересен этот дневник, а изображением социальной жизни общества, хотя она и затрагивается вскользь. По-видимому, автор собирался более подробно поговорить об этом в дальнейших выпусках дневника (в конце рукописи есть пометка: «Продолжение будет. См. выпуск III»). Современного читателя — любителя фантастики не должно смущать то обстоятельство, что действие рассказа происходит вблизи Северного полюса, где конечно же, нет никаких «неизведанных обитаемых островов». Фантасты XIX — начала XX века, вплоть до открытия Северного полюса, любили помещать там «свои страны». Лишь постепенно «сценической площадкой» научно-фантастических романов становились другие планеты и непосредственно будущее.

Рукопись «дневника Андрэ» обнаружена в коллекции запрещенных сочинений. Значит, она так и не увидела света! Да, действительно, к рукописи приложен доклад цензора Воршева, который доносил начальнику Петербургского цензурного комитета:

«В этой рукописи Андрэ (цензор принял дневник за чистую монету. — А. Б.) рассказывает о полете шара и спуске его в одной из стран Северного полюса и как он и его товарищи были радушно приняты жителями. Описывается, что... жители этой страны все члены одного общества и работают друг для друга. Принимая во внимание тенденциозное направление этой рукописи, предназначенной для широкого распространения, популярное изложение, небольшой объем и дешевизну издания, я, причисляя ее к числу народных и принадлежащих к циркуляру Главного управ-

ления по делам печати от 8 мая 1895 года, полагаю таковую *запретить к печати*.

7 мая 1898 г.
Цензор Воршев».

Участь рукописи была предрешена. Циркуляр, на который ссылался цензор, предписывал особенно осторожно относиться к изданиям для народа и «...отнюдь не допускать в печать таких произведений, которые по содержанию своему не могут быть признаны безусловно безвредными для народного чтения».

Обещанный «третий выпуск», естественно, также не смог появиться в печати.

Но, значит, был все-таки еще какой-то «первый выпуск», если запрещенную рукопись считать вторым! Да, первый выпуск «дневника Андрэ» благополучно проскочил горнило цензуры и вышел в свет в Петербурге в начале 1898 года.

С одним из сохранившихся экземпляров этой брошюры мне удалось познакомиться в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Здесь рассказывается о подготовке к полету на Северный полюс и о первых днях путешествия. В сущности, почти ничего фантастического в этом выпуске нет, социальные вопросы вовсе не затрагиваются; поэтому-то он и был беспрепятственно допущен к печати. Любопытно предисловие к первому выпуску. «Переводчик» (на самом же деле — автор) «дневника Андрэ» рассказывает, что публикуемая им рукопись вместе с остатками воздушного шара была обнаружена «его знакомым» в лесах Карелии и доставлена в Петербург. Публикация дневника искусно имитирует «пострадавшую от воды» рукопись: многие места опущены с пометками — «здесь текст размыт», «неразборчиво» и т. п. Впрочем, мало-мальски вдумчивый читатель по различным приметам, разбросанным и в предисловии, и в тексте самой книги, прекрасно понимал, что «дневник Андрэ» представляет собой научно-фантастический рассказ, своеобразную утопию —

жанр, который имел к тому времени уже многовековую традицию. Знаком был читатель и с давним литературным приемом — публикацией мифических дневников, записок, якобы найденных в бутылках, выброшенных морской волной и т. п.

В данном случае мы имеем дело именно с литературным приемом. С его помощью автор, учитывая колоссальный интерес русских читателей к судьбе пропавшей экспедиции Андрэ, хотел познакомить их с устройством будущего общества. Возможно, эта идея возникла у него под влиянием строк знаменитого стихотворения поэта пушкинской поры Н. М. Языкова «Пловец»:

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна...

Одновременно эта «маска» должна была облегчить прохождение выпусков сквозь цензурные преграды. Однако, как мы видели, цензуре удалось под фантастической оболочкой рассмотреть сугубо «земное», реальное содержание «дневника». Царская цензура накопила к этому времени большой «опыт» борьбы с научной фантастикой, затрагивающей социальные проблемы: к началу XX века ею уже было запрещено свыше двух десятков фантастических романов.

Но кто же был автором «дневника Андрэ»? Дело в том, что и вышедший в свет первый выпуск «дневника», и запрещенная рукопись второго имеют одну и ту же подпись: «Перевел с французского и шведского А. Ва-ский». Очевидно, «А. Ва-ский» — псевдоним автора дневника, но, к сожалению, ни специальные словари псевдонимов, ни литературные и архивные источники не дают расшифровки подлинной фамилии автора. Возможно, дальнейшие поиски позволят найти сведения о человеке, мечтавшем в те мрачные годы о светлом будущем на Земле.

С именем аэронавта Андрэ связан еще один любопытный эпизод, также не обошедшийся без вмешательства царской цензуры.

Известнейший популяризатор науки В. В. Битнер, заинтересовавшись судьбой экспедиции, решил ее... прояснить. В литературной, конечно, форме. Он написал большой рассказ, озаглавленный «Как я отыскал Андрэ у полюса», и опубликовал его в семи номерах знаменитого сойкинско-го журнала «Природа и люди» за 1899 год.

Герой рассказа, мальчик Коля, неожиданно получает письмо из Америки от своего друга, который изобрел некий летательный аппарат. На этом аппарате они отправляются к Северному полюсу и где-то возле Новосибирских островов находят останки отважных путешественников, разбившихся во время падения аэростата.

В. В. Битнер не угадал: судьба экспедиции была иной. Но автор и не стремится ввести читателей в заблуждение. В примечании к рассказу он пишет: «Настоящий рассказ представляет попытку разрешить интересующий теперь весь мир вопрос о судьбе Андрэ. Фабула рассказа, конечно, вымышленная». Появление такого рассказа, несомненно, было вызвано страстным сочувствием к судьбе аэронавтов, стремлением хотя бы в фантазии «найти» их.

Но этот благородный порыв писателя вызвал неожиданное сопротивление охранителей, на этот раз цензоров другого рода — царских педагогов.

Особый отдел Ученого комитета министерства народного просвещения, созданный еще в 60-х годах прошлого века, главной своей целью поставил борьбу с «развращающим» влиянием современной литературы. К фантастике же особый отдел всегда относился подозрительно — как к «чтению вредному, возбуждающему интерес, но не дающему здоровой пищи для ума».

Прочитав рассказ Битнера, член Ученого комитета Шимкевич пришел к такому заключению: «Мне кажется, что направление журнала скорее вредно, чем полезно для педагогических целей». На основе этого отзыва «Природа и люди», один из лучших дореволюционных журналов, был запрещен к выписке в библиотеки учебных заведений и бесплатные народные читальни...

В отзыве Шимкевича отразился, как в капле воды, узколобый подход царских педагогов к фантастике. Иногда, впрочем, и трудно было ожидать, ведь даже такую безобидную книгу, как «Приключения барона Мюнхгаузена», Ученый комитет в 1900 году исключил из состава библиотек! Бедный барон был отнесен к «книгам очень известным, всюду читаемым, безвредным, пожалуй, даже забавным, но вряд ли *желательным* в школьной библиотеке»... В дальнейшем «педагогическая» цензура будет яростно бороться с научной фантастикой: вплоть до октября 1917 года подавляющее большинство фантастических произведений было запрещено приобретать в народные и школьные библиотеки.

КОММЕНТАРИИ

Все включенные в антологию произведения, за исключением отдельно отмеченных случаев, публикуются по первоизданиям. Безоговорочно исправлялись очевидные опечатки; орфография и пунктуация текстов приближены к современным нормам.

Все иллюстрации взяты из оригинальных изданий. В случаях недоступности качественных копий те или иные произведения публиковались без иллюстраций либо же иллюстрации воспроизводились частично.

В оформлении обложки, фронтисписа и на с. 6 использованы работы С. П. Лодыгина.

Я. Окунев. Жители небес

Впервые: *Огонек*. 1914. № 27, 6 (19) июля.

Я. М. Окунев (наст. фам. Окунь, 1882-1932) — беллетрист, журналист, один из пионеров советской фантастики. Учился на историко-филологическом факультете Новороссийского ун-та в Одессе, откуда был исключен за революц. деятельность; подвергался арестам и высылке. Дебютировал в 1903 г. в одесской прессе. Участник Первой мировой войны. В 1920-х гг. публиковал утопии и др. фантастические произведения (*Грядущий мир*, *Завтрашний день*, *Катастрофа*, *Петля* и пр.), романы. Заклейменный как «мелкобуржуазный попутчик», обратился к политико-этнографической тематике, опубликовал ряд очерковых книг. Умер в Петропавловске, разившись сырным тифом во время командировки.

Хотя в многочисленных источниках первым научно-фантастическим рассказом Я. Окунева называется *Бред* (опубликован в декабре 1916), приведенный рассказ опередил его на полтора года и, очевидно, должен считаться первым НФ-произведением писателя.

Е. Зозуля. Дом доктора Катапульты

Впервые: *Волны*. 1917, № 7-9, июль-сентябрь.

Е. Д. Зозуля (1891-1941) — прозаик, журналист. Сын мелкого служащего. С 1911 г. работал журналистом в Одессе, позднее в Петрограде, в 1919 г. переехал в Москву. В 1923 г. вместе с М. Кольцовым основал возобновленный журн. *Огонек* и организовал кн. серию *Библиотека «Огонька»*. Участвовал в Второй мировой войне как доброволец-ополченец, затем военный корреспондент, умер от фронтовых ран. Автор многочисленных сб. небольших рассказов и новелл, в том числе фантастических и фантастическо-сатирических произведений.

Е. Зозуля. Живой архив

Впервые: *Всемирная панорама*. 1915, № 334/37, 11 сентября.

Идея аппарата, улавливающего «звуки прошлого», как и некоторые фабульные моменты, были впоследствии использованы Е. Зозулей в рассказе *Граммофон веков* (1919).

Н. Федоров. Вечер в 2217 году

Впервые: *Федоров Н. Вечер... в 2217 году с послесловием* (СПб., 1906). Публикуется по: *Утопия и антиутопия XX века* (М., 1990).

Н. Д. Федоров (? — ?) — писатель, журналист. Видимо, ему же принадлежит антиутопия *Атавизм* (1899), подписанная Н. Ф.-Д.-Р.-В.-Ъ и напечатанная в Московских ведомостях. К сожалению, мы не располагаем текстом этого рассказа, однако приведем краткий пересказ его содержания по кн. Л. Геллера и М. Нике *Утопия в России* (СПб., 2003):

«Герой рассказа Федорова *Атавизм* засыпает, чтобы через 500 лет проснуться на острове, занятом «Общиной разумных». Обитатели, одетые в одинаковые одежды и лишённые пола (хирургическим путем), чтобы полностью отдавать себя труду, носят номера из букв и цифр, позволяющие определить их местоположение на острове, раз-

меченном административно сеткой. Посреди острова находится небоскреб директора Комитета, украшенный гигантской статуей муравья. Жители острова устраняются с помощью эвтаназии после того, как становятся бесполезными для общества (к 45 годам). Язык общения сведен к телеграфному стилю. Пары мужчин и женщин, “живущих по-старому”, обеспечивают репродукцию населения на “фермах”, дети отбираются у них и воспитываются обществом. “Атавические” чувства (любовь, сострадание) — величайшие враги этого общества, отрицающего личность. В конце повести один “больной”, почувствовавший жалость к двум детям, угоняет межпланетный корабль. <...> Явно вдохновленные Г. Дж. Уэллсом (*Когда спящий проснется*) и Дж. К. Джеромом, автором пародийной, антисоциалистической *Новой утопии*, редко переводившейся в России, произведения Федорова вводят в русскую литературу приемы и темы антиутопического романа XX века».

А. Доганович. Ожившая плоть

Впервые: *Дневник писателя: Ежемесячный иллюстрированный лит.-научный журн. для всех под ред А. В. Круглова*. 1909, апрель.

А. В. Доганович, также Круглова-Довганович (урожд. Федотова, 1858- 1930), писательница, педагог. С конца 1870-х гг. печатала повести, рассказы, очерки, фельетоны и пр. в многочисл. периодических изданиях. Получила известность как детская писательница. Ряд произведений написала совместно с мужем А. В. Кругловым, которому помогала в редактировании журн. *Светоч* и *Дневник писателя*. После революции отошла от литературной деятельности, заведовала детским домом в Сергиевом Посаде.

Н. Морозов. Эры жизни

Публикуется по авторскому сб. *На границе неведомого: Научные полуфантазии* (М., 1910).

Н. А. Морозов (1854-1946) — революционер-народоволец, ученый, поэт, писатель. Сын помещика и крестьянки, формального

образования не получил. Член «Земли и воли», исполкома «Народной воли», участвовал в подготовке покушения на Александра II. В 1882 г. был арестован, до освобождения по амнистии в 1905 г. находился в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. В заключении изучил множество языков, написал огромное количество научно-просветительских трудов. Вновь арестовывался в 1910-х гг. С 1918 г. возглавлял Естественнонаучный институт им. П. Ф. Лесгафта. Перу Морозова принадлежат сб. стихов, фантастические рассказы, многотомные и методологически несостоятельные исследования с попыткой истолкования библейских текстов с помощью астрономических феноменов.

Н. Морозов. В мировом пространстве

Публикуется по авторскому сб. *На границе неведомого: Научные полуфантазии* (М., 1910).

С. 91. ...*Вера Ф. и Людмила В.* — революционерки-народоволки В. Н. Фигнер (1852-1942) и Л. А. Волкенштейн (1857-1906).

С. 91. ...*Поливанов и Янович* — революционеры-народовольцы П. С. Поливанов (1859-1903) и Л. Ф. Янович (1859-1902).

С. 92. ...*лазбухе* — Лагбух — корабельный журнал.

Я. Перельман. Завтрак в невесомой кухне

Впервые: *Природа и люди*. 1914. № 24.

Я. И. Перельман (1882-1942) — физик, математик, журналист, знаменитый популяризатор точных наук. Брат писателя О. Дымова, выпускник петербургского Лесного института. Печататься начал с 1899 г. С 1904 г. ответственный секретарь, с 1913 г. редактор журн. *Природа и люди*, в 1919-1929 гг. редактор первого советского научно-популярного журн. *В мастерской природы*. Автор более 1000 статей, очерков и заметок в периодике, десятков научно-популярных книг и учебников, фантастических рассказов. Умер от истощения в блокадном Ленинграде.

Данный рассказ, которому автор дал подзаголовок «научно-фантастический», считается первым употреблением термина «научная фантастика».

А. Числов. Погибшее открытие

Впервые: *Мир приключений*. 1914. Кн. 4., с подз. «Фантастический рассказ».

«А. Числов» — псевдоним неизвестного автора, опубликовавшего несколько фантастических рассказов в журналах 1910-х гг. Наиболее распространенное и обоснованное предположение гласит, что под этим псевдонимом скрывался Я. И. Перельман (см. выше).

С. 131. *...физика Краевича ...учебник Иловайского* — стандартные гимназические учебники физики и истории, составленные, соответственно, К. Д. Краевичем (1833-1892) и Д. И. Иловайским (1832-1920).

А. Числов. Ковер-самолет

Впервые: *Журнал приключений*. 1916. № 6.

С. 157. *...папирусе Ринда* — Папирус Ринда — древнеегипетское математическое руководство периода XII династии Среднего царства (1985-1795 гг. д. н. э.). Хранится в Британском музее.

С. 157. *...Эвдоксе и Никомахе* — Эвдокс (Эвдокс Книдский, ок. 408 — ок. 305 д. н. э.) — древнегреческий математик, механик и астроном; Никомах (Никомах из Герасы, II в.) — древнегреческий философ, математик, теоретик музыки.

А. Числов. Опыт профессора Парсова

Впервые: *Журнал приключений*. 1917. № 2.

С. 186. ...*globus hystericus* — «глоточный шар», ощущение комка в горле.

С. 189. ...*Джемса* — У. Джеймс (1842-1910) — выдающийся американский психолог и философ, один из основателей современной психологии.

С. 189. ...«*Мозг и душа*» *Челпанова* — Имеется в виду кн. философа и психолога Г. Е. Челпанова (1862-1936) «Мог и душа: Критика материализма и очерк современных представлений о душе» (1900).

С. 209. ...«*Столичных ведомостей*» — Так в тексте, хотя ранее «Столичная газета».

А. Числов. История одного интервью

Впервые: *Мир приключений*. 1914. Кн. 5.

С. 224. ...*писателя У.* — т. е. Герберта Уэллса. В том же номере журнала была напечатана заметка *Герберт Уэльс в России*:

«В январе прибыл в Петербург известный английский романист Герберт Уэльс. Знаменитый автор “Машины времени” и “Борьбы миров” прожил в России около двух недель. Литературное Общество приветствовало гостя-писателя следующим адресом:

“Всероссийское литературное общество приветствует знаменитого писателя Г. Д. Уэльса. Вы уже знаете, что в России читают ваши произведения в русских переводах, один из которых вы украсили своим предисловием. Мы хотели бы также говорить с вами по-русски и мы учитываем время, когда после более или менее продолжительного пребывания в России, вас не смутят речи, обращенные к вам по-русски, и по возвращении в Петербург вы почтите вновь наше общество своим посещением.

Теперь позвольте сказать вам, насколько мы ценим ваши пленительные произведения — эти чарующие сказки, так по-юношески бодрые и так мудро дальновидные по глубине анализа современных социальных проблем и общественных язв. Вы к нам явились неожиданно из другого мира, подобно какому-нибудь из ваших марсиан, но, надеемся, без завоевательных намерений. И

все-таки вы побеждаете силой вашего таланта, действующего неотразимо на нас. Позвольте надеяться, что путешествуя по России, узнавая положительные и отрицательные стороны русской жизни, вы не подвергнетесь опасности со стороны какого-нибудь русско-го микроба и благополучно вернетесь в вашу великую свободную Англию, от которой мы получили столько высоких идей, столько образцов мудрого общественного устройства, столько примеров чудесных культуры и цивилизации, поныне непревзойденных никакой иной страной»».

И. де Рок-Казбеков. Ноев ковчег

Впервые: *Мир приключений*. 1914. Кн. 5.

И. де Рок-Казбеков — как и «И. де Рок», псевд. писателя и жур-И. Г. Ряпасова (1885-1955). Сын мастера-стеклодува. С 1905 г. и до революции работал в газ. *Урал*, *Уральская жизнь*, *Пермские губернские ведомости*. В советские времена работал в южных газетах, учительствовал. Во время Второй мировой войны был утнан нацистами на принудительные работы. По возвращении в СССР был в 1949 г. арестован и приговорен к 25 годам заключения, освобожден в 1910 х. Перу Ряпасова принадлежат написанные в 19190-х гг. НФ-романы *Неведомый город (Гроза мира)*, *Пираты XX века* (не окончен печатанием), пропавший роман *Наследство Блома*, ряд фантастических и приключенческих рассказов, многочисл. очерки.

А. В-ский. Дневник Андре

Впервые: *Дневник Андре: Путешествие на воздушном шаре к Северному полюсу*. Вып. первый (СПб., 1897).

Подробнее об этой повести неустановленного автора см. в приложенной к настоящему тому статье А. Блома *Республика «Северный полюс»*. См. также Анохин Г. И. К Северному полюсу на воздушном шаре // *Вестник РАН*. 2000. Т. 70, № 5.

В. Барятинский. Письма с Марса

Впервые: *Всемирный вестник*. 1904. № 1 (единственный опубликованный фрагмент).

В. В. Барятинский (1874-1941) — прозаик, драматург, переводчик, мемуарист. Сын генерал-адъютанта. По окончании Морского кадетского корпуса служил в Гвардейском экипаже, вышел в отставку в чине лейтенанта. С 1896 г. печатал в периодике рассказы, сатирич. очерки великосветской жизни, в 1899-1900 гг. издавал газету *Северный курьер*. В 1900-х гг. совместно с женой (актрисой Л. Б. Яворской) возглавлял «Новый театр», на сцене которого шли его комедии. В эмиграции жил в Берлине и Париже, печатался в эмигрантской прессе.

В. На Марс!

Впервые: *Свет* (СПб.). 1901. № 95-96, 13-14 апреля.

Имя автора не установлено.

Н. Рубакин. Бомба профессора Штурмвельта

Публикуется по авторскому сб. *Искорки: Очерки и наброски публициста* (СПб., 1901).

Н. А. Рубакин (1862-1946) — крупнейший русский библиограф, книговед, популяризатор науки, писатель. Выпускник Петербургского университета. Участник «первой русской революции» 1905 г., с 1907 г. жил в Швейцарии, где собрал уникальную библиотеку, поступившую после его смерти в нынешнюю РГБ. Разрабатывал «библиопсихологию» — науку о восприятии текста. Автор 280 книг и брошюр, свыше 350 журнальных публикаций.

С. 291. ...à l'anglaise — на английский манер (*фр.*).

В. Франчич. Приключение Бермутова

Впервые: *Аргус*. 1914. № 18, июнь.

В. А. Франчич (1892-1937) — поэт, беллетрист, драматург. Дебютировал в 1910 г. *Сборником стихотворений*, в 1910-х гг. опубликовал в «тонких» петроградских журналах ряд фантастических и приключенческих рассказов, написал (частью в соавторстве) несколько фарсов. Участник Гражданской войны, с 1919 г. в эмиграции. Умер в Париже. Посмертно изданы сборник эссе (на фр. яз.), роман *Красная Голгофа* (на нем. яз., 1938).

А. Блюм. Республика «Северный полюс»

Впервые: *Уральский следопыт*. 1973. № 3.

А. В. Блюм (1933-2011) — библиограф, профессор, преподаватель петербургских ВУЗов, автор ценных исследований и библиографических указателей по истории книги и цензуры в России и СССР.

С. 327. ...первый выпуск «дневника Андрэ» ... вышел в свет в Петербурге в начале 1898 года — На книжке означен 1897 г., цензурное разрешение датировано 13 ноября 1897 г.

С. 328. ...и вышедший в свет первый выпуск «дневника», и запрещенная рукопись второго имеют одну и ту же подпись ... А. Ва-ский — На самом деле в книжке автор-«переводчик» значится как А. В-ский.

Оглавление

Я. Окунев. Жители небес	8
Е. Зозуля. Дом доктора Катапульты	16
Е. Зозуля. Живой архив	29
Н. Федоров. Вечер в 2217 году	42
А. Доганович. Ожившая плоть	63
Н. Морозов. Эры жизни	77
Н. Морозов. В мировом пространстве	90
Я. Перельман. Завтрак в невесомой кухне	115
А. Числов. Погибшее открытие	122
А. Числов. Ковер-самолет	146
А. Числов. Опыт профессора Парсова	183
А. Числов. История одного интервью	223
И. де Рок-Казбеков. Ноев ковчег	231
А. В-ский. Дневник Андре	241
В. Барятинский. Письма с Марса	261
В. На Марс!	272
Н. Рубакин. Бомба профессора Штурмвельта	287
В. Франчич. Приключение Бермутова	303

Приложение

А. Блюм. Республика «Северный полюс» 323

Комментарии 331

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.